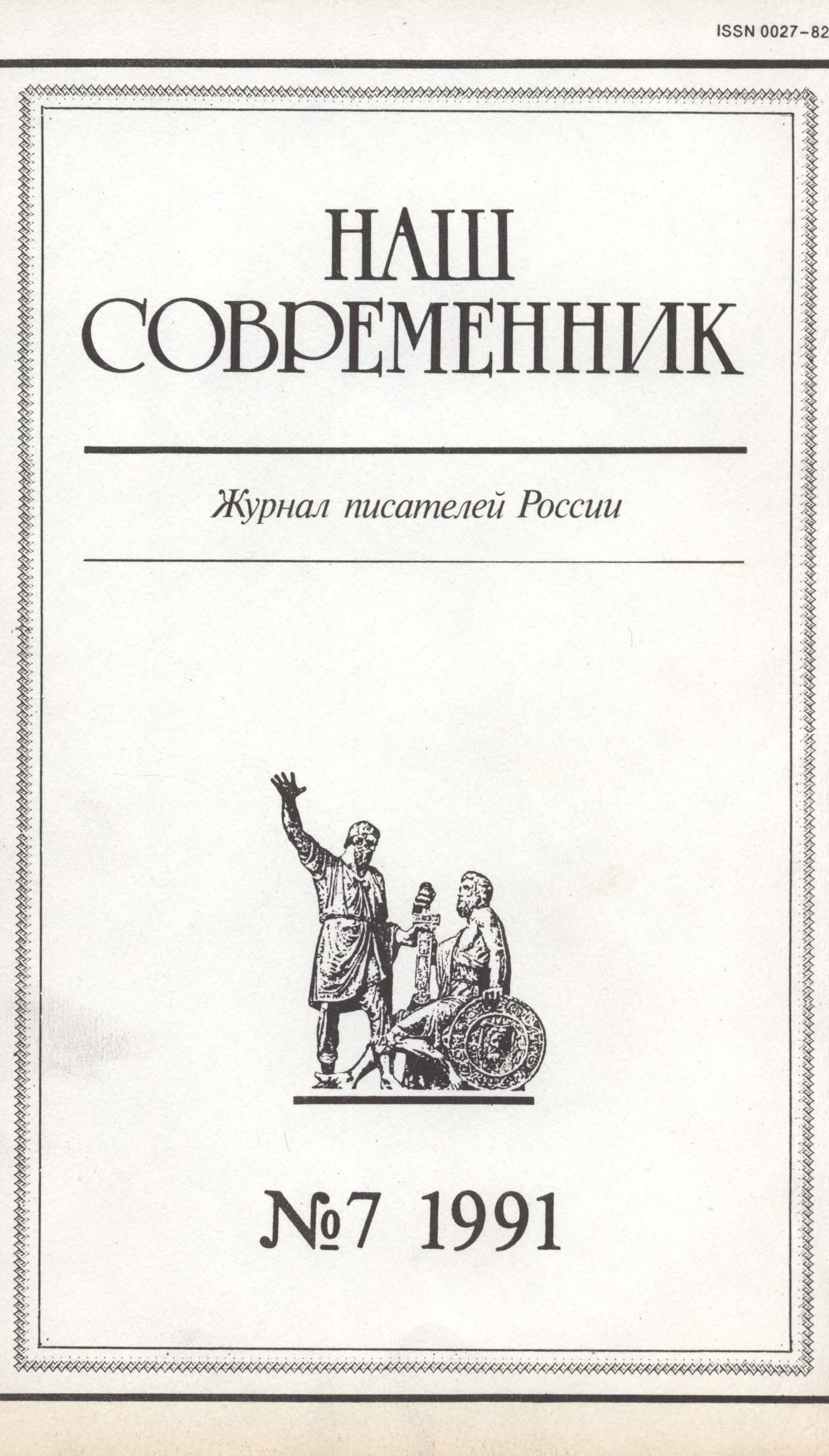
ISSN 0027-8238



НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№7 1991

НАШ СОВРЕМЕННИК №7 1991

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: "Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?"

Гравюра на дереве **Николая КАЛИТЫ.**

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№7 1991

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР
МОСКВА

Содержание

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

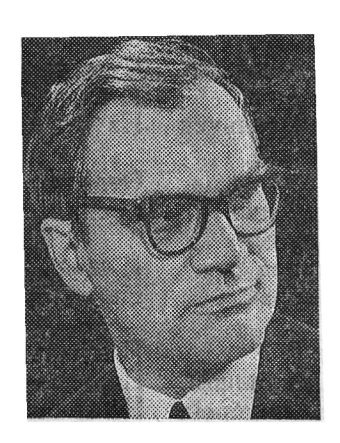
Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректор **Л. Н. Тихонова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 928-32-16 (заместители главного редактора), 200-24-94 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-76 (отдел писем, корректоры), 921-43-59, 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.04.91 г. Подписано к печати 11.07.91 г.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,84. Тираж 314 909 экз. Заказ 961.

ИПО Союза писателей СССР, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

ВИКТОР КОЧЕТКОВ



ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ

* * *

Главный упрек моему поколению:
Жили по Марксу,
мечтали по Ленину,
Кланялись в пояс теории модной,
А не взыскующей правде народной.

Главный ответ моего поколения:
Нас на войне поднимал
в наступление
Вовсе не Маркс диалектикой
модной,
А через бруствер сигающий
взводный.

Пусть выскребает из Маркса
и Энгельса
Ворох цитат, восхищенья
достойных,
Кто не наползался и не набегался
На нестихающих классовых войнах.

Не соблазнить нас,
в окопах проверенных,
Новым, на крови воздвигнутым
раем.

КОЧЕТКОВ Виктор Иванович родился в 1923 году в деревне Балахоновка Самарской области. Окончил Кишиневский Государственный университет и Высшие литературные курсы. Участник Великой Отечественной войны. Автор поэтических книг «Росный час», «Весть», «Осколок» и многих других. Член Союза писателей СССР. Живет в Москве.

Внуки расстрелянных,
Деды растерянных,
Совесть в советчицы мы выбираем.

Дедова роща

Дорога обогнула хмурый ельник,
Гречишным полем выбралась
к реке.
Вот здесь гудел когда-то дедов
пчельник
Под Лысою горой в березняке.

Приземистая пряталась избенка
Средь таволги и дрока у ручья.
По вечерам высвистывали тонко
Четыре бугульминских соловья.

Родник лучился в желобе
наклонном,
Да дикий голубь вспархивал порой.
И монотонным колокольным звоном
Деревня отзывалась за горой.

И дед стоял, высокий, белобровый,
С висюлькою нательного креста,
В чулках-пимах из обрези
шевровой,
В рубахе из домашнего холста.

Весь день в трудах с зеленым
дымокуром,
С сетчатою накидкой по плеча,
Он редко был сердитым или
хмурым,
Но мог словцом обидеть сгоряча.

И был упрям. Ходил в духовном
чине.
И новизна не нравилась ему.
По этой по единственной причине
Попал он в пересыльную тюрьму.

Не выдержал он в Котласе и года.
Он предавал анафеме ЧК-а.
В расход, в распыл опричники
Ягоды
Строптивого пустили старика.

Загинул дед в архангельской
сторонке,
Чуть не дойдя до северных морей.
И даже однострочной похоронки
Из тех не прилетело лагерей.

Отпели ливни. Отшумели грозы.
Распалась связь. Повымерло
родство.
И лишь шумели белые березы
На разоренной пасеке его.

И жизнь и быт деревни в эти годы
Перепахали вдоль и поперек.
Но запах меда,
дедовского меда
Тот березняк—поди же ты—сберег.

И я стою у родника живого
И слушаю веселый свист клеста.
И кажется мне, вижу деда снова
В рубахе из домашнего холста.

Вот он сидит и пьет самарский
кофий,
Под шум берез, под ястребиный
крик,
Веселый дед, строптивый
дед Прокофий,
Бессмертный балахоновский старик.

Был жарок день. Была горячей
банька.
Его истома сладкая взяла.
Он говорит с протяжкою:
— Витянька!
Не метусись, а то кольнет пчела!

✦✦✦

Былинка в поле

Только тропинка по снегу бежит,
Волчья тропинка в глухом буераке.
Только былинка над снегом дрожит,
Сухо шуршит в цепенеющем мраке.

Только она на калмыцком ветру
Не покорилась метельному ору,
Все еще с жизнью играет игру,
Все еще с небом не кончила споры,

Все еще силится в гулкой тиши
Вышептать что-то в окрестные
дали...
Милая, милая, громче шурши,
В мире твоей не хватает печали.

В мире, уставшем от распрей
и войн,
От политической долгой волынки,
Так не хватает сегодня живой
Тихой и горестной песни былинки.

Судьба проходимца

Отрепьев на троне. Венчанья обряд
Закончился польским «виватом».
Глаза у царя, как у рыси, горят
Веселым огнем лиловатым.

Торжественно он принимает послов
С учеными пришлыми дружит.
Час от часу хмель поздравительных
слов
Сильней ему голову кружит.

Он полон мечтаний и новых затей.
— Мы Русь,— он твердит,—
перестроим.
Пошлем за границу боярских детей.
Коллегиум новый откроем.

Уверенной стала походка и речь.
Он молится в храме без страха.
Смеясь, примеряет он Невского меч
И шапку-клобук Мономаха.

Дворцовою стражею
вместо стрельцов
Поставлены рыцари в латах.
«Пша прошам», «Пша прошам!»,—
Как посвист скворцов,—
Летает в кремлевских палатах.

Уже отыскался заезжий поэт
Воспеть этот шабаш бесовский,
И с гордой царицей ведет менуэт
Сиятельный Корвин-Круковский.

Прожектами полон Отрепьева ум.
Он сам и творец и творило.
Приспешники рядом — Плещеев
Наум,
Бучинский да Пушкин Гаврила.

С утра облачаясь в кунтуш голубой,
Он думает с легкой усмешкой:
«Да русского трона добьется любой,
Лишь ври половчей да не мешкай.

Я эту страну переделать берусь
Руками святого синклита.
Мы сделаем демократической Русь,
Как славная Речь Посполита».

По мерке пришлась ему царская
роль.
Смирил обещаньями ропот.
Звучало все чаще,
как некий пароль:
«Европы блистательный опыт».

Надменно цедил он:
— Темны москали,
Кичатся лишь хмелем да храпом.
Великие дива заморской земли
Неведомы сим косолапым.

Он щупал боярышень, словно кобыл:
— Жирны, залягай их родимец!
Прошедшее он будто вовсе забыл,
Удачливый сей проходимец.

Уже выколачивать новый ясак
Повытчики кинулись разом,
Уже приценяется львовский Исак
К наследственным царским
алмазам.

«Довольно победствовал я на земле,
Пока не набрел на удачу.
Чтоб только остаться
в Московском Кремле
Полцарства отдам, не заплачу».

К заморским владетелям шлет он
гонцов,
Пусть едут торговцы и вои.
Отбросил он гордый обычай отцов,
Наследство Руси вековое.

О, это пристрастие русских
людей —
Как знак самобытности вещей —
Из всех предлагаемых миром идей
Кидаться в объятья левейшей.

Он знает латынь. Он владеет пером.
Штудировал Макиавелли.
Красив. Расторопен. Хоть капельку
хром.
Удачлив в пиру и постели.

Но, видно, удача была недолга.
Столица томилась в разоре.

Еще не сошли в Подмосковье снега,
А площадь запахла грозою.

Он чует опасность собачьим чутьем:
«Ужели с Борисом мы квиты?»
Ему ли не знать, как умеют дубьем
Учить хитреца московиты.

Все больше тревоги в лукавых очах,
Все меньше веселья в проказах.
Все чаще заметна чужинка в речах
И нервная спешка в приказах.

И странные слухи ползут по Москве
Из темных домишек на Пресне,
Что ходит ночами он к некой вдове
Лечиться от стыдной болезни,

Что верных людей отдает палачам,
Что тешит латинского беса,
И в опочивальне скулит по ночам,
Как волк из рязанского леса.

И вот он, короткий и гневный набат.
Толпа продавила ворота.
Юзжит впереди, длиннорук
и горбат,
Юродивый Влас Косоротый.

И вмиг улетучилась стража
дворца,
Попрятались рыцари в страхе.
Отрепьев стоит на ступенях
крыльца
В ночной полотняной рубахе.

И злое молчанье в расчет не беря,
Охрипло кричит он в испуге:
— Да как вы посмели тревожить
царя!
Забылись, державные слуги!

— Довольно, безродный, в царя-то
играть! —
Басит ему гневно Овчина.—
Умел куролесить, умей умирать,
Коль ты не сморчок, а мужчина.

И вмиг самозванца накрыла толпа,
Ширяли и слева и справа.
Строка летописца об этом скупа:
«Погиб от мгновенной расправы».

Сожгли проходимца на заднем
дворе,
Мочой пригасили гнилушки.
Смели пепелок. И на ранней заре
Пальнули тем пеплом из пушки.

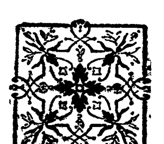
Ветра разнесли пепелок по полям.
Был солнечный день воскресенья.
И девять послов девяти королям
Писали свои донесенья.

И рыхлый подъячий в Кремле
говорил,
Глаза в собеседника вперя:
— Ну, этот приблудный недолго
царил,
Кому присягать-то теперя.

А старая бабка, печали полна,
На паперти храма брюзжала:
— Марина-то Мышка, евойна жена,
С каким-то мышонком сбежала.

И пели Успенские колокола.
И кузня оружье ковала.
И Красная площадь, как прежде,
жила,
С дощатых лотков торговала.

✦✦✦



НИКОЛАЙ КОНЯЕВ

ГАВДАРЕЯ

ПОВЕСТЬ

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Эта ночь долго не кончалась.

Светлело в прямоугольнике двери небо, и из неразборчивых мутноватых сумерек проступала покосившаяся ограда, стволы деревьев.

Ночью была гроза, и, пережидая ее, Лешка и Алевтина забрались в старый леспромхозовский сарай, что стоял возле развалин бывшей финской лесопилки на полпути от Заберег к Прорве.

Грозовой дождь разбил на деревьях почки, и деревья стояли сейчас подернутые маслянистым дымом листвы.

Так пришла в Забереги весна...

День-другой простоят деревья в дыму, потом набухнут, заматереют листья; защелкают, затоскуют в приречных зарослях соловьи, закукуют кукушки; ночи наступят синие, прозрачные, повиснут они над озерами и озерками; упадут, заплескаются в холодной воде чистые звезды.

Алевтина сидела возле открытой двери и расчесывала волосы.

— Мне еще идти надо, — сказала она, заметив, что Лешка тоже проснулся и смотрит сейчас на нее. — Мимо леса, мимо пожен, мимо реки...

— А что ты проснулась? — спросил Лешка, обнимая ее. — Озябла?

— Не-е... — Головешкина помотала головой. — Не, я выстрелы услышала и проснулась. Так страшно стало...

Золотистые солнечные лучи уже осветили верхушки деревьев, засверкали в капельках дождя. Чуть в стороне от сарая стоял лесовоз с выбитыми стеклами. Возле него валялись гнилые бревна.

— Меня теперь ваши поселковки со свету сживут, — выскальзывая из Лешкиных объятий и снова принимаясь за волосы, проговорила Алевтина. Засунула в рот шпильки и, не разжимая губ, добавила. — Придется тебе, миленький, в Вознесиху ходить.

— А я тебя к себе возьму, — засмеялся Лешка. — Ты тоже поселковкой будешь.

— Ага... — Головешкина обернулась и взъерошила его волосы. — Это еще подумать надо, да?

Потом быстро вскочила.

— Пойдем?

Они медленно уходили в прозрачный лесной дым... Лешка еще не

Продолжение. Начало в № 6 за 1991 год.

знал тогда, что до смерти полюбит эту чужую незнакомую девушку, но позже, до самой смерти, будет казаться ему, что он полюбил ее в ту ночь, когда шумела над землей весенняя гроза.

ВЕСЕННЕЕ УТРО

Редкий врач, распределившийся после института в село, не помышляет написать записки сельского врача. Не избежал этой участи и Прохоров... Однажды он решил описать родителям, как они и просили в письмах, всю здешнюю жизнь, и так увлекся, что, только когда исписал листов десять, понял, что не письмо он пишет, а дневник. Так то письмо и осталось неотправленным, зато так начался дневник Прохорова.

Прохорову очень хотелось описать в своем дневнике какую-нибудь такую ночь, которую бы он не спал, думая о работе, а утром подошел бы к окну и увидел деревья в молодой листве. Для этого и караулил Прохоров листья.

Впрочем, весенняя гроза разразилась ночью, и поэтому весну Прохоров проспал. Проснувшись, он выглянул в окно и не узнал набережную, подернутую, словно туманом, нежно-зеленой дымкой распустившихся почек.

В доме было тихо. Только на кухне радио рассказывало о челябинских пионерах, собирающих металлолом, да еще гремела посудой на своей половине Елена Ивановна.

Когда Прохоров прошел туда, электрический чайник уже кипел. На подоконнике лежал толстый кот и, зажмурив глаза, слушал рассказ о челябинских пионерах.

— Ишь... — сказала Елена Ивановна, — смотри-ко, праздник-то какой на улице... Раньше, было, на первомай флагов навешают, что даже воздух от них красный. А теперь уж никто не красит улицы, только вот сама весна...

— Как здоровье? — усаживаясь за стол, спросил Прохоров. — К-как спали?

— А! Какое спанье, когда все глаза проглядела, чего Мишка с курсов назад не едет?

— Приедет... Чего вы волнуетесь? Вы бы в амбулаторию зашли...

Елена Ивановна погладила кота и вздохнула.

— Зайду, Женюшка.

— Ага, — Прохоров улыбнулся. — Целый год уже заходите.

— Да я сама все. И Барсика сама лечу. Пошепчу-пошепчу, боль и уймется. Правда ведь, Барсик?

Барсик согласно замурлыкал в ответ.

— Это з-заговоры, да? — Прохоров осторожно, стараясь не звякнуть ложечкой, размешивал сахар. — Вы и заговоры знаете?

— Дак как же не знать... В старину многое было известно.

— А, м-может, расскажете что-нибудь?

Елена Ивановна испуганно перекрестилась.

— Да ты что, Женюшка?! Ведь беда будет.

— П-почему беда?! — удивился Прохоров. — Перед революцией их целыми книгами п-печатали!

— Дак и хлебнули потом горюшка! И революция началась, и война кряду, и колхозы... Дети вон из домов разъехались. — Елена Ивановна раскрыла створку окна и крикнула мужу: — Ты чай-то идешь пить? Чайник-то выстывает ведь!

— Иду сейчас! — недовольно ответил Елистрат Петрович. Он возился в соседнем дворе, помогал Сутулову снять с петель дверь.

— Вы чего это затеяли? — заругалась Елена Ивановна. — Вы что дверь сымаетс, идолы?!

— Снимаем, Елена Ивановна, снимаем! — радостно подтвердил Сутулов. — Вот ваш уважаемый супруг в залог ее у меня, можно сказать, берет. Доброе у него сердце, дорогая моя Елена Ивановна.

По этому вежливому разговору Прохоров понял, что Сутулов уже порядочно выпил сегодня. Было у него такое свойство... Когда же Кешка напивался до полного бесчувствия, то и русские слова забывал, только по-английски позволял себе выражать свои мысли.

— Ошалел ты совсем! — тяжело вздохнула Елена Ивановна. — Как же дом-то у тебя без двери будет?!

— О, Елена Ивановна! — омерзительно вежливо ответил Сутулов. — Это вопрос вопросов. Вы даже представить себе не можете, сколько у меня потрачено сил, чтобы устроить свой дом так! Сейчас ко мне можно только принести чего... Без двери, пожалуй, даже лучше будет. Хоть вам будет видно, кто тут у меня. А то ведь ходят разные, и не знать потом, с кого бутылку требовать. Вы уж, Елена Ивановна, записывайте, пожалуйста, кто тут ходит.

— Запишу! Я тебе так запишу... — пообещала Елена Ивановна. — Не будешь больше народ сдювлять.

— Ты не переубеждай его, не лезь не в свое дело! — заволновался Терехов. — Не понимаешь разве, что человеку козла своего помянуть надо!

— Да, Елена Ивановна! — подтвердил Сутулов. — Вот такое несчастье обрушилось на наш поселок. Сегодня ночью трагически оборвалась жизнь Бориса Георгиевича. Сраженный враждебной пулей, он пал в застенке во имя светлого будущего, которое вскорости откроется перед нами. Люди доброй воли во всем мире скорбят сегодня об этой безвременной кончине. Вечная память павшим!

— Сдювляйся больше! — сказала Елена Ивановна. — Ты и в школе хулиганом был, а сейчас совсем с пути свихнулся! А ты-то, старый черт, чего лезешь?

Елистрат Петрович ничего не ответил, взгромоздил на спину дверь и потащил ее в свой сарай.

— Совсем из ума выжил, — вздохнула Елена Ивановна, закрывая окно. — Тянет в дом, а чего тянет?

Она уже и позабыла про заговоры, о которых расспрашивал ее Прохоров.

Так Прохоров и ушел к себе ни с чем и, усевшись за стол, склонился над тетрадью, в которой вел свой дневник.

Дневник Прохорова открывался рассуждениями о роли врача в жизни поселка.

В своих дневниках Прохоров был весьма откровенен. Он воспроизвел, например, один нюанс из своей хирургической практики, о которой никому и никогда не рассказал бы вслух.

Дело заключалось в том, что в поселковую больницу легла на аборт девчушка из зареки. Прохоров отнесся к этому достаточно спокойно, но последствия смутили его. Несколько раз Прохоров встречал свою пациентку на танцах в клубе и каждый раз краснел, когда видел ее.

— Ты чего девок-то ходишь пугаешь? — спросил у Прохорова перед отъездом на курсы хозяйский сын Миша. — Ты, квартирант, подумай об этом, а?

Прохоров подробно описал этот эпизод из практики и, подумав, приписал заключение: «Особая сложность работы врача в сельской местности заключается еще и в том, что его личная жизнь и врачебная практика трудно поддается дифференциации. И никакие советы, по-видимому, здесь не помогут. Нужно искать свой особый стиль работы и поведения.»

Но вот с этим стилем и получалась незадача. Сразу вслед за эпизодом об абортах было записано: «Народная мудрость беспредельна и размывает даже ложно-нравственные барьеры. И именно в силу своей беспредельности эта мудрость не осознаваема носителями ее...» Мысль

была хорошая, более того — мысль эта нравилась Прохорову, и он гордился, что придумал ее, но он и понимал, что мысль эта ничего не объясняет в здешней жизни...

И, перелистывая свой дневник, Прохоров отчетливо видел, что хотя он и пытается осмыслить происходящее в поселке, но что-то самое главное ускользает от него. Ну разве, например, может не смущать обилие смертей в поселке — люди замерзали, тонули, убивали друг друга, и все как-то нелепо, случайно... Что это? Вырождение? Прохоров не мог понять. Его просто подавляло безразличие заберегцев и к чужой жизни и к своей собственной....

Одно время Прохорову казалось, что происходит это от недостатка духовных ориентиров, что если объяснить все людям, если направить их, то, может, тогда и исчезнет удручающая бессмыслица. Одно время, и Прохоров видел это по своим записям, мысль эта чрезвычайно увлекала его, и с помощью ее он многое объяснял, но два дня назад он узнал от Елистрата Петровича, что Самогубов написал какое-то заявление, будто т о письмо в защиту поселка, которое они отправили в обком партии, они написали по пьянке, и у него опустились руки. Что толку в нравственных ориентирах, если человек завтра же готов позабыть обо всем, предать все патриотическое дело?

«Поселок гибнет... Гибнет духовно... Спился И. А. Сутулов, человек безусловно очень щедро одаренный от природы. Впустую оказались растраченными и его одаренность и ум. Сходит с ума мастер с золотыми руками И. П. Заморозков. Деградирует на глазах В. А. Самогубов... Все это зловещие симптомы надвигающейся на поселок беды. И я, врач, не могу ничем помочь. Я ошибался, думая, что спасение поселка в руках местной интеллигенции... Здесь нет интеллигенции и не может быть, потому что все здешние учителя, инженеры мало отличаются от «олимпийцев», высланных в Вознесиху из Москвы. Причина гибели — в прерванности традиции. Исчезли не знания, а прежний духовный опыт сельской интеллигенции...» — Прохоров писал, и карандаш его все быстрее скользил по странице дневника, и, как всегда, когда накатывало на Прохорова такое, ему казалось, что вот сейчас он и запишет самое главное.

Слышались с хозяйской половины голоса, это Елена Ивановна отчитывала мужа за дверь, купленную у Сутулова, но голоса не мешали Прохорову.

«Странно... — писал он. — Елена Ивановна старше Елистрата Петровича всего на пять лет, но кажется, что она старше его на целую жизнь. Мудрость ее оттуда, из той прежней жизни, о которой ни я, ни сам Елистрат Петрович ничего не знаем. Отсюда и ее духовное превосходство. Она относится к мужу, которому вскоре предстоит выходить на пенсию, как к ребенку... По-видимому, современное воспитание и образование не дает полной культуры. Елена Ивановна, которая только на пенсии и начала-то читать книги, думает и выражает свои мысли гораздо свободнее, нежели ее муж, Елистрат Петрович, проведший долгие годы на профсоюзной работе. Елистрат Петрович путается, если только отступит от схемы. Оба они как бы олицетворяют она — культуру народную, подлинную, а он — некий суррогат культуры и духовности. Оказывается, что, когда мы собирались, чтобы написать письмо в защиту поселка, Елистрат Петрович думал только о том, что у него не стало должности, на которой он сможет доработать до пенсии. Взглянуть на проблему шире он просто не в состоянии. Я пытался объяснить ему причину всех несчастий поселка, но он не понимает ничего... Елена Ивановна, которая считает, что во всем виноваты «шимозеры», как ни странно, более права, чем он».

Прохоров быстро перечитал исписанные страницы. Рассуждение о двух культурах ему понравилось, но, подумав, он перевернул страницу и написал: «Но беда поселка не в этом. Беда поселка в том, что здесь все каждый сам по себе...»

ПОХОРОНЫ ЧЕРНОГО КОЗЛА

Лешка купил в магазине в Вознесихе хлеб, консервы, две бутылки вина и отправился назад в лес, где осталась его ждать в сарае Алевтина.

Они так и не выходили весь день из леса. Лес стоял нарядный, праздничный, в лесу пели птицы.

— Леш... — неожиданно спросила Алевтина. — А ты видел, как ходят деревья?

— Нет... — засмеялся Лешка. — А они ходят?

— Я не знаю... — вздохнула Головешкина. — Я думала, может, ты видел.

— Почему?

— У тебя лицо такое...

Только под вечер Лешка отправился провожать Алевтину.

Недалеко от Вознесихи в Свирь впадал ручей. Разбухший от дождя, он сам превратился сейчас в небольшую речку.

Следом за Головешкиной, смеясь, выбежал Лешка на берег и удивленно остановился — по другому берегу над чистой, быстрой водою шли люди.

Впереди с магнитофоном в руках шагал «олимпиец» Свечкин. Прижавшись щекою к аппарату, он вслушивался в привезенную из города запись песни.

«Истопи ты мне баньку по-белому! — задыхался магнитофон хрипловатым голосом. — Я сомнения все растоплю!»

Следом за Свечкиным с мешком, перекинутым за спину, шел Кешка Сутулов. Рядом с ним вышагивал Веня Самогубов, а следом с раскрасневшимися лицами беспорядочной гурьбой валили вознесихинские и заберегские мужики.

Это хоронили в Вознесихе козла.

Никого еще не хоронили так ни в Вознесихе, ни в Заберегах.

Веселым был козел, и на похоронах нахохотались вдосталь. Кешка первым делом полез на березу речь говорить.

— У нас, мужики, — сказал он, усевшись на дереве, — и могилки-то никакой не было. То есть могил, конечно, до хрена, а общей, куда, понимаете ли, можно любому прийти и бутылку выпить, — нету. Не было. А теперь, значит, такая могила есть. Спи, Борис, спокойно.

Кто-то подал ему на березу стакан водки, и Кешка, зажевав его молодыми листиками, продолжал речь, но теперь говорил уж как-то очень странно.

— Козел вы были, Борис, — бормотал он. — Думали, простой, а оказались козлом отпущения... Многие грехи с вами отпустятся.

Мужики-пропойцы, каких в Заберегах и Вознесихе было большинство, сидели вокруг, пили принесенную с собой водку и обсуждали, как теперь без козла будет жить сам Кешка. А он все еще бормотал, что хоть и не строил Борька социализма, зато построил гавдарею, что в духовном плане одно и то же, такое же общество без классов со всеобщим равенством и правом каждого быть вместе со всеми против каждого по отдельности.

— Да ну тебя, — прервал его Петя Пешнев. — Ну какой из Борьки мессия? Козлиная жизнь, она ничего не может спасти. Да и провонял он совсем. Зарыли вот, так и дышать легче стало.

Быть может, только один Кешка, изощривший свой ум в десятилетних скитаниях по ленинградским и московским институтам, и смог по достоинству оценить замечание поселкового плотника. От изумления он немедленно свалился с березы.

— Да ведь вы схоласт, Петр Ильич, а? — проговорил он, поднимаясь с земли и потирая ушибленное колено.

— Сам ты это слово, — ответил ему Пешнев. — Ты на меня не

ругайся. У меня племянник на философа учится, дак я и не такие слова знаю.

Лешка и Алевтина наблюдали похороны козла из-за деревьев.

— Да... — вздохнула Алевтина и потянула Свиридова за рукав. — Вот и не стало козла у нас.

— Будут еще, — сказал Лешка, но, сообразив, что сказал глупость, покраснел.

Оставшуюся до поселка дорогу прошли молча.

ЗАБЕРЕГСКИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ

Умел, умел Кешка мастерить из пьяных людей чудные приключения.

Непонятно, как он втерся в доверие к Самогубову, но под утро в этот памятный день они появились вдвоем на берегу реки и начали пускать ракеты.

Ракеты они запускали не вверх, а вдоль реки, и скоро старания их увенчались полным успехом — одна ракета попала в окно дома Елистрата Петровича.

Ох, и материл же их Терехов.

У Кешки даже голова разболелась от нецензурных выражений, и, наскоро простившись, ускользнул Сутулов к себе на дачу, и вовремя ведь ускользнул. Из калитки в белых кальсонах, накинув только фуфайку на плечи, уже бежал сам Елистрат Петрович.

— Эт-то еще что такое?! — закричал он, подступая к Самогубову.

— Сосед! — обрадовался Веня. — Ну, хочешь, я тебе дам стрельнуть в мою избу?

Елистрат Петрович Терехов, злившийся на Веню за предательство патриотического дела — Фридман уже пустил по инстанциям его объяснительную записку, что то письмо было написано в нетрезвом виде, — только брезгливо поджал губы, но Веня посчитал, что он это из скромности, а сам, конечно же, не прочь сквитаться, и буквально всунул Елистрату Петровичу ракетницу.

С этой ракетницей и заявлением о «хулиганском поступке гр. Самогубова В. А.» и явился наутро Елистрат Петрович в Зеберегское отделение милиции. Аркадия Павловича он не застал. Свиридова вызвали в район, и он уехал на автобусе в шесть часов утра, оставив заместителем Жиганова.

Жиганов внимательно перечитал заявление, убрал в сейф сигнальную ракетницу и, надев фуражку, направился в Самогубову. Через четыре часа Веня уже трясся в почтовом «газике» по направлению к райцентру. Там в районном суде без проволочек присудили ему пятнадцать суток за мелкое хулиганство.

Кешка же как ни в чем не бывало с утра уже сидел на пеньке возле столовой.

Раньше здесь росла липа. Она набирала силу, кора на стволе грубела, ветви крепли, все дальше тянулись по сторонам. Липа росла до прошлой осени. Тогда, в ветреную ночь, ее не в меру осмелевшая ветка стала биться в стекло столовой. Сработала сигнализация, и звенело, звенело в участке, пока не пришел сонный милиционер и не отключил ее. Липу после этого спилили, но остался пенек, на котором и сидел сейчас Сутулов.

Он посматривал на мужиков, что ожидали на крылечке открытия столовой, и грустно усмехался. В разговор он пока не вступал, хотя мужики и не прочь были бы узнать его мнение о совершающихся в поселке переменах.

Дело в том, что еще утром въехала в поселок мехколонна. «КрАЗы», экскаваторы, бульдозеры, краны... Все эти машины, разрывая своими гусеницами и колесами непрочные поселковые улицы, проследовали на пустырь за домами и там остановились, словно задумавшись, что им делать дальше.

Об этом и шел разговор возле столовой.

Вообще-то разговоры о строительстве в поселке двух цехов завода «Красная звезда» велись уже давно, года два, наверное, но все это были только разговоры, а к разговорам в Заберегах отношение особое.

Настоящему заберегцу часами можно втолковывать, что все изменится, потому как все будет так, а не иначе, и собеседник ваш охотно покивает, показывая, что и сам он понимает, что все изменится и будет так, а не иначе, но кивание это еще ничего не значит, во всяком случае, никакого отношения к подлинным мыслям и убеждениям вашего собеседника не имеет. Иногда настоящий заберегский житель кивает вам просто потому, что уважает и вас, и всякое непонятное слово, а иногда и не вам он кивает, а каким-то своим мыслям, которыми всегда забита у него голова, или, может, привычка у него такая — кивать всем, кивать всему, на всякий случай кивать, чтобы поскорее кончить тягостный разговор.

Нет, в Заберегах никогда доподлинно нельзя быть уверенным, что ваш собеседник правильно понимает вас, если он даже и кивает вам. И никуда от этого не денешься. А обещания для заберегца и вообще ничего не стоят. Пообещайте ему ружье подарить, дом отремонтировать, моторку железную купить, и он, нисколько не усомнившись в вашем обещании, благодарно будет и тут кивать и сам пообещает, что он вам фруктовый сад вырастит, а посреди него баньку на самом берегу реки поставит. С сауной? Можно и с сауной, только вначале разузнать надо, что это такое... Пообещает он вам, что и пить бросит, и новую жизнь начнет, будет в этой баньке, то есть в сауне, посреди фруктового сада сидеть и думать будет, что бы еще такое хорошее для милого друга можно сделать.

И не сделает, конечно, ничего из наобещанного. И сада не посадит, и баньку не срубит на берегу, но ведь и с вас ни ружья, ни моторки железной тоже требовать не будет. Потому как все ваши уговоры вчерашние — для него один только разговор, в разговоре друг друга полюбили, друг друга порадовали, и хватит. Чего еще больше-то от разговора надо?

Нет, не верили в Заберегах разговорам, хотя и проводили собрания разные, на которых рассказывали, что два цеха в поселке построят, что и заработки тогда пойдут, дома каменные вовсю начнут строить и даже улицу заасфальтируют, все равно не верили ни единому слову мужики, хотя кивали, конечно, а некоторые так тоже на трибуну поднимались и обещали, значит, и с пьянством бороться, и нарушений трудовой дисциплны не допускать, сады фруктовые, — а еще ульи, кричали из зала, обязательно чтобы ульи были! — разводить... И вот надо же — так странно, совсем даже и не по-людски, не по-заберегски то есть, все эти душевные разговоры кончились.

Потому как какие уж тут сады фруктовые, если такую технику в поселок нагнали. Похоже, что и впрямь затевается нечто несусветное...

Поэтому, переговариваясь между собой, и поглядывали мужики на молчаливо усмехающегося Кешку Сутулова. С одной стороны, свой, конечно, вполне, можно сказать, спившийся человек, а с другой — образованный.

Вон вчера-то, после похорон козла, явился он на аэродром и начал там шпарить не по-нашему, выдавая себя за швейцарского подданного и требуя подать ему билет до Берна. И до тех пор требовал, пока дежурная не объяснила, что последний самолет на Берн из Забереги уже улетел сегодня и, если желается лететь туда, завтра приходить надо. Вот только тогда и успокоился Кешка, опечалился и побрел на

дачу, правда, по дороге свалился в канаву и долго лежал там, и снова долго говорил что-то не по-нашему. Так что мог, вполне мог такой человек знать, чего такое в Заберегах затевают начальники делать.

— Иннокентий Алексеевич! — кашлянув в кулак, спросил Ваня Павлович Заморозков. — Дак в Берну-то не полетите сегодня разве? Вроде как собирались вчера.

Печально и мудро посмотрел на него Кешка.

— Куда там полетишь? — сказал он. — Делами надо заниматься. Что, сами не видите, Иван Павлович, какие дела начинаются? Только мне и разъезжать сейчас по Бернам.

— А какие дела? — насторожились мужики.

— Да так, — неохотно сказал Кешка. — С дачей у меня сейчас хлопоты...

Теперь уже все мужики выжидательно уставились на Кешку, и ему пришлось выложить все начистоту. Оказалось, что занят сейчас Сутулов переоценкой своей дачи, то есть перестраховать ее решил, поскольку застрахована она совсем уж на мизерную сумму — всего на полторы тысячи рублей.

— А ты во сколько же ее застраховать хочешь? — спросил Заморозков.

— Не знаю еще...—ответил Кешка. — На тысяч десять надо оценить.

Несколько мгновений все оцепенело смотрели на Кешку. Право же, если бы вчера благополучно уехал Сутулов, оказавшись на самом деле швейцарским подданным, в тамошний комитет защиты прав людей и животных, и то бы не так удивились мужики. Пожали бы просто плечами — чего не бывает!— и успокоились на этом. Но на десять тысяч страховать развалюху?! Да и цен-то таких в Заберегах еще не слышали.

— Но это само строение... — скромно сказал Кешка. — А еще сад, плантация... С садом-то проще, конечно... Тысячи две — больше мне за него не дадут, а вот плантация...

И он снова тяжело вздохнул.

— Какая плантация? — осторожно спросил Заморозков.

— Женьшеневая... — ответил Кешка и поднял на мужиков свои светлые, простодушные глаза. — Я ведь чего здесь, мужики, околачиваюсь? Я женьшенем весь огород засадил, а он, корешок-то этот, в год по миллиметру растет. Но сейчас... Сейчас, я думаю, тысяч на сорок уже есть урожая. Правда, все равно в убытке окажусь. Года за три еще бы на сто тысяч наросло. Так что тут, думаю, наш страховой агент не поможет. Надо будет хлопотать, чтоб из Совмина комиссию прислали.

Все Кешка врал. Уж про Совмин и женьшень-то точно врал. Но вранье это больше всего и смутило мужиков. Коренной заберегский мужик ведь как рассуждает: если говорил-говорил человек, а потом пустился напропалую врать, то, значит, зачем-то ему это нужно, значит, он скрыть хочет чего-то, и, значит, в это скрытое и надо проникнуть цепким заберегским умом.

— А зачем? — в упор спросили Кешку.

— Что зачем? — удивился тот.

— Зачем тебе страховать да оценивать все?

Кешкины глаза сделались круглыми от изумления.

— Да вы что, мужики?! Офонарели, что ли? Не знаете разве, что весь поселок сносить будут?!

И словно подтверждая его слова, загрохотали, заревели на пустыре невиданные в Заберегах машины, а Кешка тем временем встал и, покачав головой, шагнул к двери столовой. Уже гремела засовом буфетчица Дуся Савунькина — столовая открывалась, начинался новый день...

ПРЕДЧУВСТВИЯ АРКАДИЯ ПАВЛОВИЧА

С самого начала заберегских недоразумений Аркадий Павлович Свиридов ни во что не вмешивался. Странная, непонятная жизнь творилась в поселке, и ни знать ее, ни понимать не хотелось. Уже в конце мая завлек его к себе попить чайку Елистрат Петрович. И сразу в самое пекло и угодил Свиридов. Снова начал Терехов втолковывать, что теперь время такое, когда им, старикам, вместе держаться надо.

— Да ты уже говорил об этом... — сказал Аркадий Павлович. — Ты вот объясни лучше, чего ты соседа своего на сутки упек?

— А что мне ждать было, пока он второй ракетой старуху мою порешит?

— Отчего же? Ждать ни к чему... — Аркадий Павлович побарабанил пальцами по столу. — Только ведь и по-соседски обойтись можно было. Разбудил бы Веру, она сразу бы супруга утихомирила.

— Сволочной он мужик больно, чтобы по-соседски с ним... — пробурчал Елистрат Петрович. — Да ладно... Не об этом я с тобой, Аркаша, посоветоваться хотел...

— О чем же?!

— Совета хочу спросить... — повторил Елистрат Петрович задумчиво. — Говорят, поселок наш сносить будут. Не слышал, когда это мероприятие намечено?

— Не знаю... — усмехнулся Аркадий Павлович. — До меня эта информация еще не дошла.

— Так она и не дойдет, я так думаю, — сказал Терехов. — Помнишь, как Остречины затопляли? Все говорили, что не попадем в зону затопления, а потом приехали и объявляют, что уезжать надо.

— Завод-то — не зона затопления! — сказал Свиридов.

— Так и мы ведь не остречинцы. У нас теперь шимозер на шимозере сидит и шимозером погоняет. С нами теперь чего хочешь можно делать — никто не заступится.

— Ладно, — сказал Свиридов, вставая. — Ты много-то не болтай языком. Выясню я этот вопрос.

— А что я?! — возмутился Елистрат Петрович. — Я ж никуда и не суюсь. Это Фридман да Самогубов тут воду мутят, а я чего? Мне перед пенсией тихо жить надо.

Слухи о том, что будут сносить поселок, очень не понравились Аркадию Павловичу. Но еще больше не понравилось ему, что районное начальство просто посмеялось над ним, когда он доложил об этих слухах.

— Ты что, в связи со сносом поселка и народную дружину решил распустить? — спросил у него начальник райотдела.

Свиридов удивленно посмотрел на него, потом пожал плечами.

— Я же говорил... — хмуро сказал он. — У нас поселок. Все друг друга знают. Это в городе дружинника закон охраняет, а у нас чего? Если попробует пьяного не пустить на танцы, сразу и получит по морде, а потом разбирайся. Он же, говорит, не дружинника бил, а своего одноклассника бывшего. Откуда, говорит, я знал, что дружинник он.

— Глупости! — сказал начальник. — Это один раз, другой проявить строгость, а на третий начнут замечать что положено.

— Не знаю... — Аркадий Павлович безразлично пожал плечами. — Может, и начнут, а по-моему, так и действительно ведь не дружинника видит перед собой хулиган этот, а своего одноклассника бывшего. Как тут удержишься? Да и дружинники-то наши — они ведь тоже всех знают. Рядом живут, вместе работают. Им-то каково! хватать своих же корешков. Не-е... Не получилось у нас ничего с дружиной и, я так думаю, не получится.

— Н-да... — начальник вздохнул. — Неверная у тебя, товарищ

Свиридов, ориентировка. Неверная. Вот это я тебе прямо скажу. Ошибочная. И не случайно... — он выдвинул ящик стола и достал из него какой-то листок.— Не случайно товарищи сигнализируют...

Взглянув на листочек, Аркадий Павлович сразу узнал залихватский почерк Жиганова.

— Вот... — проговорил начальник. — Тут пишут, между прочим, что ослабла у тебя воспитательная работа, что народная дружина запущена, что...

— Ты вот скажи мне лучше, Иван Степанович, — перебил его Аркадий Павлович. — Что ему, Жиганову, нужно, а? На место мое зарится, так оно все равно его будет. Он там у нас старший по званию... Всего ведь четыре месяца подождать осталось.

Лицо начальника райотдела поскучнело.

— Комиссия по этому письму назначена! — сказал он. — Так что учти. А насчет твоего преемника мы еще думать будем. Может, и пришлем кого.

— Поторопитесь тогда! — сказал Аркадий Павлович. — У меня еще отпуск негулянный за два года. Так что и не четыре месяца остается, а всего два.

— Подумаем, — начальник убрал заявление. — А с дружиной оформи как положено. Раз уж собрался на пенсию, то аккуратно дела сдавай. Тебе тоже неприятности эти ни к чему, хоть и уходишь.

— Сдам... — пообещал Свиридов. — Все, как положено, сдам. Да... Тут еще одно дело есть. На сутках у нас Самогубов сидит. А он диспетчером работает и навигация в самый разгар идет. Ты давай его к нам переправь. Сутки дежурить будет, а трое у нас сидеть. А то что же? Где сейчас диспетчера найдешь?

— Бери с собой! — махнул рукой начальник. — У нас такого добра своего хватает.

Но хоть и поговорил Аркадий Павлович, хоть и уладил дела, тревога не рассеялась. Еще холоднее стало в груди, даже дыхание порой перехватывало. Нет! Не из-за козней Жиганова волновался он. На Жиганова — наплевать. Аркадий Павлович в тот же день, когда вернулся в поселок, записал в народную дружину всех взрослых сыновей заберегских милиционеров и очень развеселился, когда вечером, прямо домой, пришли записываться и жигановские отпрыски.

— Подумаем... — сказал им Свиридов и, взяв заявления, отпустил парней с миром.

Так что не Жиганов тревожил Аркадия Павловича. Не Жиганов. Тревожила поселковая замятня, только усилившаяся с появлением в поселке этой неведомо откуда взявшейся здесь мехколонны. Смешалось, перепуталось все в поселке...

А может, потому-то и перепугался так Аркадий Павлович, когда сквозь гул голосов в столовой услышал обиду Коли Рощина: «Черта с два еще поеду куда-нибудь. Клепиков вон всю кабину кровью измарал... Они стреляются, а я подтирай потом за ними... Тоже мне дуэлянты шимозерские!»

И пиво свое не допил Свиридов. Снова вспомнился ему пропавший рыбинспектор, который исчез неведомо куда, как нередко исчезали здесь люди. Не могло быть связи между нынешней пальбой и пропавшим перед октябрьскими инспектором, но Аркадий Павлович сразу побежал домой и долго не мог застегнуть дрожащими пальцами пуговицы на кителе — расходились нервы, ох расходились! — пока не подошла жена Серафима и, разглаживая какие-то невидимые складочки, не проговорила: «Квас и тот играет, а наши мужики хуже, что ли? Съездил бы лучше в лесхоз, поговорил о покосе...»

Только тогда и вернулось к Аркадию Павловичу самообладание.

— Какие там, к едрене матери, покосы! — выматерился он и заспешил на улицу.

...Страшно было. Не того, что Клепиков с Питерцевым стрелялись, а своего страха страшно. Было уже так. Три года спустя после войны. Тоже тогда уши заложило. Знал это состояние Аркадий Павлович. И всегда оно страшным кончалось...

Тогда, после войны, леспромхозовские мужики разыскали на дальних делянках рухнувший, но не сгоревший, так и пролежавший все эти годы в лесу «юнкерс». Прибыв на место грозной находки, Аркадий Павлович увидел только остов самолета. Все остальное — и дюраль с крыльев, и ветровые стекла, и парашюты, а главное, боевое оружие — пистолеты и пулемет— бесследно исчезло. Вот тогда-то, словно бы уши заложило, и исчезли, увязнув в ватной тишине, звуки музыки, вот тогда-то и испугался Аркадий Павлович, может быть, первый раз в жизни, и, испугавшись, растерялся... Всего месяц, пока шло расследование, длилась эта глухота, но за этот месяц и успел поседеть молодой еще в те давние годы начальник милиции.

А сейчас что делать? На самотек пустить? Не положено. Дело открыть? Как же... Откроешь с такими согражданами. Вон Рощин, сразу и отперся, дескать, не возил я никого, только так, языком треплю для разговору... Ведь и не сделаешь ничего, больно умные люди нынче пошли, всяк норовит обойтись без милиции.

Клепиков жил в Карьешке, на другом берегу реки. Добирался туда Свиридов на спасательном катере.

Моторист несколько раз нажал на педаль, мотор наконец проснулся, зафыркал и вот: ровно загудел, и катер стал выруливать из заводи к большой воде.

Напротив мастерских они увидели зловещую отсюда, с реки, громаду «Волгобалта», нависшую над лодкой Вани Павловича Заморозкова. «Волгобалт» отчаянно кричал, а у Заморозкова, видно, клевало — как же уедешь? — и он по-прежнему неторопливо выбирал продольник. А как только подцепил добычу, так и махнул Прохорову, который на якоре сидел, тот быстро выбрал якорь и сразу сел на весла. Рыбаками и Прохоров, и Заморозков не жадными были, заловили рыбину — и домой, хоть целый день потом по реке ездите, никому не помешают.

Сконфуженный «Волгобалт» двинулся дальше, и капитан, почти наполовину высунувшись из рубки, прокричал вслед рыбакам очень популярные у нас в России пожелания.

Аркадий Павлович махнул рукой мотористу, и катер мягко свернул с течения, помчался, подпрыгивая на «волгобалтовской» волне, к лодке Заморозкова.

Как только Аркадий Павлович ухватился за борт лодки, он сразу спросил у Прохорова:

— Клепикова давно оперировали?

Прохоров отчаянно взглянул на Ваню Павловича, но тот, наклонившись, разбирал снасть на дне лодки.

— Ишь... — сказал он, — волной под задницу дало — все черви в воде... — и он протянул было Аркадию Павловичу банку с червями, чтобы посмотреть, но, встретившись с ним глазами, отвел руку и стал выливать из банки воду.

— Так вы не припомните, товарищ Прохоров, какого числа к вам поступил гражданин Клепиков с простреленным ухом? — более официально сформулировал свой вопрос Аркадий Павлович.

— Н-нет! — неожиданно твердо заявил Прохоров. — Я не м-могу с-сделать заключения, что ухо К-клепикова было повреждено огнестрельным оружием. М-может, да, а может, нет. Д-дело, в том, что до того, как п-поступить в больницу, Клепиков самооперировался, и поэтому характер п-повреждения невозможно установить.

— Ну ладно, ладно, — пришлось успокаивать его Аркадию Павловичу: того и гляди, Прохоров начал бы кричать. — Мне именно эта справка и нужна была от вас, Евгений...

— П-петрович... — подсказал Прохоров.

— Вот именно, Евгений Петрович, — Аркадий Павлович отпустил заморозковскую лодку, и их сразу разнесло течением.

Моторист снова вырулил катер к Карьешке.

— Никто ничего не знает! — крикнул Аркадий Павлович мотористу сквозь шум мотора.

— Ну! — прокричал тот в ответ и сочувственно засмеялся.

Высоко над рекою, на самой вершине гранитной скалы, стоял клепиковский дом. Поднимаясь к нему, Аркадий Павлович усмехнулся. На карте начальника районной рыбинспекции — отставного желчного полковника — это место было обозначено красным крестиком, а рядом размашисто написано: «Дом браконьера Клепикова».

Почти у воды, в самом низу скалы, чернела амбразура. Во время оккупации финны продолбили в скале проходы, сооружая здесь оборонительную линию, и Клепиков не случайно построился здесь. Долгие годы он хранил в скале взрывчатку, которую собирал по окрестностям. Задумка была хороша: и ответственности никакой — кто его знает, чего там в скале у финнов напихано, — и польза.

Но это было в первые послевоенные годы, когда Клепиков и Аркадий Павлович были еще друзьями. Оба ходили тогда в полинялых гимнастерках, а теперь Аркадий Павлович уже капитан, Клепиков же надевает боевые ордена, только когда получает повестку в народный суд. С войны, с такой войны вернулся Клепиков целым и невредимым... Аркадий Павлович вздохнул тяжело и толкнул калитку.

Окна в доме были открыты, и во дворе слышались беспорядочные звуки музыки. Прошлой весной Клепиков купил внучке пианино и теперь заставлял ее постигать музыкальные премудрости.

Сам Клепиков сидел на кухне и подшивал валенок. Пофыркивал на плите заварной чайник.

— Чаю, может, выпьешь, — равнодушно предложил хозяин, не прерывая своего занятия.

— Не, — отмахнулся Аркадий Павлович. — Я так посижу. А чего это? — голос его задрожал от изумления. — Ты и без уха уже!

— А... — ответил Клепиков, откусывая зубами нитку. — Шел по лесу да за сучок зацепился.

— Да ну?! А чего Прохоров говорит, что дробинку из уха вынул? Дробью, что ли, заряжен сучок был?

— Пустое говоришь, — хмуро откликнулся Клепиков. — Была бы дробинка, так и акт бы Прохоров составил. Что он, ребенок, что ли? Такое дело актировать сразу надо.

— Ну да... — скучно согласился с ним Аркадий Павлович, разглаживая пальцем складку на клеенке.

Клепиков искоса взглянул на него.

— Так выпьешь, может, чаю?

— Потом чаю, — усмехаясь, сказал Аркадий Павлович. — В другой раз, когда ты снова с сучком встретишься.

И взглянул на Клепикова веселым своим глазом.

— Это когда еще будет, — спокойно отозвался тот. — Чай-то, небось, и выкипит весь.

— Эх ты, Квас Квасович! — проговорил Аркадий Павлович и улыбнулся.

Клепиков не понял, о чем речь, но тоже попытался раздвинуть в улыбке искривленные губы.

— Странный ты человек... — вздохнул Аркадий Павлович. — Такой у тебя дом, и на отшибе поставил...

— Все теперь, если разобраться, на отшибе живут... — не задержался с ответом Клепиков.

— Многие... — то ли согласился с ним, то ли поправил его Аркадий Павлович. — А надо бы всем сообща жить! Ты как? Может, ты иначе думаешь?

— Я думаю, что, когда каждый будет жить как хочет, тогда можно будет подумать, как сообща жить, — сказал Клепиков. — А пока каждый за себя живет.

— Да ты, я посмотрю, философ! — усмехнулся Аркадий Павлович. — В общем, ты, философ, заруби себе на носу: еще раз увижу тебя с сетками — всё! Понял?

И он впился в Клепикова своим строгим глазом. Но и Клепиков непрост, ох непрост был. Мгновенно повернулся к Свиридову израненной стороной лица, пряча за ее уродством черную осеннюю тьму живого глаза.

— Какие сетки? — горестно воскликнул он. — Одни избродки остались. Кинул воно на смородину, чтобы воробьи не клевали.

— Я серьезно ведь говорю, — Аркадий Павлович встал. — Много за тобой, Клепиков, нехорошего числится. Смотри...

— А я отвечу, Аркадий, — тоже вставая, сказал Клепиков. — Ты не бойся за меня. А рыба? Ну, ты сам посуди, куда мне рыба? Только что на удобрение зарывать...

Обратно Аркадий Павлович прошел задворками. Здесь, по огороду, заросшему высокой травой, прыгали скворцы, с шумом раздвигая ее. Чуть в стороне — хиленькие — топорщились смородиновые кусты. Они действительно были прикрыты рваными сетками.

Аркадий Павлович хотел было заглянуть в сарайку, но оттуда грозно оскалилась на него клепиковская овчарка, и Аркадий Павлович отступил.

Он оглянулся на дом. Отсюда, с задворок, был виден только угол дома да белая створка раскрытого окна. Дальше синела река, зеленел зареченский сенокосный берег.

Из окошка же выглядывал сам хозяин.

— Что? — спросил он. — Может, собаку прибрать надо? Дак я сейчас...

— Ни к чему! — Аркадий Павлович покачал головой. — Я тебе все сказал.

Между прочим, в этот вечер Иннокентию Сутулову удалось расколоть на выпивку Прохорова. Прохоров вынес спирта, быстро захмелел, и потом Кешка уговорил его покататься на школьной кобыле Андромеде.

— Ты ж пойми! — горячился он. — Ты же никогда этой народной жизни не поймешь, если на лошади не научишься ездить. Лошадь в русской философии важное место занимает... Вон хоть гоголевскую вспомни птицу-тройку...

Упоминание о Гоголе доконало Прохорова. Он встал и неверными шагами направился к Андромеде. Школьная кобыла привыкла ко всему за свою жизнь, но Прохоров ей не понравился. По-молодому заржав, она встала на дыбы, и полетел Прохоров — слава богу! — на мягкую землю.

За этой сценкой наблюдал с парома невесть откуда здесь взявшийся цыган. Он угрюмо плюнул и проворчал сквозь усы: «В реку бы его скинуть надо».

А маленький сынишка, что вертелся возле его сапог, искательно заглянул в глаза отцу и сказал, старательно изображая презрение: «Артисты, да?»

Цыган снова усмехнулся и, запустив тяжелую пятерню в сынишкины волосы, проговорил: «Лошадей да баб беречь надо. Мягкие они».

Больше в этот вечер никаких происшествий не случилось.

Конечно, рассказывая о заберегских делах, мы останавливаемся только на тех событиях, которые привели к тому, что старые греки называли бы судьбой, а мы называем просто недоразумением, или, как сказал Кешка Сутулов, гавдареей.

Кроме этих событий, разумеется, происходили и другие. Ну, например, Миша Терехов, вернувшийся наконец с курсов домой, проведал, что отец сдал на сутки Самогубова, и сильно распсиховался по этому поводу.

— Ты чё страмишь меня? Чё страмишь?! — наступал он на отца, а когда тот вздумал было прикрикнуть, выгнал на улицу.

Напрасно Елена Ивановна пыталась усовестить сына. Миша закрыл ее в комнатах, припер дверь стоявшей в коридоре бочкой, и здесь же, в коридоре, и держал двустороннюю — с улицы в дом колотился Елистрат Петрович — оборону. Вскоре он заснул, и тогда Елена Ивановна, открыв окно, втащила озябшего мужа в дом.

Наутро она решила поговорить с Мишей, но Миша не стал ее слушать и съехал жить на землечерпалку, что стояла на реке напротив тереховского дома. А Елистрат Петрович весь июнь ходил и жаловался на радикулит. Все-таки провести ночь на улице в его возрасте — дело не из приятных.

Случались и другие мелкие недоразумения... Например, уже в мае заберегский госстрах выполнил годовой план за весь район, и агенту госстраха Сашке было присуждено какое-то переходящее знамя. Кроме того, не утихали интриги вокруг оставшихся должностей, но уже совсем наступило лето, и что бы там ни случилось в Заберегах, что бы ни думал Аркадий Павлович, ни его, ни чьи другие тревоги и опасения не могли остановить заведенного порядка — в конце месяца в Забереги стали съезжаться отпускники.

В редком доме не было нынче гостей. Уже и поселковые бабки перестали пялиться вслед незнакомым людям — слишком много их стало на улицах поселка, гораздо больше, чем самих бабок.

Но об этом в следующей главе.

Глава четвертая
НАСТУПИЛО ЛЕТО

Вот и наступило лето. Дружно повалила из земли зелень, тесно стало в палисадниках и на поселковых улочках. Все потонуло в зелени, только кое-где промелькнет белая створка окна, серая крыша, а больше ничего не видно — только деревья, что стоят, навалившись темно-зелеными грудами на старые заборы.

Как и положено летом, начали съезжаться в Забереги отпускники — все те, кого Забереги ро́стили, выучивали на инженеров, на начальников,— потянулись из городов в родные края, в пригревшиеся на летнем солнцепеке Забереги.

Но в этом году и зелень гуще поднялась, и людей съехалось больше, чем в прошлые годы,— мешаясь с отпускниками, бродили по поселку в замазюканных рубахах мехколонновские бульдозеристы и шоферы, что жили сейчас в старом школьном интернате.

И в этой вздорной и легкомысленной массе постоянные жители Заберег сделались как-то незаметнее, словно притаились, прячась от судьбы, но та по-прежнему зорко следила за ними.

САМОГУБОВ

Жизнь брала свое, и даже без пристани все как-то налаживалось. В восемь часов вечера Самогубов сдал дежурство. Вот и все. Отработал долги, которые накопились, пока сидел на сутках, теперь полегче будет. Отоспится вначале, а потом и порыбачить можно — на озере уже пошел паровой окунь.

Словно бы тяжесть свалилась с плеч, и, шагая по пристани, ощущал себя Веня сейчас на манер отпускника. Попытался вспомнить, что́ случилось с ним за последние месяцы, но отпускная легкость мешала сосредоточиться. Самогубов сдвинул пальцем фуражку с крабом, примостившуюся на копне кудрей, и неожиданно зацедилась из него песенка, которую уже давно позабыл:

Над та́мбуром горит холодная звезда.
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает...

Что было дальше в песенке, что понимал кондуктор, Веня не помнил, но все равно обрадовался этому кондуктору как давнему своему знакомому. И главное — ведь толковый мужик кондуктор, раз все понимает,— вот так-то, девочки! — не то, что некоторые.

— Над тамбуром горит холодная звезда,— снова замурлыкал он, охваченный волшебной легкостью летнего вечера.— Кондуктор понимает...

Веню забрали на сутки, когда деревья стояли в клейкой дымке, а сейчас листья стали тяжелыми, крупными, потемнели от жары и пыли. И река стала за это время другой. Наступили самые жаркие месяцы навигации, и по реке суетливо сновали насквозь прокопченные буксиры. Пыхтя, они тянули караваны барж, длинные гонки леса, а потом подолгу стояли у потемневших причалов, продолжая раздувать пары, словно не могли отдышаться. И глухо, с перебоями, стучали их довоенные моторы. Проползали широкогрудые «Волго-Доны», и вода, вытесненная их тысячетонными туловищами, далеко затопляла низкие берега. К реке привыкаешь, пока она в глазах, и словно не замечаешь ее, а уезжая, легко забываешь, и только, возвратившись назад, понимаешь, чего так томительно не хватало твоему зрению. Эта же река несла мимо города обломки ящиков, пятна мазута, но здесь, в поселке, она была совсем другой, ее хотелось погладить. И, не удержавшись, Самогубов шагнул к воде, наклонился над нею.

Дело происходило недалеко от нового магазина. Магазин действительно лет десять назад был новым, и хотя давно уже потемнели его стены, название сохранилось.

В этом магазине отоваривалась сегодня жена Питерцева, а сам Питерцев сидел в своей моторке и наблюдал за Веней, как переступил тот через кайму накиданных волнами на берег кусков коры, гиблого тростника, и нагнулся к воде, чтобы потрогать ее рукою.

— Сидел, говорят, что ли? — спросил он, и только тут Веня увидел его.

— А! — Веня махнул рукой. Какая-то необычайная простота появилась в нем, он сел на бревно и вытащил из кармана измятую пачку «Памира».— Сидел...

— Стосковался небось по реке,— не то спрашивая, не то утверждая, задумчиво проговорил Питерцев, а потом матюгнулся.— Вот ведь гады! Чего хотят с людьми, то и делают... И не докажешь ничего. Сколько тебе окладу-то положили?

— Сотню...— ответил Веня. Прищурившись, смотрел он, как на тихом ходу, медленно выходит из-за доков восторженно-белый туристский теплоход. Гремела на борту музыка, и красивые женщины смотрели на проплывающий мимо поселок.

— Израчились...— усмехнулся Питерцев.— За такие деньги сейчас и сторожа не работают. Вон Клепиков и то сто двадцать получает...

Может, по совместительству куда устроиться тебе?

— Куда?

— Есть одно место...— наклонившись, Питерцев пошарил в носовом бардачке лодки и что-то вытащил оттуда.— На вот. Лови.

Не вставая, Веня поймал руками брошенного ему серебристого, в темно-серых пятнах лосося.

— Засоли...— посоветовал Питерцев.— А место хорошее есть. Как раз для тебя. Ты, парень, рыбинспектором устройся по совместительству. Понял?

С двумя распухшими сумками вышла из магазина жена Питерцева.

— Поедем, что ли? — спросила она, внимательно разглядывая лосося, которого Веня держал на коленях.

— Поедем! — сказал Питерцев.

Веня еще немного посидел на берегу, пытаясь вспомнить, сообразить что-то очень важное, потом встал и неторопливо побрел по берегу, в одной руке он держал сетку с термосом, в другой, просунув палец под жабру,— лосося.

Миновав лаву, Веня остановился, шагнул в буйную зелень скверика имени тов. С. М. Кирова. Положил на скамейку лосося и сам сел рядом. Снова задумался.

Надо было вспомнить, сообразить что-то, но что? Этого Веня не знал. Он крутил своей кудрявой головой и не мог сообразить, что же ему надо вспомнить.

Среди тяжелой густой зелени скверика смутно белела гипсовая фигура медведя с отломанной лапой. Казалось, что медведь провалится сейчас в пустоту — так неестественна была его поза.

Усмехаясь, Веня вспомнил, что лапу медведя обломали на школьном воскреснике, которым руководил он еще в бытность своей пристанской юности. Обломал, кажется, школьник Савунькин... Тот самый, которого судили недавно за сожженный в Вознесихе клуб, но ничего больше Самогубов про Савунькина не вспомнил, и вот — возникло ощущение, что и Савунькин, как этот медведь, проваливается куда-то в пустоту. Хотя при чем тут Савунькин? Веня пытался представить себе, как устроится работать рыбинспектором, как дадут ему казенную моторку, на которой он сможет гонять по озеру, и чем больше думал об этом, тем мечтательнее становилась улыбка, гулявшая по его лицу.

Между тем уже ушло солнце. Белесый воздух дрожал над садами — от стволов деревьев медленно струилось скопленное за день тепло.

Расслабившись, сидел на скамейке Самогубов, и в сем мечтательном состоянии духа и застиг его Кешка Сутулов. В светлом костюме, в домашних тапочках, обутых на босу ногу, вдруг возник он из зеленых сумерек аллеи.

— Веня! Как хорошо, что я тебя встретил, Веня. Ведь я тебя уж вторую неделю ищу!

— Работы много,— недовольно, но при этом и чуть-чуть горделиво буркнул в ответ Самогубов, и это чуть горделивое уловил сразу Кешка, умевший, когда ему требовалось, быть таким чутким и обаятельным.

— Вот!— горестно воскликнул он.— Да! Так всегда. Ловкачи лезут, а настоящие люди работают и ничего не знают!

И пока Веня не успел опомниться, рассказал, что все пройдошистые мужики уже перестраховали свои дома на баснословные суммы и заберегскому отделению Госстраха вручено, не дожидаясь конца этого года, переходящее Красное знамя.

— Сам видел, как его привезли!— сказал Кешка.— Сам на цере-

монии вручения присутствовал. Вот ведь ловкачи, а? — и он горестно покачал головой.

— Да кто ловкачи-то? — заинтригованно спросил Самогубов, позабыв о вредном для окружающих характере своего собеседника.

— Они! — сказал Кешка.— Мужики наши. Поселок-то сносить будут, вот и решили побольше тысяч загрести. Одни на десять тысяч свои дома страхуют, другие на двадцать. Смех! В долги залезли по уши... Пива не на что выпить, а все равно страхуются. Но не это обидно, Веня. Обидно, что настоящие работяги, такие, как ты, например, опять с носом останутся. Нет! Это что же за жизнь такая, Веня. Кто половчее, тот и в дамках, а кто трудится честно, тот внакладе опять?

— Это да! — буркнул Самогубов, которому Кешкина мысль весьма понравилась.— Это ты в самую точку попал. Так у нас, девочки, бывает!

Впрочем, еще жива была в его памяти та ночь, когда втравил его Кешка в ракетные стрельбы.

— А сам-то ты чего? — подозрительно спросил он.— Перестраховался?

— А! — Кешка горестно усмехнулся.— Надули меня, Веня. Мне один мужик из Вознесихи предложил домами махнуться. Ну, с приплатой, конечно. Три тысячи дает. Мало, конечно. Он-то небось тысяч десять загребет за этот дом, но мне что? Я не могу ждать. Мне деньги сейчас нужны. А у него я уже и задаток взял. Видишь...— он встал и картинно повернулся перед Самогубовым.— Финские костюмы к нам в леспромхоз привезли, вот я и взял задаток. Ничего сидит?

— Ничего...— пробормотал Самогубов.— Нормально сидит... Я бы, если не вкалывал как дурак, тоже бы купил такой же.

— Не, Веня...— сочувственно сказал Кешка.— Ты не дурак. Просто честный ты очень и о себе совсем не думаешь.

И стоит ли удивляться, что после этих слов он оказался вдруг за столом в самогубовском доме.

— Давай-ка, девочка! — скомандовал хозяин.— Поставь на стол нам чего-нибудь. Потряси там по кладовкам своим.

Вера чуть было не онемела от этакого нахальства. На всякий случай взяла тряпку, явно намереваясь смахнуть ею из-за стола и гостя, а заодно и хозяина, но тут Кешка оказался на высоте.

Не давая разрастись скандалу, он быстро, но очень смешно рассказал, как в торжественный момент вручения знамени, в самую волнующую минуту, ворвался в Госстрах Елистрат Петрович и начал требовать, чтобы немедленно перестраховали его дом на сорок тысяч.

— Вот ведь хапуга, а? — возмущенно закончил он.

— А зачем ему это? — Вера села напротив Кешки и, позабывшись, положила на стол половую тряпку.

Кое-что из того, что говорил Кешка, она уже слышала сегодня на работе. И про знамя говорили в бухгалтерии, что вроде Сашке-агенту даже премию какую-то дадут. И Елистрат Петрович зачем-то сегодня бегал в поселок.

Кешка покосился на половую тряпку, лежащую прямо перед ним, но тактично не заметил ее и принялся рассказывать о причинах страховой лихорадки, охватившей поселок.

— Ну, а нас первыми сносить будут! — сказал он.— Правда, некоторые тут уже так страховыми листами обложились, что до конца жизни гулять хватит.

— А у нас-то...— Вере не хватило воздуха, и она глотнула его ртом, как выброшенная на берег рыба.— У нас-то всего на восемьсот рублей страховка.

— Вот так и живем, девочка! — Самогубов насупился.— Все о работе думаем... А люди тыщами хапают... В общем, давай сооруди нам.

Вера покорно встала и вышла на кухню. Скоро появилась на столе и бутылка, и закуска.

Сутулов сразу успокоился. Лениво обмахивая с костюма невидимые никому пылинки, развалился он на стуле. Любил Кешка вот так задушевно посидеть. Особенно когда людям помогал... Он погладил по голове крутящуюся возле стола Наташу, потом задумчиво и благожелательно посмотрел на Самогубова. Что он хотел сказать ему, чем собирался порадовать человека — это осталось неизвестным. В дверь постучали, и в дом вошел Олег Яковлевич Фридман.

Странно русское гостеприимство... Хоть с богатыми подарками, хоть с бедой приходишь ты в русский дом, а все равно приветливо встречают тебя, словно не пустое равнодушие свое принес ты, а бог знает какое счастье. Фридман сидел за столом, и его смешило, что все Самогубовы так радуются ему, словно он привез Вене новое назначение. Да он ведь, собственно, и не собирался заходить. Просто все равно нечем было заняться в своей прежней квартире, где все вещи стояли упакованные для переезда. Фридман смотрел на хлопотавшую с самоваром Веру и не мог понять, чего это в ней привлекло его в тот вечер, на дне рождения Вени. Вообще все — и Самогубовы, и улыбающийся Кешка казались ему сейчас почему-то маленькими, словно он смотрел на них из иллюминатора взлетающего ввысь самолета.

— Ну, дак чего хорошего в городе? — спросил Веня, целясь вилкой в скользкое колечко лука.

Фридман пожал плечами.

— Город и есть город...— снисходительно сказал он.— Квартиру мне дали хорошую. Три комнаты, все удобства, как полагается в городе. В общем, жить можно.

— Мы тут тоже ничего живем, девочки...— улыбаясь, проговорил Самогубов. Ему удалось наконец поймать колечко, и он с удовольствием захрустел им.

— Ты расскажи лучше, как на сутки ты залетел?—строго спросил Фридман. Хотя он и удивлялся сейчас, отчего это он рассердился в Венин день рождения на этих маленьких людей, но принятое тогда решение — не позволять им держаться запросто — помнил.

Веня недоуменно посмотрел на Фридмана, но ответить не успел, его опередил Кешка.

— О, Олег Яковлевич! — сказал он.— Вы даже и представить себе не можете, какая у нас дикость началась, когда вы уехали. Вся жизнь, можно сказать, без вашего присмотра с рельсов сошла. Убийства чуть не каждый день. Милиция так лютовала, что и вспомнить страшно. У меня несчастье... Бориса Григорьевича застрелили. Вениамина Александровича по ложному навету арестовали. Правда, тут промахнулись малость... Кто же работать-то будет, если Вениамина Александровича в тюрьму сажать? Выпустили... Видите, Олег Яковлевич, как без вашего-то руководства нам несладко приходится?

Фридман помотрел на Кешку пристально, пытаясь понять: не смеется ли тот над ним, но нет — серьезным и грустным было его лицо, и, вспомнив, что Кешка писал ему когда-то контрольные по английскому языку — одну контрольную за две поллитры,— Фридман успокоился.

— Ну-ну...— уже мягче сказал он.— А как вообще-то, нравится тебе, Веня, новая должность?

— Нормально! — кивнул Самогубов.— Мне так даже и лучше, если разобраться. Сутки отдежурил — трое дома. Жить можно.

— Только денежек меньше стало... — озабоченно, как взрослая, вздохнула Наташа.— Даже дом нам перестраховать не на что...

— Чего?!

— Это у нас страховая лихорадка сейчас разбушевалась...—

объяснил Кешка.— Без вас-то власти совсем свихнулись тут, Олег Яковлевич... Ведь до чего додумались — решили весь поселок снести, а вместо него в лесу город построить. А тут у реки цеха будут. Машин понагнали, что и по улице ходить боязно. Все роют, роют. Вот ушлый народец и ловит момент, перестраховывают свои дома, раз такое дело. А с другой стороны, чего ж? В городе жить, дак надо денег-то...

Он замолчал.

— А все равно хорошо, если и у нас город будет... — сказала Наташа.— Тогда мне и из дому уезжать не надо. Ведь правда, мама?

— Правда...— Вера погладила прильнувшую к ней дочку, сама же, не отрываясь, смотрела на Фридмана, ожидая, что тот ответит.

Фридман встал. Прошел по комнате.

Господи! Как ничтожна, как глупа здешняя жизнь! Непонятно только, как он мог выдержать здесь целых шесть лет и не спиться, не оскотиниться, как все?

Возле двери на кухню Фридман остановился, лосось, что лежал на кухонном столе, заинтересовал его. Он шагнул туда, потыкал в лосося пальцем.

— Откуда рыба-то? — спросил он.

— Веня принес...— ответила Вера.— Так что посоветуете насчет страховки, а?

— Страхуйтесь...— пожал плечами Фридман.— Давно пора тут все сносить к чертовой матери. Да...— он снова посмотрел на лосося.— Слушай... Если тебе не нужна рыба-то, ты почисти да посоли мне. Завтра ко мне, может, гости подскочат.

— Почищу...— ответила ему Вера.

ПОДВЕСНОЙ МОТОР

Отпускная жизнь захлестывала поселок, и вот врач Прохоров пошел в магазин ПОСПО и купил там подвесной мотор за триста тридцать пять рублей.

Событие это поразило заберегцев своей легкомысленностью. Дело в том, что эти подвесные моторы, пять штук, привезли в ПОСПО еще зимой, но никто не брал их, так как каждый пацан в Заберегах знал, что такие моторы хороши только для металлических лодок, на которые пошла сейчас мода в городах. А на те лодки, что шили в Заберегах, лучше ставить простую пятисилку или испытанный стационар. В форсе стационарные моторы, конечно, уступали разным городским штучкам, но служили хозяевам исправно. И бензина меньше жрали, и вообще — надежнее были. Даже если и пьяный в лодке со стационарным мотором заснешь, ничего страшного, не опрокинешься, куда-нибудь да вынесет тебя к берегу. Не то что с этими подвесными штучками, на которых люди, почитай, каждый год тонут.

И, конечно, очень обидно было, что свой заберегский парень, каким уже считали в поселке Прохорова, позарился на это чудище. Конечно, по нынешним временам стационар еще и поискать надо, но если на пустяки триста тридцать пять рублей не жалко, то чего же? Пособили бы найти хорошую вещь...

Событие это было интересно еще и тем, что давало возможность строить различные предположения.

Прохоров погрузил на машину Коли Рощина мотор, а тремя минутами позже на крылечке ПОСПО Лукерья подралась с Дусей Савунькиной. Лукерья утверждала, что раз Прохоров купил мотор, то теперь его отец — ба-льшой начальник! — переедет в Забереги, и его назначат начальником заберегской пристани, а Фридмана выгонят.

Дуся Савунькина усомнилась в этом.

— А кого же тогда назначат?! — наступая на нее, грозно поинтересовалась Лукерья.— Може, тебя назначат?

— А може, и меня! — визгливо отвечала Дуся, и Лукерья вцепилась ей в волосы.

Одним словом, долго еще событие обсуждалось в Заберегах, а в тот день уже с обеда толпились во дворе Тереховых, где квартировал Прохоров, заберегские рыболовы.

Трудно ли мотор сломать?

Тихий и незлобивый свет источали лица мужиков — высшая заберегская справедливость восторжествовала. Вновь всенародно подтвердилось общественное мнение о ненадежности «городских штучек». Но недолго наслаждались своим торжеством мужики. Толкнув калитку, вошел во двор смотритель маяка Питерцев.

Ничего ужасного в появлении его не было, но на завалинке уже сидел Клепиков, и поэтому заберегские рыболовы, отчасти посвященные в отношения двух гангстеров, как-то сразу замолкли, заторопились по своим делам, мгновенно теряя интерес к прохоровскому мотору. И только Коммунар Орестович, плохо ориентировавшийся в местной жизни, спокойно продолжал сидеть на крылечке. Он пересказывал Прохорову свою книгу «Особенности рыбного лова в бассейне реки Свирь».

Прохоров, однако, слушал Коммунара Орестовича невнимательно — упорно штудировал инструкцию к подвесному мотору. Как всякий недавний выпускник института, Прохоров был полон гносеологического оптимизма и свято верил, что может самостоятельно разобраться в любом механизме, начиная от керогаза и до ракеты включительно, и не только разобраться, но и отремонтировать его в соответствии с инструкцией.

И только галка, что сидела, потряхивая хвостом, на заборе, очень внимательно смотрела прямо в рот Коммунара Орестовича — там посверкивал золотой зуб.

Питерцев, когда народ схлынул со двора, увидел наконец Клепикова. Смачно плюнул и попал прямо в пробегавшую мимо курицу.

Клепиков, однако, не выхватил из-за пазухи ружья, нет, он только медлительно приподнял красноватое веко, направив взор на Питерцева, и тут же отвел свой глаз.

Но странная, странная тишина воцарилась на дворе, и это почувствовал даже Прохоров. Ему надо было снова попробовать завести мотор, он уже подошел к нему, но, оглянувшись на Клепикова, вдруг убоялся нарушить тишину и ограничился тем, что подвигал ручку скорости и сел назад, осторожно перелистывая страницы инструкции.

Однако на Коммунара Орестовича магическое действие тишины, повисшей над двором, как видно, не распространялось. Умиленный вниманием, с которым слушал его Питерцев, почти как стихи декламировал Коммунар Орестович длинные периоды об орудиях лова.

Голос его рос, набирал звучность и силу, и вместе с ним тянулся вверх, светлея лицом, Питерцев, а когда описание достигало художественной кульминации и, сделав смысловую паузу, Коммунар Орестович словно бы выдыхал из себя: «Запрещенный лов», — Питерцев даже крякал от удовольствия.

— Точно,— говорил он.— И эта дедовня запрещена.

Дедовней он называл и острогу, и мелкоячеистую сеть.

Редко удавалось сыскать Коммунару Орестовичу столь благодарного слушателя... Очень редко. И чаще всего чтение книги добром не кончалось. Вот, например, этой зимой... Чтобы проконсультироваться, нельзя ли перевести книгу на английский язык, пригласил Коммунар Орестович Сутулова в гости. Угостил как человека школьным денатуратом и только после долгих уговоров согласился почитать сочинение. Сутулов ни разу не перебил его, но под утро доверчивый Коммунар Орестович выяснил, что коллега самым бессовестным образом дрыхнет. И хорошо, если бы этим все кончилось. Нет. Часов в десять Кешка

заявился в школу, чтобы опохмелиться. Силы были слишком неравные. После бессонной ночи Коммунара Орестовича быстро развезло, а Кешка, полностью сохраняя рассудок и память, единственно из вредности своей предложил спеть песню рыболовов-спортсменов. И снова согласился с ним доверчивый Коммунар Орестович. И вот посреди уроков в кабинете директора забушевал удалой Стенька Разин. Он топил княжну, пока не начали собираться в кабинете возмущенные учителя. Кешка, однако, еще и тут сумел подгадить. Он принялся зазывать учителей в кабинет, чтобы те тоже пропустили по стаканчику за прекрасную книгу о рыболовстве, которую написал их директор.

И сейчас, вспоминая об этом постыдном происшествии и вместе с тем не прерывая пересказа главы, где высмеивалась нелепость, Коммунар Орестович мотивировал это особенностями водного баланса — запрещения остроги, директор заберегской десятилетки не переставал выискивать все новые достоинства у своего слушателя.

«Это ничего, что браконьер,— рассуждал он мысленно.— Зато мастер. Специалист высшего класса в своем деле».

День превращался в вечер.

Прохоров в восьмой раз перечитал инструкцию и как-то сразу обезволел, ссутулился, бессильно склонил на грудь голову, сделался похожим на ямщика с картин передвижников, а Коммунар Орестович, как на тройке с бубенцами, летел к заключительным главам, когда Клепиков, очнувшись от недоброй дремоты, тряхнул головой и негромко, но очень отчетливо сказал, что в сочинении имеется существенный изъян — в нем ничего не сказано об ужении рыбы с помощью взрывчатки.

— Но п-позвольте! — заикаясь от возмущения, проговорил Коммунар Орестович.— В-ведь эт-то же в-варварство!

Клепиков пожал плечами.

— Какое же варварство? — удивился он.— Если, конечно, неумеючи, то да, варварство, а если аккуратно, то никакого варварства. Самый обыкновенный спорт, как и острога.

— Острога — дедовня! — подвигав густыми бровями, сказал Питерцев.— А что дедовня, то и беречь надо.

Однако Клепиков остался глух к патриотическому пафосу своего конкурента.

— Дедовня тоже разная бывает...— пробурчал он.— Шимозерская, например. А шимозере — известно кто.

Питерцев вскочил.

— Да таких, как ты,— закричал он, сжимая кулаки,— в Шимозере из глины лепили!

Эту увлекательную дискуссию об этике рыболовства в здешних водных бассейнах прервало появление Заморозкова. Улыбаясь, он вкатился во двор, и напряженная тишина сразу спала.

— Ну! Ну! — успокаивая Питерцева, проговорил Заморозков.— Шимозеро оно Шимозеро и есть... Что воевать-то?

И, загребая короткими руками воздух, направился к мотору.

О моторе Заморозков узнал еще до обеда, когда Прохоров только рассчитывался с продавщицей, но прийти сразу не смог, потому что выдалась срочная работа на подстанции, а потом уже и пошел, но по дороге его подловил Фридман и предложил шабашку: нужно было нарисовать плакат «Будущее Заберегской ремонтной базы флота». Фридман, отправивший с утра на самоходке свою мебель, поджидал сейчас гостей и хотел украсить к их приезду пристань.

Заморозков легко управился с плакатом. Он изобразил на фанерном щите катерок, весьма похожий на тот, что таскал через реку паром, обвел его кружочком, а в оставшейся части щита нарисовал ог-

ромный силуэт «Волгобалта» и внизу написал крупными буквами: «Рост тоннажа». Фридман остался доволен работой. Он потрепал Заморозкова по плечу и, назвав его самородком, тут же выписал наряд на сто рублей, из которых Заморозкову причиталось почему-то только двадцать пять.

Поэтому только к вечеру и попал Заморозков к Прохорову. Со всеми присутствующими здесь его связывали деловые отношения. У Прохорова он работал рентгенологом, у Коммунара Орестовича до недавнего времени вел уроки труда и, очевидно, в порядке воспоминания об этом до сих пор ремонтировал телевизор директора школы. Питерцеву и Клепикову он неоднократно помогал усовершенствовать орудия лова, и оба рыболовных гангстера, может быть, как никто в поселке, высоко ценили таланты Заморозкова.

Нет, не мог Ваня Павлович опозориться сейчас и... не опозорился. Повертел карбюраторную иглу — и вот мотор заревел, подпрыгивая на перекладине.

— Мелочи! — сказал Заморозков, снисходительно улыбаясь.

Низкорослый, толстоватенький, он жмурил сейчас глаза, высматривая, обо что ему вытереть запачканные руки.

— В этом я силен!

Он приметил лежащую на ступеньках крыльца инструкцию и принялся выдирать из нее листки и вытирать ими руки. Испачканные листки он не выбрасывал, а по свойственной ему аккуратности засовывал в карман.

Эту аккуратность тотчас же похвалила Елена Ивановна, что из окна пристально наблюдала за всем происходящим во дворе.

— От добрый человек,— сказала она, поглаживая своего кота Барсика.— Грязной бумажки не кинет, не то что другие. Нашло шимозеров, дак всех куриц заплевали.

— Э! Э! — сказал Прохоров и, схватив тряпку, прикрывавшую инструмент, протянул ее Заморозкову.

— Да ну! — тот решительно отстранил руку Прохорова.— Стоит тряпицу пачкать... Ладно уж... Я бумажонкой как-нибудь обойдусь.

— Так это же инструкция! — нерешительно запротестовал Прохоров.— А если ремонтировать чего, тогда как?

— Да отремонтирую я! Что я не человек, что ли? А у инструкции рук нету, она, Евгений Петрович, ничего вам не отремонтирует.

И, не давая опомниться Прохорову, Заморозков засунул остаток книжки в свой бездонный карман и предложил попробовать мотор на ходу.

Скоро во дворе остался только Коммунар Орестович да Елена Ивановна в окне. Питерцев и Клепиков пошли на берег. Им надо было посмотреть, каков этот мотор на ходу — способен ли он обогнать их быстроходные моторки.

Прилетела галка и снова уселась на заборе, застрекотала, вызывая Коммунара Орестовича на разговор, но тот не замечал ее.

Облокотившись о калитку, задумчиво наблюдал он, как, высоко задирая нос, кружится по реке прохоровская моторка. Можно было бы идти домой, но Коммунар Орестович медлил. Что-то мешало ему уйти, а что? — этого Коммунар Орестович не мог понять, хотя ясно видел, что не собирается Прохоров обмывать покупку...

— А Елистрат Петрович когда вернется? — вспомнив вдруг о замечательной самогонке, которой весною угощал его Терехов, спросил Коммунар Орестович у Елены Ивановны.

— В Петрокрепость к дочке уехадчи, дак откуда знать, когда...— ответила та, расставляя на стол чашки.— Идите, чай пить будем.

— Чай — это хорошо... — сказал задумчиво Коммунар Орестович, не слушая Елену Ивановну, которая сулила тоже уехать с Барсиком

в Петрокрепость, раз отец с сыном в одном доме ужиться не могут.

Коммунар Орестович не слушал ее, думая о своем.

Вообще-то Коммунар Орестович был непьющим человеком, но только в том смысле, что за свой счет он пил редко и всегда неохотно. При случае же Коммунар Орестович и мог, и любил выпить. И чутье на дармовую выпивку у него было безошибочное. Вот и сегодня, еще не зная, где и как выпьет, уже чувствовал он, что выпьет обязательно. И чем дольше смотрел на прохоровскую лодку, тем сильнее становилось это предчувствие.

Недолгим было торжество Прохорова. На крутом повороте мотор сорвался с кормовой доски, и, если бы не страховая цинка, которую предусмотрительно накинул Заморозков, пришлось бы Прохорову тратиться на водолаза.

К берегу подошли на веслах. Заморозков внимательно осмотрел мотор, вывернул свечу, продул ее и: «Ничего страшного! — успокоил он Прохорова.— Обкатка, обмывка...»

А уже во дворе подробно объяснил Коммунару Орестовичу, почему сорвался мотор, и вознамерился даже нарисовать схемку действия центробежных сил, но Коммунар Орестович решительно заявил, что физику он знает лучше Заморозкова, и Ваня Павлович, которому уже черт знает какой раз не удавалось применить знания, полученные в прошлом году в вечерней школе, недовольно нахмурился.

— Все знают...— пробурчал он.— Вот уж аспиранты какие...

Ворча так, он вывернул карбюратор, магнето и разложил их на завалинке просушиться.

А едва они ушли в дом, где Елена Ивановна расставила на столе чашки, галка, что сидела на заборе, немедленно слетела на завалинку и начала осматривать детали подвесного мотора. Больше всего ей понравился карбюратор, но он был слишком тяжел, и пришлось остановить свой выбор на свече. Тяжело махая крыльями, со свечой в клюве, она пролетела мимо открытого окна, и, право же, на месте Прохорова следовало бы призадуматься — судьба явно не благоприятствовала ему в новом предприятии.

— А! — легкомысленно сказал он.— Еще три запасных свечи есть!

— Это что! — утешил его Заморозков.— А у меня вот соседкой одна галка была, дак уж таких воровок больше и нету, наверное. Я весной полез гнездо разорять, так, ей-богу, там целый склад. Телевизор собрать можно. А птенцы до того гадкие, что и кошка есть не стала. Понюхала и ушла.

Он задумался, но не о галке, а о том столе, что, накрытый к приезду начальства, стоял в пристанском буфете. Заморозков поерзал. Прежде чем идти на пристань, надо было поговорить с Прохоровым, но говорить при Коммунаре Орестовиче не хотелось. Однако дальновидный директор школы не уходил, и Заморозков не выдержал.

— Я эту физиотерапию лучше велосипедной втулки знаю! — сказал он, намекая на излишнюю недоверчивость Прохорова, ездившего недавно в райздравотдел требовать специалистов для больницы, и голос его задрожал от обиды.

Прохоров покраснел и начал распространяться насчет того, что неплохо бы кота Барсика приучить охотиться на галку.

— Да куды ему! — сказала Елена Ивановна.— Он же маленький! А для такого дела кот-специалист нужен.

Прохоров отчаянно взглянул на Заморозкова и сразу отвел глаза. Уставился в окно. Ну, как объяснить этому чудаковатому человеку, что мало иметь золотые руки, нужны и знания для того, чтобы работать с таким оборудованием в больнице. Ведь это же не подвесной мотор — все эти установки, что недавно они получили.

— Сутулов идет! — радостно сказал он.

— Ишь ты! — выглянула в окно Елена Ивановна.— Вроде дак и трезвый... Куды это он спешит так?

Куда он спешит, Кешка не знал и сам, но он спешил. Дело в том, что в поселке он встретил своего закадычного друга Веню Самогубова, который даже и останавливаться не стал, чтобы поздороваться, объяснил только, что, дескать, спешит на банкет, который дает в его честь Фридман.

— Вот так-то, девочки! — сказал он и оттопырил губу, показывая, что хотя и не гнушается Веня знакомством с Сутуловым, но тот должен сам понимать свое место.

Место свое Кешка знал. Это место как раз на банкете и находилось, но объяснять это Вене не имело смысла.

Потому-то и обрадовался так Сутулов, увидев высунувшегося в окно Коммунара Орестовича и Прохорова.

— Коммунар Орестович! — закричал он возмущенно.— Ну, что же вы? Мы же ждем вас с Фридманом, а вас все нет и нет.

— Извините! — торопливо поднялся Коммунар Орестович.— Я и позабыл, что меня ждут.

— И Евгения Петровича тоже! — сварливо сказал с улицы Кешка.

— А меня? — высунулся в окно Заморозков.

— А как же?— не задумываясь, ответил Сутулов.— Олег Яковлевич велел за вами в Богачево идти. Я уже собирался бежать, да Коммунара Орестовича нужно было предупредить.

Но не суждено было попасть Заморозкову за фридмановский стол. Потому что едва свернули они из переулка на набережную, как коршуном налетела на них Зинаида Заморозкова.

— Ах ты, пьяная лужа! — закричала она на своего сегодня еще трезвого муженька.— А ну, марш домой!

Ни Коммунар Орестович, ни Прохоров, ни сам Кешка не стали останавливаться, не желая быть свидетелями этой семейной сцены. Да и торопиться надо было, раз их ждал с нетерпением сам Олег Яковлевич Фридман...

ВМЕСТО БАНКЕТА

Когда, отпустив Заморозкова, Фридман собственноручно повесил возле входа в контору плакат «Будущее Заберегской ремонтной базы флота», все было готово к приему долгожданных гостей. Фридман еще раз придирчиво оглядел пристань и только затем прошел в гостиничный буфет, вход в который охраняла вооруженная дробовиком Шилиха.

Но и здесь все было готово к приему: поблескивали ножи и вилки, сверкали рюмки, добродушно переливались в солнечных лучах прозрачные бутылки «Столичной». На тарелках лежали тонкие ломтики сервелата и аккуратно нарезанная лососина, стояли банки с икрой и блюдо с маслинами.

Фридман поправил подвернувшийся уголок скатерти и тяжело опустился на стул. Он вдруг подумал, что, может быть, секретарь райкома и не приедет... Хотя и намекал тот, что надо бы отметить перевод пристани, но, похоже, походный банкет его не устраивал. Когда сегодня Фридман рассказал по телефону, что́ будет на банкете, секретарь сразу поостыл к идее рыбалки, вспомнил, что у него мероприятие, и хотя не отказался ехать, но и наверняка не обещал быть. Да... Похоже, что не приедет.

— Слушай! — Фридман повернулся к Шилихе, тщетно пытаясь вспомнить ее имя и отчество.— Ну, этого... Ты гадать умеешь?

— Што я цыганка, что ли? — удивилась Шилиха.

Фридман пожал плечами.

— Разве только цыгане гадают?

— Дак уж добрые люди гадать не будут...— сказала Шилиха и поджала губы.— Это раньше люди темные были: и в церквах молились, и грешили на каждом шагу, а теперь не... Теперь другое время началось.

Фридман пожалел, что начал этот разговор.

— Ну да...— отсутствующе сказал он.— Так оно и есть.

Но Шилиху не просто было остановить.

— Ишь,— сказала она.— Теперь-то шимозере укоренились здесь, забрали власть, а раньше не, раньше не так было. Раньше про их все знали, что это за люди...

— Да? — Фридман высоко поднял бровь и зевнул.

— Знали, знали! — Шилиха поднялась со своего стула и, оперевшись на дробовик, остановилась напротив начальника пристани.— Я вон хоть маленькой была, а помню. Стали у их однажды колокол подымать, все село собралось, а стронуть с места не могут. Часа два так бились. А потом батюшка и догадался. Он смышленый был, остречинин сам... А ну, говорит, крещеные, кто снохачеством занимается, выдьте отсель. Так ведь сразу полсела и отошло.

Фридман снова зевнул.

— Что же? — спросил он.— Физически, что ли, от снохачества слабели?

— Почему слабели?

— Ну раз колокол поднять не могли...

— А-а! — Шилиха вздохнула.— Не, Олег Яковлевич. Это грех им не давал.

Фридман усмехнулся и встал из-за стола.

— Н-да..— сказал он.

Ему стало грустно.

Мысль, что случайно пришла в голову, превратилась сейчас в твердую уверенность — секретарь райкома не приедет, напрасно он ждал и готовился к приему: накупил водки, достал лосося, выпросил в орсе колбасу и икру. Хорошо еще, что с деньгами сумел он решить вопрос — заплатил Заморозкову четвертной, а наряд заставил подписать на сто рублей. Но каждый день ведь не будешь заказывать наглядную агитацию. И все это напрасно. Никто не приедет. Фридман оглянул стол. Пропадает столько добра. Надо, пожалуй, хоть из местных пригласить кого, отметить отъезд. А если и приедет секретарь, так чего? Местных и прогнать можно будет...

Олег Яковлевич посмотрел на часы. Было уже девять часов.

— Иди домой,— сказал он Шилихе.— Я звонил. Совещания сегодня не будет.

Кряхтя, Шилиха поднялась со стула.

— Слушай!— уже в дверях остановил ее Фридман.— Ты к Самогубовым забеги по пути. Пусть Веня придет.

Идти к Самогубовым Шилихе было не совсем по пути, Самогубовы жили возле мастерских, на другом конце поселка, но Фридман, не любивший считать себя обязанным кому-либо, всегда считал, что любой человек может исполнить его просьбу по пути, между делом. Тем более такой человек, как Шилиха.

Шилиха поняла это и не решилась поправить Олега Яковлевича. Только вздохнула тяжело и двинулась в путь.

А Фридман поднялся наверх, остановился в фойе напротив атеистического шкафа. Когда он приехал в Забереги, эта гостиница еще работала. Первый год здесь и жил Фридман.

Какое тогда было время! Тогда, в первые месяцы, и не чувствовал Фридман тягости здешней жизни. Такая хорошая подобралась компания: он, Самогубов... А как хорошо было садиться субботним вечером в автобус, где в полутьме, томительно-тесной от запаха духов и пудры, поблескивали девичьи глаза, и ехать в какую-нибудь деревню, везти

концерт, а по дороге полушепотом соображать про выпивку, потом танцевать до упаду под хрипловатую музыку заигранной радиолы в каком-нибудь леспромхозовском клубе, целоваться на морозе у чужих калиток... И главное, всегда, постоянно, очень остро чувствовать, что ты молод, что ты не похож ни на кого.

Но потом очень быстро нахлынули разные заботы, не до самодеятельности стало, не до веселья... Ну что ж? Так, наверное, и должно быть, только грустно, почему это время кончилось так быстро...

Олег Яковлевич вздохнул и, не задумываясь — зачем? — отодвинул стекло и долго, невидящими глазами, рассматривал сухую хлебную корку, пустую бутылку, книгу с оборванной обложкой. Наконец он сообразил все-таки, что и вспоминая про молодость нельзя так распускаться, торопливо взял в руки оборванную книгу, отошел к окну.

Внимательнейшим образом он прочитал статью об оранжерее, узнал, что были ирландские протестанты, которые назывались оранжистами, узнал об оранцах, добрался до статьи об оратории и, только прочитав всю первую страницу — словарь с оранжереи и начинался,— несколько успокоился.

Тут он и увидел в окно Веню Самогубова. Сдвинув на затылок фуражку, засунув руки в карманы, с сигаретой, прилипшей к нижней губе, Веня стоял посреди пристанской площади и оглядывался, не зная куда идти.

И снова что-то похожее на грусть шевельнулось в груди Фридмана. Что ни говори, а Веня был оттуда, из молодости, совсем-совсем не изменился он, и это почему-то не раздражало сейчас Фридмана, а умиляло. Дружелюбно обняв Веню, Олег Яковлевич усадил его за накрытый стол и, наполнив рюмки, вдруг понял, что и не надо ему никаких секретарей райкомов, на фиг все эти дела, он переезжает из Заберег, позади столько лет, и надо достойно, красиво завершить этот отрезок своей жизни. И самое лучшее — опсидеть с другом и, не думая о делах, просто поговорить о жизни.

И когда выпили по второй рюмке и закусили, сделалось еще лучше, и, уже гордясь немножко тем, что вот он не изменяет друзьям, Фридман решил вдруг помочь Вене.

— Ты не думай, что я забыл о тебе...— сказал он.— Погоди. Разберемся там потихоньку и придумаем что-нибудь для тебя.

Но оказалось, что Веня и не сомневался в своем друге, знал, что он-то уж придумает для него что-нибудь. И эта вера в их дружбу сейчас, уже после третьей рюмки, тоже была приятна для Фридмана.

— Я пока тут по совместительству думаю устроиться...— сказал Веня.— Рыбинспектором зовут. Как ты думаешь? Идти?

— Рыбинспектором — это хорошо! — одобрил Фридман и, неожиданно забыв, что он решил не думать о делах, задумался.

— Да! — повторил он.— Поработай пока по совместительству. А потом... Потом мы найдем для тебя что-то.

И он обнял Веню. Вообще-то здорово это он придумал. Можно будет теперь организовать здесь настоящую рыбалку, на которую не грех пригласить и из области товарищей.

— Молодец! — сказал он и снова потянулся к бутылке, чтобы наполнить рюмки. Но не успел. Тут — «Вот и мы!» — застучал в окно Коммунар Орестович, из-за спины которого улыбался омерзительно вежливый Кешка Сутулов.

Дальнейшее происходило как в страшном, неотвратимом сне. На месте, предназначенном для секретаря райкома, сидел, развалившись, Коммунар Орестович и — рюмка за рюмкой — наливал себе водку, а на месте инструктора райкома восседал Кешка и столовой ложкой — прямо из банки! — жрал черную икру. Прохоров, который хотя и не занял главенствующего за столом места, в безобразии не отставал от своих приятелей...

Олег Яковлевич сжал ладонью лицо. Нет! И в самых страшных снах не приходилось ему видеть такого кошмара. Стерев носовым платком пот со лба, он попробовал было остановить этот разгул бесовщины, но: «Чего не бывает... Бывает, что и у девушки муж помирает, а у вдовушки живет!» — замахал на него руками Кешка Сутулов, и — удивительно! — наверное, в первый и последний раз — Коммунар Орестович полностью согласился с ним.

— Хорошо говорите, товарищ Сутулов,—сказал он и наполнил Кешкину рюмку.— За ваше здоровье, Иннокентий Алексеевич!

А Самогубов, тоже, как видно, воспылавший любовью к Фридману, обнимал его и не давал ему выгнать непрошеных гостей.

— Олежек! — кричал он.— Плюнь ты! Пускай сидят. Это мужики хорошие. Выпьем лучше...— и, подняв рюмку, провозгласил: — За дружбу, девочки!

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Прохоров застонал и открыл глаза.

Он лежал в брюках и в ботинках на кровати у себя в комнате. На руку был намотан кусок антенного кабеля, а из-под подушки, когда Прохоров пошевелился, скатился на пол карбюратор. Напротив же стоял телевизор «Ладога». Прохоров застонал и снова закрыл глаза — телевизор этот он видел впервые в жизни.

Некоторое время он лежал неподвижно, не испытывая ничего, кроме желания умереть. Право же, если бы он проснулся сегодня на лесной гонке, движущейся по направлению к Ленинграду, он огорчился бы куда меньше. В состоянии, подобном вчерашнему, Прохоров совершал иногда самые неожиданные поступки.

Прохоров приоткрыл один глаз — телевизор никуда не исчез.

«Ничего...— тщетно пытаясь успокоить себя, подумал Прохоров.— Главное, не волноваться. Главное, все вспомнить по порядку...»

Мысль была вполне здравой, но совершенно ненужной в прохоровском положении. Он помнил, как предложил Коммунар Орестович тост за заберегскую школу, которая — Коммунар Орестович значительно поднял палец — любой городской школе могла бы утереть нос, так много ее питомцев закончило высшие учебные заведения; помнил, как заспорили о педагогике Коммунар Орестович и Кешка; обрывками вспоминал разговор о Лешке Свиридове. Почему-то начали придумывать, на кого он похож. Веня Самогубов тогда сказал, что не знает, на кого похож Лешка, а Кешка начал мерзко хохотать и закричал, что похож Лешка на его покойного козла Борьку. Это хотя и обрывками, но помнил Прохоров, а дальше все путалось, и, словно в кошмарном сне, скакала по столу лягуха с выпученными глазами. Кажется, были они и в школе, в кабинете Коммунара Орестовича. На стене там висела карта страны с синими и красными флажками, которые густо жались к берегам Черного и Балтийского морей, и Коммунар Орестович рассказывал, что синие флажки — это друзья, а красные флажки — женщины, которых — Коммунар Орестович потирал руки — было у него предостаточно. А потом откуда-то появилась лодка, на которой и плыли по реке. Весел в лодке не было, и они гребли руками. Потом лаяли собаки, и они бежали, временами проваливаясь в пропасти, бежали с какой-то горы.

А теперь... Прохоров снова открыл глаза. Нет! Телевизор никуда не исчез. Постанывая, Прохоров встал и вышел в коридор. Ковшиком зачерпнул из ведра воды и долго ее пил, пытаясь вспомнить еще хоть что-нибудь. Не вспомнил. Жалобно застонав, Прохоров вышел на улицу.

...Как-то зловеще изменилась за минувшую ночь погода. Словно разгневавшись, дул северный ветер. Косматые серые облака ползли по небу. Иногда в прорехах, ослепительно-яркое, вспыхивало солнце, но река оставалась хмурой, зловещей, и серые волны перекатывались через мостки. Ветер остановил течение, и разбухшая река расползлась по низкому берегу, переливаясь через дорогу. Прямо перед калиткой образовалась лужа, и пока Прохоров обходил ее по траве, он замочил ноги.

Прямо посреди воды стояли мужики с баграми, похожие на хищных птиц, неподвижно поджидающих добычу. И действительно, добыча сама плыла к ним. Время от времени из лесозаводских оплотников вымывало бревна, и тогда мужики, словно коршуны, стремительно бросались на них, впиваясь железными клювами багров, и вели тяжелые бревна к своим заборам. Среди мужиков приметил Прохоров и...— он помотал головой — ну да! Прямо в воде стоял неведомо откуда взявшийся здесь Елистрат Петрович... Елистрат Петрович тоже ловил лесозаводские бревна.

Может быть, потому, что погода благоприятствовала вольному промыслу, в столовой, невзирая на выходной день, никого не было. Только на крылечке сгрудились озябшие овцы, да внутри за столиком под картиной Васнецова «Аленушка» одиноко сидел Кешка Сутулов.

— А! — увидев Прохорова, проговорил он.— А я думал, что уже посадили тебя.

— Чего это?! — с неуверенным возмущением сказал Прохоров.— Чего меня посадить должны?

— Как чего? — удивился Кешка.— Ты что, позабыл про вчерашнее? Коммунара Орестовича, кстати, уже забрали. Я сам видел. А к тебе, наверное, просто проехать не смогли. Наводнение...

Он допил свое пиво и снова углубился в созерцание шедевра художника Васнецова — занятие, которым он занимался и до прихода сюда Прохорова.

— Плачет сестрица Аленушка,— сказал он грустно,— что братца в тюрьму посадили. Слушай! — Кешка снова повернулся к Прохорову.— Вот ведь что интересно. Ведь ты смотри, как все получается. Она, змея, уже заранее все знала...— Кешка скривился лицом и просипел: — «Не пей, братец, из этого копытца — козликом станешь...» А откуда она всю сказку-то наперед могла знать, а?

— Да ну тебя! — Прохоров обиделся.— Расскажи лучше, что вчера было.

Кешка с любопытством посмотрел на него, потом посмотрел на свою пустую кружку, потом снова на Прохорова.

Прохоров поморщился, но, однако, взял пива и для Кешки.

— А что рассказывать? — Кешка пожал плечами.— Ну нажрались вы, как свиньи, с Коммунаром Орестовичем. Вначале прогнали Фридмана, потом Веню побить хотели. Я все это время молчал. Сапожный крем ел. Он — вкусный. Вот красная икра — это уже не то, а сапожный крем ничего, есть можно. Молчал, значит. Потом тебе жениться приспичило. Стали вы ко мне приставать, чтобы я невесту вам нашел. Ну я и отвез вас к Клепикову — у него дочка как раз на выданье — всего тридцать с небольшим лет ей и ребенок уже готовый. И он уже поллитру достал, но из-за твоей дурости дело сорвалось... Чего ты ему Питерцева начал расхваливать? Дескать, Питерцев такую лодку тебе сшил, что ни у кого такой нет. Клепиков рассердился, конечно, и спустил на тебя кобеля. Ну это еще ничего, все равно я бутылку уже почти выпил, а вот зачем вы телевизор украли — этого я, ей-богу, понять не могу. Я отговаривал вас, а потом вижу, что пустое занятие, что вы

уже совсем уголовниками сделались, начал объяснять, что тогда лучше коровенку со двора свести, что ее можно, по крайней мере, на самоходку продать, там у меня кокша знакомая, но вы и тут меня не послушали. Я и ушел тогда.

По мере развития его повествования Прохоров бледнел все сильнее и сильнее. Кешка сочувственно потрепал его по плечу и снова начал рассматривать картину, откинувшись на спинку стула и скрестив на груди руки.

— Я тоже, как эта ведьмица,— сказал он.— Тоже все наперед знаю. Я вас, как Аленушка, предупреждал вчера. Не крадите, говорил, посадят ведь. Все равно ночью убежать не успеете с телевизором. Да только вы не послушали!

— У к-кого? — простонал Прохоров.— У кого телевизор взяли?

— Украли-то у кого? — переспросил Кешка и с интересом взглянул на Прохорова.— А ты что, мириться хочешь?

— Ну! — Прохоров уронил на стол голову.— Хочу, К-кеша, хочу...

Воля, как видно, покинула его измученное похмельем тело.

— Не-е,— подумав, сказал Кешка.— Не получится ничего. Он не будет мириться. Ведь ему небось и два фауста мало будет купить, три нужно. Не, не выйдет ничего.

Прохоров, однако, запротестовал. Цена своей свободы, определенная в три семьсотпятидесятиграммовые бутылки плодово-ягодного вина, совсем не казалась ему такой безумно высокой, как Сутулову. Он сказал, что если дело в этом, то он купит вино, на что Кешка только пожал плечами.

— Смотри сам,— холодно сказал он.

На этом и договорились, и через полчаса Кешка, стоя на сухой дороге, руководил Прохоровым, который бродил по колено в воде, отвязывая от мостков лодку.

— Ты не бойся, не бойся промокнуть! — говорил он.— Смелее иди! Бери пример с Елистрата Петровича... Сосед...— Кешка обращался уже к Терехову.— Ну, на фига ты от дочки уехал, чтобы мне дрова заготовить? Я же сам бы справился... Не-не! Это бревно с гнильцой будет, ты вон тое давай лови, толкай ко мне в огороду.

— Езжай-езжай по своим делам! — отвечал Елистрат Петрович, приехавший ночью на пароходе и попавший прямо на наводнение.— Видишь сам, некогда мне и багром тебя огреть.

— Я ведь что, сосед, хотел сказать,— не унимался Кешка.— В озере, говорят, столько гонок наломало, что все равно нам с тобой их некуда будет складывать. Ты собери лишние в оплотник, да мы их в Вознесиху свезем. Продадим в леспромхоз...

Наконец Прохоров, промокший почти до пояса, погрузил телевизор в лодку, и Сутулов, сжимая в руках фаусты, сел на носу.

Миновали мастерские, а Прохоров все еще не понимал, куда они едут. Кешка задумчиво смотрел вперед, озирая учиненные стихией беспорядки, и делал вид, что не слышит вопросов Прохорова.

Потянулось Богачево — самая отдаленная часть Заберег. Народу здесь жило немного, но дома стояли тут редко и самые последние смотрели окнами на вознесихинские дома за рекой. Берег тут чуть поднимался, и на вознесихинском берегу сочно краснела глина, выдавленная из земли гусеницами лесовозов.

— Заповедные места...— пояснил Прохорову Сутулов.— Последние заберегские мамонты в сих местах доживают. Вон туда, на гору, ты вчера свататься ходил к клепиковской дочке. А здесь, здесь ты у Заморозкова телевизор спер. Твое счастье, если он в милицию еще не заявил...

Кешка принес Заморозкову бутылку и поэтому по привычке, свойственной русскому человеку, чувствовал себя в заморозковском доме хозяином.

— Давай, давай! — поторапливал он Зинаиду.— Не будь тёпой-то, поворачивайся скорее. Посуду неси, закуску какую.

Зинаида и в обычное-то время несуетливая, казалась сегодня особенно степенной.

— А ты кто такой? — уперев в бока руки, спросила она.— Кто такой, а?

— Сутулов я, мамаша, Сутулов! — проговорил Кешка и, повернувшись к Прохорову, пояснил: — Ты извиняй, друг. Видишь, того маленько хозяйка. Должно быть, уже в милицию заявили.

— Значит, Сутулов? — голос Зинаиды окреп.— Не Сутулов ты, а паразит шимозерский!

Тут, однако, в разговор вмешался Заморозков.

— Ну чего ты кричишь? — заступился он.— Чего так кипятишься? Не видишь, что ли, начальники это!

— Они начальники?! — глаза у Зинаиды округлились от изумления.— Тьфу, неладная! Не было начальников, так и это говно — не начальники!

И вышла, захлопнув за собою двери.

— Чего это, Заморозков,— неодобрительно спросил Кешка,— половину-то свою распустил?

— А! — Заморозков махнул рукой.— Не бери в голову.

— Да я-то ничего...— Кешка насупился.— За друзей только, Заморозков, обидно.

Прохоров с любопытством осматривался кругом. Занимаемая Ваней Павловичем половина одинаково напоминала и лавку ПОСПО, и лабораторию средневекового алхимика. На неструганых стеллажах, что занимали здесь все стены, стояли, лежали, висели, громоздились самые разнообразные детали и приспособления. Здесь были горелки керогазов и реторты, наполненные разноцветными жидкостями; спирали электрочайников и старинные — с кулак толщиною — конденсаторы; маховики швейной зингеровской машины и какие-то приборы, стрелки которых испуганно забегали, когда Прохоров и Кешка поставили за стеллажи телевизор.

Еще Прохоров разглядел кинескоп от допотопного — с линзой — телевизора и колесо для тачки, высовывающееся из-за кипы замусоленных инструкций, а обернувшись к столу, заметил и странно знакомые листочки.

— А! — перехватывая его взгляд, проговорил Заморозков.— Это я вчера домой пришел — смотрю, листочки какие-то в кармане. Ну и дай, думаю, почитаю...

— Космические противоречия в тебе, Заморозков! — ехидно сказал Кешка.— С одной стороны вроде ты в двадцатом веке живешь, а замашки у тебя как у средневекового цехового мастера.

— Никаких противоречий нет, Кеша! — ответил Заморозков.— Волны есть, а противоречий нет.

Он провел ладонью по столу, и листочков не стало.

— Садитесь,— сказал он.

— Ты давай, Заморозков, в магазин дуй,— подходя к столу, проговорил Кешка.— Мы тебе телевизор принесли и три бутылки, а ты давай тоже в ответ ставь чего-нибудь.

— Дак ведь арестованный я, Кеша,— жалобно сказал Ваня Павлович.— С вчерашнего дня никуда выйти не могу. Она...— Заморозков качнул головою в сторону жилой половины дома.— Она и кобеля уже на меня науськивает.

— Не надо, не надо! — Кешка поморщился.— Твои жизненные обстоятельства, Заморозков, нисколько меня не трогают. Ты что думаешь, просто было его,— он кивнул на Прохорова,— уговорить? Он вначале ни в какую не соглашался. Нет, говорит, и все... Сам, го-

ворит, ремонтировать буду. Коммунар Орестович, говорит, мне лучший друг, и раз он просит отремонтировать — отремонтирую.

Прохоров, который не успел еще врубиться в ситуацию, машинально кивнул.

— Ладно,— сказал Ваня Павлович.— Есть тут у меня маленькая заначка. На черный день берег.

Он прошел в угол, обклеенный разноцветными дипломами. Там рядом с аппаратом, сверкающим змеевиком, стоял на тумбочке приемник «Рекорд». Ваня Павлович выдернул из сети шнур и отверткой стал откручивать винтики задней стенки.

— Это у меня как сейф,— объяснил он.— Я тут разные ценные вещи прячу.

И действительно, извлек из приемника две бутылки самогона.

Только тут вернулась к Прохорову способность логически мыслить.

— Слушай,— сказал он Кешке.— А чего же ты говорил, что мы украли этот телевизор?

— А я и сейчас это скажу,— ничуть не смутился Кешка.— Самым натуральным образом украли. Залезли в окно и украли. Я правильно, Заморозков, говорю?

— Было такое дело...— ответил Заморозков.— Ну, куды бы я вам телевизор отдал. Вы на ногах еле стояли. Небось половины деталей сейчас не хватает в нем.

Он прикрутил крышку на место и снова включил приемник в сеть. Потом оглянулся, сказал: «Я сейчас!» — и вышел из комнаты.

— Вот ведь Заморозков какой...— сказал Кешка.— Все забудет, а где сколько глотков осталось, до конца жизни будет помнить. Сейчас-то тоже еще за остатком небось пошел. Да не переживай ты, Женька, из-за фаустов этих. Мы здесь больше выпьем.

И снова Прохоров согласно кивнул ему. Не было сил сопротивляться естественному течению заберегской жизни.

— Ага! — раздался в это время из-за стенки Зинаидин крик.— Делать мне нечего — вас кормить, алкоголиков несчастных.

Прохоров вздрогнул, а Кешка покачал головой.

— Худо Заморозкову,— прокомментировал он.— Не ремонтирует жену, вот она у него и спит как корова. Даже хороших людей ей покормить некогда.

— Погоди,— сказал из дверей Ваня Павлович.— Погоди, я посмотрю, как ты свою ремонтировать будешь...

Он поставил тарелки на стол и придирчиво огляделся.

— Ну, давайте,— сказал он.— Чем бог послал.

— Давайте,— Кешка поднял рюмку.— Давай, Заморозков, за собачку твою выпьем. Помнишь, ласковая у тебя такая была, не то что кобель нынешний.

Заморозков засмеялся.

— Это Чавка-то? — спросил он.— Ну давай. За Чавку можно выпить.

Прохоров хотел было отказаться — ему было противно смотреть на самогонку, но совместными усилиями — «Только первую трудно, а потом ничего, потом хорошо пойдет...» — его уговорили.

— Так это, значит, насчет собачки...— Кешка говорил и одновременно довольно быстро поглощал еду.— Ты, Женя, не знаешь, а Чавка эта такая привязчивая была у Заморозкова, что повсюду за ним ходила. Зайдет он в дом, а она садится у ворот и ждет его, значит. Ну, Зинаида тогда не мучилась, разыскивая мужа. Как увидит где собачку, в тот дом и заходит. Там, значит, Заморозков. Так ведь совсем ему жизни не стало. Упросил он меня, чтобы козел мой, Борька, забодал ее. И даже бутылки не поставил...

Заморозков, который до сих пор улыбался, удивленно поднял бровь.

— Ну, это ты напраслину городишь, Иннокентий Алексеевич! — сказал он как бы обиженно.— Поставил я бутылку. И не одну даже!

— Чего-то не припомню...

— А чего тебе припоминать-то? — удивился Заморозков.— Я же не тебе, а козлу ставил. Он забодал, я ему и поставил... Диалектика, Иннокентий Алексеевич.

Прохоров, которому новый хмель вернул душевные силы, едко улыбнулся — хорошо Заморозков подколол Кешку. Впрочем, Кешка и сам улыбнулся снисходительно.

— Уставать я стал, Женя...— пожаловался он Прохорову.— Совсем уже от Европы устал. От Гегелей здешних, от Заморозковых. Все, понимаешь ли, они объяснить хотят, все, вот как здесь,— он обвел рукой помещение,— по полочкам разложат. Здесь тебе керогаз, здесь телевизор. Это, значит, по волнам происходит, это по диалектике... А я так думаю, что это от страха они, а? А я вот недавно на уроке у хулигана одного книжку отобрал, дак знаете, что там написано? Жил в Индии, оказывается, такой бог, Вишну его звали, ну и превратился он в свинью, и позабыл, что он бог, а не свинья. Хрюкает, валяется в грязи, точь-в-точь как у нас мужики. К нему другие боги приходили, чтобы усовестить. Восстань! — говорят. А он хрюкает только. Уже и слов не понимает. И такой, понимаете ли, пример его заразительным был, что скоро у них весь Олимп в хлевушку превратился. Почище нашей гавдареи получилось. А вы объяснить все пытаетесь. Какие объяснения могут быть, если даже свинью от бога отличить невозможно?

— Индия, Индия...— проговорил Заморозков.— Ты, Кеша, уже всю закуску слопал, а у нас еще две бутылки не тронуто. Я про восток твой и думать перестал, когда в газете прочитал, что Мао Цзэдуну ружье в Туле специальное подарили. Я сразу тогда писульку на завод сочинил, что прошу, дескать, и мне такое же ружье изготовить. А мне отвечают оттуда: такое же не можем, а вот тысяч за сто — это по-старому еще — очень даже неплохое ружье сделаем. Ну, так я сразу тогда и махнул рукой на восток... Ну его, думаю.

— Хороший вы человек, Заморозков,— сочувственно сказал Кешка. — Вот смотрю я на вас и думаю: вам бы, Иван Павлович, не керогазы у нас ремонтировать, а аспирантом работать где-нибудь.

— Так ведь чего же, Кеша? — Ваня Павлович тоже вздохнул.— И аспирантом жизнь, и здесь жизнь. Жить-то везде надо. Вот привыкнуть к такой жизни нельзя — это верно.

Прохоров словно бы не слушал их. Дрожание внутри стихло — ласковый покой охватил его, и казалось, что так можно сидеть вечно.

ПОЭЗИЯ

ЭЛИДА ДУБРОВИНА

ЗАРЯ БОЛОТНАЯ

Молитва русской души

Заря болотная, кручинная,
Сторожка в поле бесприютная...
Тоска родная, беспричинная,
То вековая, то минутная.

Судьба-судьбина богоданная
То обожжет, то веет холодом...
Явись, приди, мое Желанное,
Пока надеждой сердце молодо!

Дабы пройти мне
путь единственный,
Судьбой отпущенный, не сетуя,
С причастьем радости таинственной
Явись, приди, мое Трисветлое!

В ночь непогожую, осеннюю
Звездою яркою, лучистою —
О, научи многотерпению,
Явись, приди, мое Пречистое!

Заря погасшая, кручинная,
Да песня дальняя, сердешная.
Тоска глухая, беспричинная,
Как даль родная, бесконечная...

✦✦✦

Следы

Ночь все светлее от снега,
Липы — в хрустальной пыли...
Чьи-то следы до ночлега
По первопутку легли.

Кто ты, безвестный прохожий?
В мире надежд и потерь
Каждому в час бездорожья
Тихо откроется дверь.

ДУБРОВИНА Элида Михайловна родилась в Минске. Окончила Ленинградский Государственный университет. Автор многих книг прозы и поэзии, в том числе «Голубые города», «Белый камень», «Жалейка», «Вереск» и других. Член Союза писателей СССР. Живет в Ленинграде.

Луч упадет на ступени...
Было такое и мне:
Нежно сольются две тени,
Нежно замрут на стене.

Не потому ль, беспокоя
Всех, кто устал не навек,
Дальней грозой и левкоем
Пахнет нетронутый снег?

Знают мечтатель и путник,
Что уведут от беды
Русских снегов первопуток,
Добрые чьи-то следы.

Отступнику

Боль непозабытая,
Вековая, истовая,
Не тобой испытана,
Не тобою выстрадана.
Не тобою выстраданы,
Не тобой обласканы
Эти дали чистые,
Эти весны красные!

Эта речка звонкая
Под седой ракитою...
Ты иди сторонкою,
Выжидай, прикидывай!
Ты иди, как шел себе —
Не твоею кровушкой,
Не твоею проседью
Просолилось полюшко!

Не твоей работою,
Не твоей усталостью,
Не твоей заботою,
Не твоею жалостью.
Слово это вещее
Не к тебе относится:
Не тебе завещано,
Не с тебя и спросится!

Сквозь слезы петь

Край Во́тской пя́тины, низинный,
древний...
Привычная, немая боль души!
Бреду пешком... Безлюдные деревни
Покорно разрушаются в тиши.

И все ж прекрасен соловьиный
вечер!
Уже померк за соснами закат,
Ручьев и рек младенческие речи
Доверчиво лепечут и журчат.

Сквозь слезы петь!..
Я знаю слезы эти...
О, ро́дина, ведь это ты сама,
Чтоб не пропасть нам
в годы лихолетий,
Подсказываешь светлые слова.

И если песня не пустое дело,
Я не устану повторять стократ:
«Как ты богата, коль не оскудела
Душа твоя от бедствий и утрат!

Не зря волхвы несли народам
вести,
Что твой язык — творение богов:
Ты никогда не выговоришь в песне
Кощунственных и непотребных слов!

Превозмоги душевную усталость,
Не слушай что́ пророчит воронье...
Не все еще потеряно — осталась
Родная речь. Убережем ее!

Над этой бедной сельскою округой,
Где я ищу улыбку и ночлег,
Где горестно старик лишь
со старухой
В пустой деревне доживают век.

Над простотой их душ,
простивших веку
Семьи и дома стужу и разор,
Над доброю улыбкой человеку,
Забредшему в их бесприютный двор.

Над всей тоской безвестного
селенья,
Над всей страной, над всею
прорвой зол —
Теки из поколенья в поколенье,
Звучи в веках, божественный
глагол!»

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ

БАРБАРОССА

РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ

4. НА РУБЕЖАХ — БЛИЖНИХ И ОТДАЛЕННЫХ

Что там, в излучине Дона, творится — этого не узнаешь.

Чуянов зачастую узнавал о положении на фронте от рядовых телефонисток области. Самый верный источник информации, когда в трубке слышался испуганный девичий голосок:

— Они уже здесь! Я осталась одна. Совсем одна. В окне вижу их танки с крестами. Все разбежались, а я не успела... Ой, ради боженьки, скажите скорей, что мне делать?

Ответ из Сталинграда всегда был одинаков:

— Ломай коммутатор и — смывайся, пока жива...

Орел, Курск, Воронеж — как-то дико сознавать, что война пришла в эти края, где бытовал чисто русский язык, еще не испорченный всякими «измами», откуда вышли классики нашей литературы — Кольцов и Тургенев, Фет и Лесков, а теперь...

— Мать их всех за ногу! — в сердцах выругался Чуянов. — Доигрались, сволочи, до того, что никаких слов не сыщешь, как объяснить людям, где лево, где право, где зад, где перед... И не хочешь, да станешь материться, когда вспомнишь аксиомы от маршала Ворошилова, еще довоенные: «бить врага на чужой территории» и «ни одного вершка родной земли не отдадим»...

С женою Чуянов был еще откровеннее, и он сказал ей:

— Где же она, эта великая русская армия с ее суворовской «наукой побеждать»? Где, наконец, не липовые, а подлинные герои? Куда все это подевалось, черт побери?!

. . . .

На этот риторический вопрос Чуянова наш передовой советский читатель уже готов назвать имена, осиянные вечным отблеском Сталинградской битвы, — Чуйкова, Еременко, Рокоссовского, Людникова, Родимцева, Шумилова, Москаленко, Баданова и прочих. Да, имена этих героев давно высечены на скрижалях руин Сталинграда, но еще не пришло время им появиться на этих страницах, да и сам город на Волге еще не дымился руинами...

Среди этих героев — не липовых, а настоящих! — невольно припоминается и Василий Тимофеевич Вольский, генерал бронетанковых войск. Он умер от горловой чахотки сразу после войны, и о нем понемногу забыли. А — жаль! Этот человек в самый разгар битвы на

Продолжение. Начало в №№ 2—6 за 1991 год.

Волге высказал особое мнение о событиях, не согласное с мнением самого Сталина и Генштаба, о чем не побоялся тогда же заявить открыто и честно, хотя рисковал не только карьерой, но рисковал и своей головой. С этим гордым человеком мы еще встретимся, читатель, но — позже...

А сейчас Вольский командовал 4-м танковым корпусом, который в штабах именовали «четырехтанковым», ибо весь корпус насчитывал всего лишь четыре танка.

— Чем богаты, тем и рады, — иронизировал Вольский...

Ему доложили, что в штаб привели пленных итальянцев.

— Сопротивлялись? — вопрос естественный.

— Нет, сами пришли. С листовкой. Вот с этой...

В листовке было сказано:

«Итальянцы! Ваш народ никогда не забудет имен Кавура, Мадзини и Гарибальди, изгнавших немцев-австрийцев из вашей прекрасной страны... Дело, которому служили патриоты Италии, теперь поругано Муссолини, подчинившим Италию гитлеровскому режиму... Россия никак не может быть вашим врагом, она никогда не угрожала и не может угрожать вашей родине. Вы, итальянцы, и сами понимаете это...»

— Понимают. Давайте их сюда. Поговорим...

Вошел офицер, за ним и солдаты, явно робеющие от непривычности обстановки. Пленные ожидали чего угодно, вплоть до зуботычин, но были потрясены, когда русский генерал в измазанном комбинезоне танкиста заговорил с ними на их же родном языке.

— Компаньо! — радостно возвестил Вольский. — Мне, поверьте, лучше видеть вас живыми в плену, нежели мертвыми перед своим фронтом. — Его голос временами садился до шепота, и Вольский сам объяснил причину, показав на свое горло: — Застудил на маневрах в сибирской тайге. Крым уже не помогает, лечился у вас в Италии, а летом прошлого года собирался повторить курс лечения у ваших прекрасных ларингологов, но тут... Тут-то мы и стали врагами! Кстати, — спросил Василий Тимофеевич, — вы, компаньо, из какой дивизии? «Равенна» или «Сфорецка»?

— Нет, «Коссерия», — охотно отозвались пленные.

— Тогда... садитесь, — предложил Вольский. — Правильно сделали, что пришли сами и догонять вас было не надо. А что ваш Джованни Мессе? — спросил он офицера. — Уже в отставке?

— Нет. Стал заместителем у Итало Гарибольди. — Офицер Луиджи Комолло сказал, что Италия сыта Россией по горло. — Первый раз мы пошлялись в Москву вслед за Мюратом, королем неаполитанским, который потащил наших дедушек в Россию за своим зятем Наполеоном, и дедушки не вернулись к нашим бабушкам. Вторично мы сунулись вслед за англичанами под Севастополь — и после нас в Крыму осталось обширное кладбище. Теперь мы тащимся в обозах вермахта, а куда он завезет нас — неизвестно, но мы хотели бы умереть на своих постелях, а не в сугробах.

— Конечно! — рассудил Вольский, показав им листовку. — Тут не только Мадзини и Гарибальди, тут и другое. Более важное. Я ведь знаю, что итальянцы народ храбрый. Но они хорошо сражаются, когда дело касается их Италии, а так... плохо!

— Мы хотим домой, — дружно заговорили солдаты. — В конце концов папа с мамой — это тоже не мусор. Если каждая русская тетка и спрячет нас в погреб, так каждый из нас до конца войны согласен быть ее страстным любовником. Лучше уж сидеть в погребе на картошке, нежели подыхать в немецком окопе...

Итальянцы достали письма своим родным и просили Вольского отправить их в Италию — через международный Красный Крест; плохо знакомые с географией России, они путали Дон с Волгою и, ока-

завшись пленными в излучине Дона, обычно начинали свои письма словами: «Привет с русской Волги!»

— Ну, до Волги-то еще далековато, — сказал им Вольский и, подумав, добавил: — Ну ладно. Письма отправим. Идите.

— Куда? — обомлели итальянцы.

— Да обратно. Не станем же мы из-за семи человек гонять в тыл конвоира. Идите. Заодно расскажите о нашем разговоре своим товарищам. И возвращайтесь обратно со всеми солдатами.

...Италия имела свою судьбу, неповторимую: в 1945 году не быть ей в числе стран побежденных, а быть ее народу в числе победителей! Согласитесь, что такое случается редко...

. . . .

Прошло не так уж много времени с поры трагедии армий Тимошенко, а к Сталинграду до самого июля (точнее — до осени) еще выбирались бойцы, вырвавшиеся из кольца окружения. Кто из-под Харькова, другие от Барвенково. Одетые во что попало, грязные и оборванные, озверелые от крови пролитой и ненависти пережитой. Почти все окруженцы без каких бы то ни было документов. Теперь не знали, к кому обратиться, кто им поможет, а властей они тоже боялись, ибо окруженцев могли замести особисты как «немецких агентов» (такое не раз бывало). Шлялись они, как неприкаянные, по улицам Сталинграда, как-то стыдливо козыряя офицерам, словно чувствовали себя виноватыми. Смотреть на них — страшно: вместо ремней на винтовках — фитили от керосиновых ламп, иные даже лошадей вывели, а вместо поводьев — бинты санитарные. Народ молчаливый. Сплошь небритые. Голодные. И... все-таки даже счастливые оттого, что снова среди своих.

— Вот такие люди, — говорил Воронин, — злее всех дерутся. Они такое пережили, что теперь стали бессмертны.

Чуянов был согласен с мнением НКВД, но предупредил, что к окруженцам налипает немало бессовестной сволочи.

— Дезертиры и трусы только называют себя окруженцами, чтобы скрываться поудобнее. Они тоже опасны — сплетнями, страхами, домыслами... Кстати, как тюрьма твоя? Очистилась?

— Да всех вывезли в Камышин. Стенки же в тюрьме — во такие. Так теперь ни одной камеры нет свободной.

— Как понимать, если всех вывезли?

— А так и понимай. В камеры столько народу набилось! От бомбежек прячутся. Скажи кому-либо — так не поверят.

— А ты что?

— А что я? Или сердца у меня нету? Ключи отдал от камер. Не откажешь ведь — с детьми многие. С бабками. Суп варят с макаронами. Такой дух в тюрьме...

Город-гигант просто распирало, так он был перенасыщен людьми. Тут и местные, тут и бежавшие с Дона, тут и наехавшие бог знает откуда в поисках тишины и покоя, а теперь эти беженцы не знали, что им далее делать, куда бежать:

— Мы-то, грешные, думали, что на Волге-матушке покой сыщем, а вот заехали — из огня да прямо в полымя...

Сталинград постепенно огораживал себя противотанковыми рвами, сооружал блиндажи, копал траншеи. Всего отрыли 20 миллионов кубометров земли. Это легко пишется, еще легче говорится. А ты попробуй за один день десятки тысяч раз нагнуться и распрямить спину, чтобы поднять и бросить наверх лопату тяжелой земли. Трудом домохозяек и пенсионеров Сталинград опоясал себя кушаком оборонительных сооружений общей длиною в 487 километров. Такое расстояние даже не пройти — нужно объезжать на поезде... И не все было гладко. Некоторые не выдерживали. Бомбежек, драной обуви, иссушающего зноя, жажды наконец. Просили у врачей справку о болезни, чтобы вернуться домой.

Сами женщины с рубежей и позвонили Чуянову:

— Мы тут вынесли резолюцию: врачам справок об освобождении по болезни не давать! Мы — коренные сталинградцы, здесь родились, здесь и помрем. Мы все соседи и лучше врачей знаем, кто чем живет, кто больной, а кто дурака валяет...

Чуянов созвонился с тем же Ворониным:

— Слушай, эн-кэ-вэ-дэ. Тут дело такое. Бабы и сами разберутся, кто здоровый, а кто симулирует. Речь о другом. Издалека женщины видят, как бомбят Сталинград, и когда зарево стоит над городом от пожаров, тогда многие бегут в город, чтобы узнать — живы ли дети да старики ихние? Понял?

— Ну, понял... Нет, не понял, — сказал Воронин.

— Так пойми: таких не задерживать. Сердца материнские надо понять — ведь у каждой, считай, дите малое. Пока!..

4 июля генерал Герасименко застал Чуянова плачущим.

— Семеныч, да что случилось?

— Севастополь... Я ведь, грешным делом, думал, что хоть до Урала нас допрут, а Севастополь так и останется нашим. А теперь вот... в самый последний миг Севастополь к нам обратился, словно эстафету какую нам передал. Прочти, что сталинградские радисты от севастопольских только что приняли...

«Прощайте, товарищи, и отомстите за наш разбитый Севастополь», — так было записано. Герасименко развел руками:

— А в нашей избушке свои игрушки. Сейчас со станции Боево сообщили, что батальон немецкой пехоты уже через Дон переправился. Откуда он там взялся — сам бес не догадывается. А под Воронежем еще гаже — оборона уже прорвана...

— Как жить дальше — не знаю, хоть вешайся! — Чуянов еще раз глянул на прощальные слова Севастополя. — Я уже подсчитал. Двести пятьдесят дней они там держались, а в Крымскую кампанию... не помнишь ли, сколько?

— Шут его знает. Забыл. Кажется, около года.

После Герасименко явился в обком К. В. Зубанов, главный инженер Сталгрэса, и вид у него был плачевный.

— Что, опять зубы схватило?

— Хуже. На этот раз сердце.

— Лечись. Как с электроэнергией? Опять не хватает?

— Электроэнергии хватит, а моя давно кончилась.

— О чем ты, Константин Васильевич?

Тут инженер сознался, что влюблен напропалую, а в кого — догадаться можно, в ту самую дантистку Марию Терентьевну, что больной зуб ему вытащила по рекомендации самого же обкома.

— Уж я и так и эдак перед нею! — рассказывал Зубанов. — Согласен хоть все зубы тащить без наркоза, только бы она не так сурово на меня глядела...

— Ты что? Совсем уж рехнулся? — обозлился Чуянов. — Тут такая пальба идет, Севастополь пал, Воронеж, гляди, оставим, люди мечутся на пристанях и вокзалах, как угорелые, в городе жратва кончилась, по карточкам даже пайка не выкупить, а... ты? На кой черт ты мне все это рассказываешь?

Тут Зубанов взмолился:

— Помоги мне... хотя бы партийным авторитетом.

— Соображай! — наорал на него Чуянов. — У меня земля горит под ногами, а я, как последний дурак, поеду в Бекетовку, чтобы твою бабу уговаривать... сам поладишь! Лучше давай о делах Сталгрэса; жалуются на заводах: почему энергии — кот наплакал, куда подевал ты ее? Или в подарок своей дантистке отдал?..

В самом паршивом настроении Чуянов только к ночи вернулся к себе домой на Краснопитерскую, и сразу раздался звонок телефона (видать, за ним следили). Жена сняла трубку.

— Тебя, — сказала она. — Послушай, что говорят...
Чуянов сам взял трубку телефона:
— Слушаю!
В ответ не женский, а на этот раз мужской голос, крепкий и уверенный:
— Это ты, сволочь поганая?
— Допустим, что я — сволочь. Все равно слушаю.
— Не вздумай бросать трубку. Двадцать пятого июля ты и твое потомство заодно со своей б... будете повешены на площади Павших борцов, и висеть вам, пока веревка не сгниет.
— Сам придумал? Или научили тебя?
— Я говорю сейчас от имени германского командования, и ты, гад, от нас уже не скроешься. У нас руки длинные...
«Но откуда, из какой норы — не первый уже раз — вылезла эта гадина, добралась до телефона, чтобы брызнуть в нас ядовитой слюной?» — записал тогда же Чуянов.

Легли спать. Потолок спальни отсвечивал кровавыми отблесками, которые переливались волнами, а висюльки стеклянной люстры ярко вспыхивали, — это на Волге какой уже день полыхали нефтяные баржи, приплывшие из Астрахани.

— Долго ль они гореть будут? — спросила жена.
— Пока не сгорят. Спи. Мне завтра рано вставать...
Утром Чуянов вдруг стал безумно хохотать.
— Господи, с чего развеселился? — удивилась жена.
— Вспомнил... инженер Зубанов, знаешь такого? Так вот он, дурень такой, вдруг влюбился. Нашел же время...

По Краснопитерской улице гнали большое стадо свиней, едва ковылявших от усталости, потом в сторону пристаней пылило громадное стадо коров, и каждая, мотая головой, названивала в свой колокольчик, — эвакуировали колхозную скотину из дальних станиц Задонщины. Старики толкали перед собой визгливые тачки с домашним скарбом, женщины, босые и загорелые, тащили на себе неряшливые узлы. Много навидался Чуянов таких вот несчастных беженцев, но запомнился ему мальчик в коротких штанишках с ширинками сзади и спереди, еще маленький, нес он на себе кошку, и эта кошка обнимала ребенка за шею лапами, доверчивая, покорная, испуганная...
Сталинград начинал новый трудовой и боевой день.
До 23 августа будет еще много таких вот дней.

. . . .

В борьбе с идеологией противника итальянским фашистам, скажем прямо, не очень-то везло: в одном из донских городков они сокрушили изваяния усатого колхозника с колхозницей в широком сарафане, решив, что эти статуи изображают великого Сталина и его любимую жену — Сталиничче.

В развитии же боевой стратегии Итало Гарибольди оказался плохим помощником Паулюсу, который указывал союзникам двигаться в междуречье Донца и Дона, чтобы окружить там советские войска. Но русские из котла вывернулись, а когда Гарибольди замкнул мнимое кольцо окружения, то выяснилось, что внутри его — пусто! Немцы же сочли, что мешок завязан, они окружили его, но в «плен» им достались сами же... итальянцы.
— Почему так мало русских пленных? — спрашивал Шмидт.
На это Паулюс не мог ничего ответить. Промолчал...
— Придерживайте макаронников на флангах, — указал он Шмидту, — а на главных направлениях их не выпускать...

Опять эти фланги! Паулюс не знал (да и не мог знать), что эти вот фланги его непобедимой 6-й армии, которые он доверил опять-таки итальянцам, позже и станут тем слабым звеном в линии фронта,

который прорвут русские. Конечно, будем справедливы, трагически сложилась судьба 6-й армии в котле, но еще ужаснее будет судьба итальянцев!

5. НА ЗАКАТЕ И НА ВОСХОДЕ

Борис Михайлович Шапошников лишь 44 дня не дожил до нашей победы, и Москва проводила его в последний путь артиллерийским салютом, который правомерно вписался в симфонию викториальных залпов, слышимых во всем мире. Даже покинув Генштаб, маршал не оставлял службу; больной, он еще трудился, и в затруднительных случаях Сталин иногда говорил:

— Вот здесь нам необходимо выслушать, чему учит *школа Шапошникова,* передовая школа нашей военной науки...

Впрочем, эта «передовая школа» сложилась не вчера и не сегодня, она вела родословную еще из царской Академии Генштаба, из которой — задолго до революции — и вышел Борис Михайлович, последний из могикан «проклятого прошлого». Дух маршала Шапошникова, казалось, еще долго витал в кабинетах Генерального штаба, а Василевский не спешил занять его пост, оставаясь лишь «временно исполняющим обязанности». Николаю Федоровичу Ватутину, своему заместителю, он говорил:

— Возможно, я принял бы этот пост не задумываясь, если бы ранее не видел, как работает Борис Михайлович. Наблюдая за ним, я понял, какая Генштабу нужна голова, какая четкая организованность... Меня это и смущает! Пойми, Николай Федорович, я просто чувствую свою неготовность.

Ватутин по-дружески советовал Василевскому все же не отказываться от того кресла, что покинуто Шапошниковым:

— Тем более карьеристы уже стали выдвигать Тимошенко, а сам Тимошенко подсаживает на место Шапошникова генерала Голикова, что до войны был начальником разведки Генштаба, а ныне Брянским фронтом командует... плохо командует!

— День ото дня не легче, — вздохнул Василевский.

Положение нашей страны с каждым днем осложнялось. Весною турецкий премьер-министр Сараджоглу получил призыв из Берлина: мол, именно сейчас «была бы весьма ценной (для Германии) концентрация турецких сил на русской границе» — возле Кавказа. В ответ Сараджоглу заявил, что он «страстно желает уничтожения России. Уничтожение России, — сообщал он, — является подвигом фюрера, равный которому может быть совершен раз в столетие... Русская проблема может быть решена Германией только в том случае, если *будет убита половина* всех живущих на свете русских»! Об этом изуверском желании нашего ближайшего соседа стало известно в Москве.

— Будет скверно, — сказал Василевский Ватутину, — если танки Клейста нажмут от Ростова, а турки ударят снизу по Еревану. Теперь нам следует учитывать и угрозу со стороны Турции.

В газетах, доселе утешавших читателей, появились фразы, на которые не каждый мог обратить внимание: «Над родиной снова сгущаются грозные тучи...» Александр Михайлович Василевский навестил больного маршала Шапошникова, поделился своими заботами. Стратегические резервы Ставки были израсходованы еще весною в тех операциях, которые успеха не принесли. Между ними возник разговор, в чем-то схожий с тем, который однажды вели меж собою Чуянов и генерал Герасименко.

— Наверное, —сказал Василевский, — история этой войны будет писаться после войны, и только со дня наших побед. Но где они, эти громкие победы, способные переломить хребет врагу?

Борис Михайлович приподнялся с дивана, взволнованный:

— Такая мысль, голубчик, есть предательство по отношению к тем мертвым, которые не сложили оружия еще в сорок первом. Которые кладут свои жизни на фронте и поныне. Легче всего вырвать мрачные страницы из летописи наших поражений, чтобы сразу обрести задиристый и бравурный тон. Но мы, — утверждал Шапошников, — не имеем морального права украшать свои же просчеты яркими павлиньими перьями. Чем откровеннее признаем перед народом свою растерянность в сорок первом, свои трагические ошибки в эту весну, тем больше пользы для будущего...

21 июня Юго-Западное направление — наконец-то! — было ликвидировано, как изжившее себя, а маршал Тимошенко из главнокомандующего превратился в обычного командующего фронтом. Ставка все энергичнее вмешивалась в дела войны через своих представителей, чтобы вовремя одернуть командующих, если они ошибались, а иногда эти представители только мешали командующим, которые считали московских посланцев не помощниками, а... надзирателями. Сталин, наверное, догадывался о закулисной возне среди генералов, но в Генштабе он не желал видеть маршала Тимошенко, тем более не хотел видеть и генерала Голикова, — он твердо придерживался кандидатуры Василевского, которому достаточно доверял, видя в нем ученика из «школы Шапошникова».

Сталин умел быть внимателен к людям, когда эти люди становились ему необходимы. В один из дней он спросил:

— Товарищ Василевский, почему вы забыли родного отца?

— Я не забыл, — невольно покраснел Василевский. — Но когда меня принимали в партию большевиков, то меня обязали прервать с ним отношения... как со служителем культа.

— Вот это нехорошо, товарищ Василевский! — наставительно декларировал Сталин, и был прав. — Мне известно, — продолжал он, — что ваш бедный отец-священник влачит в провинции самое жалкое существование, едва не побирается от голода. А вы, вполне обеспеченный человек, ничем старику не помогли... Это очень нехорошо. Вы должны взять отца к себе в Москву.

— Слушаюсь, товарищ Сталин! — отвечал Василевский.

— Да не меня надо слушаться. Самому надо соображать...

После такой «личной заботы товарища Сталина» товарищу Сталину было неудобно отказывать в чем-то, и 26 июня Василевский официально был утвержден в должности начальника Генерального штаба. Поздравляя его, Шапошников предупредил:

— Чем выше положение человека, тем труднее ему учитывать чужое мнение, тем недоступнее становится он для критики. Помните, голубчик: это очень опасная ситуация! А впрочем... я рад за вас: начинается ваше личное противостояние Францу Гальдеру, он сейчас, кажется, на закате, а вы сейчас на восходе.

...Как уже догадался читатель, я в своем изложении событий несколько отступил назад во времени. Вейхс еще не угрожал Воронежу, и, смею думать, наши люди никакой угрозы для Воронежа не ощущали. Почему? Да хотя бы по одному примеру. Именно в эти дни некий майор Адрианов — наконец-то! — получил ордер на комнату в коммунальной квартире того же... Воронежа. Жилищный вопрос, как видите, не угасал даже невдалеке от линии фронта, и счастливый майор по случаю новоселья устроил хорошую выпивку с друзьями из местного гарнизона. Пройдет лишь несколько дней, и ордер на комнату майору Адрианову уже никогда не понадобится, а сам обладатель ордера, прописанный в Воронеже, вольется в ту великую армию, о рядовых которой после войны будут писать как о «без вести пропавших».

Судьба Воронежа была решена, и в трагизме этой судьбы повинны те люди, которых, как бы помягче выразиться, хотелось бы называть... хотя бы «растяпами».

. . . .

Время — самый безжалостный фильтр нашей истории: одних он бережет в народной памяти, других оставляет догнивать в «отходах прошлого», о котором нежелательно вспоминать, но вся беда в том, что часто — даже очень часто! — судьбы многих тысяч людей зависели от негодных персон, облеченных, как принято у нас говорить, «доверием партии и правительства». Мне думается: мирные дни, наверное, для того и даются армии, чтобы она из своих неисчерпаемых недр выдвигала все самое разумное и достойное, а все негодное отсеивала, словно мусор. Но при Сталине так никогда не делалось. О человеке судили не по его качествам, а лишь по страницам его анкеты.

Я не сомневаюсь, что анкета была «чистая» у генерала М. А. Парсегова — знойного кавказца с аккуратными усиками, но анкетой да внешностью все и кончалось. С первого года войны он как-то органично сроднился с мощной стихией роковых отступлений и так привык к «драпу», что считал его делом почти неизбежным. Отвоевал он себе легковушку с шофером, в машине спал и ел, там у него вся канцелярия, есть тарелка и стакан в красивом подстаканнике, предметы мужского туалета, и потому выглядел Парсегов, не в пример прочим фронтовикам, даже молодцевато. С утра побреется, не выходя из машины, поправит перед зеркальцем усики, после чего, освеженный одеколоном, мог и покомандовать.

— Товарищ боец! — окликал он из машины. — Почему у вас походка неровная? Советский боец должен ходить... знаете как?

— Да учили... на строевой подготовке.

— Вот так и ходите.

— Да я, товарищ генерал, третий дён не жрамши, из окружения вышел, ноги едва волоку. Мне бы в санчасть какую...

— Все равно! Подбородок держать выше... по уставу. А вы, товарищ боец, над кем смеетесь?

— Веселый человек дольше живет. Вот и смеюсь.

— Ладно. А то я думал, вы надо мной издеваетесь...

Генерал П. В. Севастьянов, хорошо знавший Парсегова, писал о нем так: «Никакое окружение, никакое бегство, никакие несчастья и неудачи так не деморализуют солдата, как *бездарное* руководство»! Парсегов командовал 40-й армией Брянского фронта, а фронтом командовал небезызвестный Филипп Иванович Голиков, и кого Голиков больше боялся — Сталина или немцев? — этот вопрос историками еще до конца не выяснен. Если же Филиппа Ивановича спрашивали о талантах Парсегова, он отвечал:

— Собранный товарищ! Не как другие, что даже забывают побриться в окопах. Одна в нем беда: на связь не выходит и никогда не знаешь, где его армия находится...

Из этих слов видно, что хорош был Парсегов, умело прятавший свою армию от начальства, но еще лучше был и сам командующий фронтом, не знавший, где искать эту армию! Но однажды Голиков все-таки обнаружил «сороковую» в селе Хорол. Голиков сказал Парсегову, что из портфеля майора Рейхеля известно: барон Вейхс, торчавший у Курска, должен бы наступать двадцать второго июня, но...

— Не мычит не телится! Наверное, фрицы поняли, что мы их «рассекретили», вот и отложили свое наступление по плану «Блау». А ты, Михаил Артемьевич, ручаешься за свою оборону?

— Мышь не проскочит, — был получен бравый ответ.

(Между тем Брянский фронт имел всего лишь до пяти орудийных стволов на один километр — совсем не густо.)

— Тут и слона протащить можно,— сомневался Голиков.

— У меня и слон не пройдет! — заверил его Парсегов...

Затишье в обороне всегда обманчиво, а враг начинает казаться надоедливой, примелькавшейся деталью военного пейзажа — не больше того. 28 июня барон Вейхс нанес мощный удар со стороны Курска,

а через два дня 6-я армия Паулюса стала наступать южнее, — и началось! Противник верно нащупал слабину в стыке Брянского фронта Голикова с фронтом армий маршала Тимошенко; танки армии Германа Гота врезались в эту мягкую и ослабленную подвздошину двух наших фронтов, разорвав их широкой кровоточащей раной. Прямо на Воронеж двигалась моторизованная дивизия «Великая Германия»... А на улице Хорола — дым столбом! Жгли и рвали штабные документы, волокли в грузовики тяжеленные сейфы, девушки-солдатки метались, не зная, куда сунуть пишущие машинки, а жители села плакали:

— Господи! Да на кого ж вы нас покидаете?..

В этой панике один лишь Парсегов оставался невозмутим, и, сидя в своей легковушке, он... догадываетесь, что он брился! Тут его и застал Севастьянов с поручением от Голикова.

— Командующий Брянским фронтом просит вас срочно выйти на связь с его штабом. Обстановка сейчас такова, что...

Парсегов, глядя в зеркальце, прифрантил свои усики:

— А зачем спешить, дарагой? Самое малое через час я сам буду уже в Воронеже, тогда и пагаварю с товарищем Голиковым... Можно ехать. Жми прямо на Воронеж! — велел Парсегов шоферу, и его легковушка первой рванула с места...

Отдадим должное девственной «чистоте» анкетных данных о генерале Парсегове, — этот Аника-воин постыдно б р о с и л свою армию (и вся его 40-я армия позже целиком погибла, попав в железные клещи танковых окружений), а ведь на эту армию рассчитывали в штабах, воронежцы меж собой говорили:

— Нам-то что? До нас фрицы не дойдут, эвон, мне Марья-соседка сказывала, что есть такая армия Парсегова... у-у, силища!

Воронеж считался еще тыловым городом и жил обычной трудовой жизнью, украшенный бодрыми призывами: *«Работать с удвоенной энергией! Все для фронта, все для победы!»* В скверах играли детишки, на улицах бабки торговали семечками. Привычно названивали трамваи, фронтовикам странно было видеть машины «скорой помощи» — кому-то вдруг захотелось поболеть, но никого из жителей это не удивляло. Никто не думал, что враг способен дойти до их города. По вечерам работал цирк с новой программой, люди навещали театр, все шло своим чередом...

Голиков засел в Воронеже, а связь с войсками фронта отсутствовала. На путях вокзала попыхивал паром одинокий бронепоезд, и там еще пели:

Мы — мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути...

В гарнизоне числились тыловые войска НКВД с винтовками, один батальон был поголовно вооружен только наганами, кавалеристы оттачивали клинки. А на окраинах Воронежа уже образовывался фронт, и зенитчики ПВО все чаще опускали стволы орудий к земле, нащупывая в прицелах кресты немецких танков. Гот не считался с потерями: на Мокром Лугу он сам загонял свои танки в топь, на их башни, торчавшие из воды, он стелил мосты и по этим настилам быстро пропускал другие танки и пехоту...

Голиков воевать не умел, а теперь поздно учиться!

30 июня Сталин прочел ему суровую нотацию по связи ВЧ, и мне думается, что Верховный лучше Голикова понимал обстановку.

— Запомните хорошенько, — поучал Сталин, — у вас теперь на фронте более тысячи танков, у противника же нет и пятисот... Все зависит только от вашего умения использовать свои силы и управлять ими по-человечески. Поняли?

Сталин был прав только «по-человечески». Танков у Голикова было достаточно, но... каких? Разрушающие мосты, неповоротливые КВ, которые сами же танкисты прозвали «бронированными комодами», и ус-

таревшие Т-60, по выражению солдат — «трактора с пушками», а новых Т-34 не было. Конечно, при умении можно было задержать немцев и этими танками. Но Голиков не знал, как это делать. Пошел один танк — подбили, посылает второй — тоже, шлет третий — и третий сгорел. Наверное, он проспал то время, когда во всем мире победила доктрина массового применения танков, а он, командующий фронтом, примерял боевые качества танков к возможностям пехоты...

4 июля на Брянском фронте появился Василевский.

— Второй год воюете, а так и не научились, — отругал он Голикова. — Танки отдельно. Пехота сама по себе. Авиация только наблюдает. Ставка пошла на крайность, давая вам из резерва пятую танковую армию генерала Лизюкова... Поторопитесь! Шестая армия Паулюса выходит (или уже вышла) к Каменке, возникает угроза нашим тылам не только у вас, но и у Тимошенко. Будьте любезны использовать танковую армию Лизюкова как надо — ударом от Ельца, дабы сорвать переправу противника через Дон... Надеюсь, вам все ясно?

Филипп Иванович почтительно соглашался:

— Все ясно. Благодарю. Все сделаю. Как велели...

И — сделал: погубил 5-ю танковую армию Лизюкова, пустив ее в гущу сражения кое-как, даже не догадавшись, что танковая армия нуждается в поддержке артиллерией и авиацией.

Стало ясно, что Голикова на фронте держать нельзя.

— А что делать с генерал-майором Парсеговым? — спросил Василевский Верховного.— Ведь его даже на передовой никогда не видели.

— Мерзавец! — отвечал Сталин.— Нацепил звезду Героя и теперь думает, что ему сам черт не брат... Отправьте его куда-нибудь далеко, так, чтобы я о нем даже не слышал.

Парсегова тут же отправили во Владивосток, где к его услугам было множество парикмахерских. Не жалко мне ни Голикова, ни этого Парсегова — жалко мне жителей Воронежа, которые еще не знали, что их ждет. До слез жалко и того майора Адрианова, который получил ордер на комнату в коммунальной квартире Воронежа! Сталин, как это ни странно, *по-прежнему* считал, что немцы *вторично* стремятся захватить Москву — на этот раз *через* Воронеж; когда же он поймет, что совсем не Москва является целью нового «блицкрига», тогда будет поздно...

О, тупость мышления, взятого в колодки собственного величия! Подобная тупость пределов не имеет...

. . . .

Фельдмаршал фон Бок из Полтавы подгонял Вейхса, положение которого под Воронежем напоминало «топтание на месте».

Гитлер же в «Вольфшанце» бесновался перед Кейтелем:

— Что там делают мои генералы? Они теряют драгоценные дни. Я ведь уже говорил, что если Воронеж не сдается, его можно оставить в покое. Мне надоели разговоры о флангах! Главное сейчас: четвертая танковая армия Гота! Чтобы она скатывала дивизии Тимошенко вдоль правого берега Дона, как скатывают паршивые ковры... Это ваши слова, Кейтель! Не отпирайтесь. А глупый барон застрял под Воронежем, мешая Готу выполнять самую насущную задачу плана «Блау» — выход в излучину Дона...

Лишь 7 июля барон Вейхс информировал Паулюса:

— Можете меня поздравить, — с явным облегчением сказал он. — Наши танки ворвались в Воронеж, когда по улицам еще бегали трамваи, а на перекрестках дежурили милиционеры. Это надо было видеть, как разбегались очереди мужчин от газетных киосков, женщины и дети от ларьков с квасом и мороженым...

Вейхс приврал! Воронеж был захвачен им лишь частично: в наших руках оставались предместья Отрожка и Придача, начались уличные бои, красноармейцы удерживали Университетский район на северных окраинах города. Битва за Воронеж продолжалась, и не скоро ей

кончиться. Но теперь 4-я танковая армия Гота (хотя и с опозданием) стала лавиной сползать вниз вдоль берегов Дона, и тогда все армии Тимошенко действительно начали скручиваться в упругий рулон, быстро оттесняемый к югу.

От Ельца до Таганрога возник сплошной грохочущий фронт!

Тимошенко отводил свои армии на восток...

Сталин давно разуверился в полководческих талантах маршала, но, очевидно, держал Тимошенко на фронте по соображениям политического порядка, дабы не давать лишнего повода для злорадства геббельсовской пропаганде.

— Надо искать ему замену, — не раз говорил он.

К тому времени два наших видных полководца, Рокоссовский и Еременко, с трудом выправлялись после тяжких ранений. Рокоссовский с осколком в спине не выдержал и «бежал» из госпиталя, не долечившись, а генерал Андрей Иванович Еременко передвигался на костылях, и когда их оставит — неизвестно.

Сталин, когда Василевский вернулся в Москву, сказал, что пришло время менять командование. Обстановка требует образования Воронежского фронта — самостоятельного, а Брянский фронт можно смело доверить К. К. Рокоссовскому.

— Надеюсь, никто возражать не станет. Гораздо сложнее с вопросом: кого назначить на Воронежский фронт?

Генерал Ватутин, заместитель Василевского, встал:

— Товарищ Сталин, назначьте меня.

— Вас? — удивился Сталин, вскинув брови. — Ладно, — сказал он, помедлив, — при условии, если товарищ Василевский не станет возражать, теряя такого хорошего работника Генштаба. — Сталин походил вдоль стола и сказал Василевскому: — А товарищ Голиков пусть послужит заместителем у товарища Ватутина, чтобы пострадал своим самолюбием... Так ему и надо!

Рокоссовскому предстояло командовать Брянским фронтом. Он появился в кабинете Сталина — стройный, подтянутый. Сталин обошел генерала вокруг, словно любуясь его гвардейскою статью.

— Ну, как? Еще побаливает? — слегка тронул за спину.

Ответ последовал — с юмором:

— Осколок застрял возле позвоночника. Но, если верить медицине, доля железа организму даже необходима.

— Тогда посидите, — сказал Сталин, и в кабинет вызвали генерала Козлова, разжалованного после поражения под Керчью. — Товарищ Козлов, — мягко начал Сталин, — мне говорят, вы сильно обиделись, будто мы вас наказали несправедливо.

Рокоссовский переживал за Козлова — хватит ли мужества отвечать правду или согласится со всем, что с ним сделали?

— Да, — смело сказал Козлов, — ваш личный представитель Мехлис мешал командованию. Своим партийным авторитетом он пытался подавить меня, командующего, а мои распоряжения оспаривал и высмеивал. Издевался! Если бы не вмешательство Мехлиса, думаю, не Манштейн, а мы были бы сейчас в Севастополе, а сам Манштейн купался бы в море со всей своей армией.

— Но кто командовал фронтом... вы? — спросил Сталин.

— Я.

— Связь со Ставкой у вас по ВЧ была?

— Была.

— Вы докладывали, что вам мешают командовать?

— А как мне жаловаться на вашего же представителя? Сравните меня, генерала Козлова, и этого Льва... Захаровича.

— Вот за то, что боялись позвонить мне и потребовать удаления Мехлиса, в результате запороли все наши дела в Крыму, вот за это вы и наказаны народом, партией и мною. Идите.

«Я, — писал Рокоссовский, — вышел из кабинета Верховного

Главнокомандующего с мыслью, что мне, человеку, недавно принявшему фронт, был дан предметный урок...»

Прибыв на фронт, Константин Константинович встретил немало боевых друзей; он был всегда любим людьми. Рокоссовский завел себе кошку, она нежилась под настольной лампой, гуляя по оперативным картам, а командующий фронтом карандашом трогал ее усы, ласково приговаривая:

— Ну, что, бродяга? Валяешься? Хорошо тебе? А мне вот плохо. Там, наверху, виноватых ищут. А я даже прощаю тех, кто провинился. У нас ведь как? Снимут одного и пришлют другого, еще больше виноватого. Разжалуют кого-либо, а взамен присылают другого, тоже разжалованного. Одни — вверх, другие — вниз. А вот тебе всегда хорошо. Никакой ответственности...

Глубокой ночью солдат, лежавший в дозоре близ передовой, был удивлен, когда к нему тихо-тихо подошел командующий фронтом и прилег рядом:

— Оставь мне свою винтовку, а сам иди. Скажи, чтобы покормили. И выспись, братец. А я до утра побуду здесь, вместо тебя. Иди, иди. Я не шучу. Я ведь тоже солдат...

Не сразу, а постепенно устранялись негодные фанфароны, с трудом оформлялась армия, которой суждено было пройти через неслыханные поражения и уверовать в таланты своих полководцев, имена которых останутся святы в нашей ущемленной грехами памяти.

— А что нам делать с товарищем Тимошенко? — спрашивал Сталин начальника Генштаба. — Уж очень он теперь старается, чтобы Гот или Паулюс не посадили его в новый котел. Не потому ли и убегает так быстро, что за ним и на танке не угонишься?..

6 июля Василевский появился в сильном волнении.

— Что случилось? — встревоженно спросил его Сталин.

— Страшно сказать: маршал Тимошенко пропал.

— Как? — воскликнул Сталин. — Опять пропал?..

«Пропавший» маршал — это, пожалуй, гораздо опаснее, нежели «пропавший» самолет майора Рейхеля с его портфелем... Тут всякие мысли приходят в голову: недавно сдался в плен генерал Власов, но маршал-то весомее генерала.

— Найти! — указал Сталин. — Живого или мертвого!

6. НА ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Жизнь продолжалась — даже сейчас, когда до смерти-то два шага, и при донских станицах и городках, возле опрятных хаток и полустанков, расцветали как ни в чем не бывало прекрасные и стыдливые мальвы. Было отчасти странно входить в степные поселки, где вечерами еще работали клубы, дикими и непонятными казались шумливые очереди в кассу за билетами, чтобы еще — в сотый раз! — посмотреть дурашливую комедию «Волга-Волга», на пыльных площадках полустанков еще танцевали под всхлипы гармошек солдаты с местными девушками, тут же влюблялись и расставались, чтобы больше никогда не увидеться.

Но иногда в теплых лиричных сумерках слышалось:

— Кончай кину показывать! Будет вам вальсы раскручивать! Иль не слыхали, что пора всем драла от фрица давать?

— Да брось, — отвечали жители. — Лучше почитай сводки в газетах: на фронте без перемен, и до нас беда не дойдет.

— А ты вон тамотко пыль-то видишь ли?

— И что? Небось опять стада издали к Волге погнали.

— Не стада! Через час танки здесь будут...

Вольфрам Рихтгофен имел 1400 самолетов — больше половины

всей авиации, которую Геринг держал на Восточном фронте, и вся эта армада, убивающая и завывающая, беспощадная и наглая, вихрилась теперь над нашими армиями в степи, где человеку негде укрыться от бомб, где ты всегда останешься виден. А на речных переправах — ад кромешный, все там перемешалось: автоколонны, коровы, медсанбаты, танки, повозки, лошади, пожитки беженцев и фургоны со снарядами... ад!

Алан Кларк, хороший английский историк, писал, что немецкие танковые колонны угадывались даже за 60 километров — это была чудовищная масса пыли, которая перемешивалась с дымом и пеплом горящих деревень, и это грозное облако, застилая горизонт, за ночь не успевало рассеяться над степью, а утром оно становилось еще плотнее, смешиваясь с новою тучей пыли. Зрелище гигантской армады танков и техники было, конечно, впечатляющим, и сами же немцы были не в силах сдержать своего восторга перед той могучей силой, что надвигалась в большую излучину Дона; войска вермахта двигались даже не по дорогам, которых почти не было, а катились прямо по гладкой степи (и фотография этой армады, которая лежит передо мною, действительно ужасает!). «Это строй римских легионеров, — писали немецкие корреспонденты, — но перенесенный в XX век для укрощения монголо-славянских орд...»

Берлинская «Фёлькишер беобахтер» сообщала читателям, что русские отходят даже без выстрела (во что верить не следует): «Нам весьма непривычно углубляться в эти широкие степи, не наблюдая признаков противника...» Гитлер в эти дни ликовал, и Кейтель сказал Йодлю — как бы между прочим:

— В состоянии подобной эйфории наш фюрер был, кажется, только после падения Парижа... Заметили?

— Возможно, — согласился Йодль. — Из абвера, кстати, поступило сообщение: в Кремле сейчас настроение подобное тому, что было летом прошлого года. Следует ожидать, что Сталин начнет изыскивать побочные контакты для нового Брест-Литовского мира с нами... на любых, конечно, условиях, лишь бы ему не потерять своего положения в кабинетах Кремля!

Верно, Гитлер так радовался успехам своего вермахта, что, сменив гнев на милость, сам же позвонил в Цоссен.

— Теперь с русскими покончено! — известил он Гальдера.

— Похоже, так оно и есть, — скупо отвечал Франц Гальдер. Несогласный с фюрером во многом, сам он уже заметил, что центр армии Паулюса уподобился клину, достаточно острому по форме, и что по мере продвижения к Волге его фланги слабеют, обнажаясь.

Об этом он из Цоссена и доложил фюреру.

— Перестаньте о флангах! — прервал разговор Гитлер...

Это были как раз те дни, когда Черчилль собирался лететь в Москву, он пил гораздо больше, чем можно пить в его годы, и часто вызывал нашего посла Майского, чтобы спросить его с некоторой ехидцей — когда же «дядюшка Джо» (Сталин) обратится к Гитлеру с просьбой о заключении мира?

Удивляться тут нечему: британская разведка работала, и работала она хорошо, зная о том, о чем мы не догадывались...

. . . .

Кажется, войскам Тимошенко готовились клещи: от Воронежа скатывалась танковая армия Гота, южнее их подпирала мощная армия Паулюса, грозя окружением. Вокруг же, на множество верст, куда ни посмотри, до небес вздымались гигантские столбы черного дыма — горели деревни, фермы, хутора, МТС, колхозы. Горизонт утопал в непробиваемой пылище, которая не успевала рассеяться за ночь: это двигались танки с пехотой, это брели стада и толпы беженцев с котомками за плечами. Сверху людей обжигало палящее солнце, пикировали на них бомбардировщики. Пыль, гарь, сухота, безводье... Вете-

ранам 1941 года невольно вспоминались прошлогодние дороги былых отступлений:

— Нет, — сравнивали они, — в этот раз хуже...

И — страшнее: «Тогда (в 1941 году) было меньше войск, техники. Тогда мы знали: захваченная врасплох страна там, в тылу, только еще собирает силы. А сейчас — вот он, прошлогодний тыл, вот силы, накопленные за год...»

Сколько горьких, злых, справедливых слов сказано в те дни о неоткрывшемся втором фронте!

— А, мать их всех! — ругались бойцы.— *Начерчиллили* планов, и никаких *рузвельтатов*. Мы за всю Европу, за всю Америку должны тута, в энтом пекле, за всех отбрыкиваться...

Но Тимошенко не терял присущей ему бодрости.

— В этот раз, — авторитетно заверял он, — мы не доставим удовольствия немцам и в окружение не влипнем. Лучше сохраним силы в планомерных отходах на вторые и третьи позиции...

Начиная с 6 июля Ставка не раз теряла маршала Тимошенко, который сторонился всяких переговоров. Вел он себя несколько странно, избегая общения со своим штабом, на вопросы даже не отвечал. 7 июля его штаб покинул Россошь и перебрался в Калач (Воронежский), но Тимошенко почему-то остался в Гороховке.

— Вы поезжайте, — сказал он, — а я... Гуров со мною! Вот я с Гуровым тут посижу да подумаю.

Странное решение! Штаб терял связь с армией, а он, командующий армией, сознательно отрывался от своего штаба. По этой причине Москва получала из штаба Тимошенко одни сведения, а Семен Константинович иногда заверял Москву, что причин для волнений нет. Потом маршал вообще пропал, в Гороховке его не было, а куда он делся — никому неизвестно.

Василевский в эти дни даже почернел от переживаний, безжалостно обруганный Сталиным за то, что Генштаб потерял контроль над положением фронта, самого ответственного сейчас. Операторы сбились с ног, отыскивая пропавшего маршала, между собой делились сомнениями, что с Тимошенко это не первый раз:

— Помните, под Харьковом... он тоже «пропадал». Весь день просидел в кустах или под мостом. А где сидит сейчас?

Генерал Бодин, посланный на фронт как представитель Генштаба, докладывал в Москву: «Его (маршала) отсутствие не позволяет проводить неотложные мероприятия... у меня есть определенные опасения, что это дело добром не кончится»! Никита Сергеевич Хрущев высказал то, о чем другие боялись и думать:

— Слушайте, а не драпанул ли он к немцам? Ведь за такие дела, как наши, ему головой отвечать придется...

«Появилась, знаете, у меня такая мысль, — вспоминал позже Хрущев. — Хотел ее отогнать, но она сама нанизывалась на факты... Естественно, зародились нехорошие мысли». И лишь 9 июля раздался в штабах почти торжествующий вопль:

— Нашли! Жив наш маршал... вот он, объявился!

Тимошенко, как всегда, выглядел бодро, он вел себя так, будто ничего особенного не случилось, а на все вопросы отмалчивался. Вместе с ним был и Гуров, который шел, низко опустив голову, словно опозоренный. От маршала ответа не дождешься, а потому все наседали с вопросами на Гурова:

— Так где же вы были? Объясни наконец.

— Идите все к черту! — мрачно отвечал Гуров...

Газеты бестрепетно возвещали прежнее: «на фронте без перемен», и потому люди интуитивно чувствовали:

— Без перемен — значит, погано. Боятся сказать правду...

. . . .

Жарища — невыносимая! Пить хотелось. Пить бы и пить, бла-

женно закрыв глаза, а воды не было. В редких хуторах мигом вычерпывали колодцы, оставляя их сухими, и, подкинув на спинах тощие вещевые мешки, шагали далее, отступая. На бахчах оставались дозревать арбузы и дыни, а громадные подсолнухи склоняли над плетнями царственно-венчанные головы, словно на веки вечные прощались с уходящими. Избавляясь от лишнего, солдаты шли босиком по обочинам шляхов, распоясавшись, офицеры покрикивали:

— Любую хурду бросай, а саперные лопатки береги... еще окапываться. И не раз! Не век же драпать. Остановимся!

«А где?» Среди молоденьких лейтенантов, только что вышедших из военных училищ и сразу угодивших в сатанинское пекло такой вот войны-войнищи, не умолкали мучительные разногласия:

— Не понимаю! Нас со школы учили: самое главное — человек, а техника уж потом. Этим же гадам, Клейсту иль Готу, плевать на человека. У них другое в башке: броня, скорость, огонь. И вот результат: я, гордый человек, царь природы, и что есть мочи драпаю от этой самой вонючей техники.

— Так чего ж ты, Володя, не понимаешь?

— Не укладывается в голове, как это мы, поставив человека выше техники, отступаем до Волги, а немцы жмут нас во всю ивановскую. Несгибаемые большевики, — так внушали нам с детства, — а живем полусогнутыми — под бомбами.

— Да, ребята, кто прав? Я согласен: железо само по себе воевать не умеет. Но бьют-то нас все-таки железом и моторами.

— Наверное, Игорек, кой-чего у нас не хватает.

— Мозгов не хватает!

— К мозгам нужна и техника. Вот у меня сестренка. Еще сопливая. А уже по восемнадцать часов у станка вкалывает. Куску хлеба радуется. Я верю, что в тылу люди мучаются не напрасно. Будет и у нас железяк всяких... во как, выше головы! Только бы до Волги живым дойти, а пировать станем на Шпрее.

— Оптимист... голова садовая! Давай вот, топай...

Да, мы опять отступали. И до чего же обидно было нашим бойцам, когда они, едва живые после изнурительных маршей, позволивших оторваться от противника, потом разворачивали газеты и читали написанное: «на Юго-Западном фронте без перемен». Армия Тимошенко изнемогала, вся в крови и бинтах, а Москва еще боялась сказать народу горькую правду-матку, и солдаты злобно рвали газеты в лоскутья — на самокрутки.

— Во, заврались! Кажись, нам живьем надо самого Гитлера поймать да яйца ему отрезать, тогда увидят они перемены...

В немецких штабах были крайне удивлены: при таком страшном напоре и скорости продвижения ничтожно мало было русских пленных — не как в сорок первом! Из этого следовал вывод: наши рядовые бойцы, даже в самых тяжких условиях, все-таки научились сражаться, а вот их военачальники еще не овладели искусством войны... Самолеты эскадрилий Рихтгофена поливали колонны отступающих из пулеметов, сыпали на них пачки осколочных бомб, иногда с неба слышался такой страшный свист и вой, что даже отчаянные храбрецы вжимались в землю. Не сразу сообразили — что к чему, и скоро в колоннах хохотали:

— Надо же. На испуг нас берут. Колесами...

Да, для устрашения отступающих немцы иногда сбрасывали колеса тракторов из МТС, которые — в силу своей конфигурации — издавали почти немыслимые завывания.

— Хоть бы Волга-то поскорее, — говорили усталые.

— А на что она тебе, Волга-то?

— Говорят, там и остановимся. Чтобы — ни шагу назад.

— Это какой же умник тебе сказывал?

— Да начальник станции. Дядька начитанный. Умный...

Соседей зорко оглядывали — не затесался ли кто чужой? В та-

кое-то время всякое бывает. Заметили одного вихрастого, у которого в петлицах гимнастерки что-то непонятное было.

— Это что у тебя там обозначено?

— В петлицах-то? Так это — лира. Признак музыкальности.

— А сам-то, выходит, на лире играл?

— На трубе!

— А где труба-то твоя?

— Спрашиваешь! Скоро нам всем труба будет.

— Не каркай.

— А что?

— А то, что и по мордасам получить можешь...

Отступая, они еще и сражались (и немцы, угодившие в плен, на допросах признавались: «Это был ад... мы никак не ожидали встретить от вас, отступающих, такое сопротивление!»)...

. . . .

— Так где же вы были? — продолжали пытать Гурова.

— А откуда я знаю? — огрызался тот, явно смущенный...

Наконец сам Н. С. Хрущев спросил его об этом же.

— Маршал, — отвечал Гуров, — отыскал стог сена, забрался в него, бурку свою разложил и говорит мне: давай, мол, Кузьма Акимыч, посидим здесь, чтобы не приставали.

— Что? — удивился Хрущев. — Так и сидели в стогу?

— Да нет. Иной раз, завидев отступающих, маршал вылезал из сена и показывал, куда идти, где сворачивать.

— О чем хоть думали-то... в сено забравшись?

— Маршал сознался, что сил нет появляться в штабе, говоря: «А что там делать? Хозяин станет по ВЧ мытарить, а что я скажу в оправдание? Войск нет. От меня потребуют жесткой обороны, для которой сил нет...» Вот так и сидели!

— Хорошо хоть выбрались из этого стога, — сказал Хрущев. — А то ведь, знаешь, что я тут думал? И не один я.

— Догадываюсь, — согласился Гуров...

В тот же день, 9 июля, Тимошенко удалось залучить в Калач — к аппарату Бодо, и в разговоре со Сталиным маршал открыто и честно признал свое бессилие и слабость своих войск:

— *Над моей армией нависла серьезная опасность!*

Вот с этого и надо было начинать, а не отсиживаться на куче сена, разложив героическую бурку эпохи гражданской войны. Язык не повернется, чтобы в этом случае винить и Гурова в трусости (вспомним, как он на танке вырвался из котла под Барвенково — человек смелый!). Но появление Тимошенко в Калаче ничего не изменило: его фронт разваливался, маршал жаловался Сталину, что без подкреплений и авиации ни о каком отпоре противнику и речи быть не может.

— Враг очень силен, товарищ Сталин.

— А это я и без вас знаю, — грубо отвечал Сталин...

Наверное, в давних боях за Царицын маршал чем-то угодил Сталину, ибо даже сейчас голова его уцелела Тимошенко продолжал оставаться героем штурма линии Маннергейма. Но в Москве наконец-то поняли, что события на южных фронтах стали неуправляемы, а Семен Константинович, кажется, и не был способен управлять ими. В одном маршал был прав: немцы хотели его войска взять в кольцо окружения, а он из этого кольца выкручивался, отступая все дальше и дальше... А куда же дальше?

Южный фронт генерала Р. Я. Малиновского рискованно склонялся к Ростову, а войска Тимошенко отжимались Паулюсом за Дон; в рядах наших отступающих бойцов все чаще можно было услышать:

— Что ж это, земляки? Весною хотели из Днепра напиться, а сами уже за Дон тащимся. Гляди, так и до Волги недалече.

— А мы что? Мы люди маленькие. Скажут остановиться, мы и остановимся. Начальству виднее.

— Да где ты видел-то начальство? Лучше в газетку вчерашнюю глянь: на фронте у нас без перемен. Вот и получается, что там, наверху, ни хрена еще толком не знают...

Понятно, что им, рядовым труженикам военной страды, не дано было знать, что «там, наверху» — в ночь на 12 июля — родилась грозная директива Ставки № 170495: «Прочно занять Сталинградский рубеж *западнее* реки Дон и ни при каких условиях не допустить прорыва противника восточнее этого рубежа в сторону Сталинграда», — солдаты не знали, что в Ставке уже смирились с тем, что немцы займут излучину Дона, а им, солдатам, будет разрешено переплывать на восточный берег тихого Дона...

В ту же ночь фельдмаршал фон Бок, сильно встревоженный, вышел на связь с Гитлером и стал доказывать, что, пока Вейхс не разделался с Воронежем, дальнейшее продвижение к Сталинграду и на Кавказ опасно для вермахта:

— Мой фюрер, не забывайте о флангах, — напомнил он.

— Вы мне более не нужны! — отвечал Гитлер, взбешенный тем немаловажным обстоятельством, что какой-то там фельдмаршал осмеливается учить его, бывшего ефрейтора...

Словно предчувствуя, что сказано в директиве Сталина, Гитлер спустил директиву для Вейхса: «Не позволить противнику отступить на Восток и уйти через реку Дон...»

Сталин — разрешал, а Гитлер — запрещал!

Вейхс никогда не был заметным дарованием в рядах пышного генералитета немецкого вермахта, и он, человек умный, с оттенком грусти известил Паулюса, что именно отсутствие талантов выдвинуло его на высокий пост в такой напряженный момент, — Гитлер, по словам барона, сделал из него удобную пешку, а сам остался ферзем, от которого зависит и участь пешки.

— Фюрер запретил русским выкупаться в Доне, приказав задушить их в дуге большой излучины, но — посмейтесь, Паулюс, вместе со мною! — русские уже переправляются на левый берег Дона, никак не желая оставаться в пространстве этой излучины...

Немецкие «панцеры» генерала Альфреда Виттерсгейма уже ворвались в мирную Ольховатку, танкисты 14-го танкового корпуса, столь обожаемые Паулюсом за дерзость, мигом растащили с маслобоен все сливки и сметану — котелками и касками, они алчно заглатывали масло целыми кусками; отсюда оставалось всего 30 километров до Россоши, жители которой еще не подозревали о близости врага, наивно полагая, что они живут в глубоком тылу. Паулюс давно не улыбался, усталый.

— Барон, — сообщил он Вейхсу, — ожесточение русских накалено до такой степени, что моя пехота отказывается ходить в атаки без танков, а танкисты Виттерсгейма прежде запрашивают прикрытие с воздуха...

В тот же день, до предела насыщенный событиями, московские газеты вдруг перестали вспоминать Юго-Западный фронт, который был упразднен. Но газеты, подвластные жесткой цензуре, стыдливо умалчивали о том, что взамен исчезнувшему фронту Сталин распорядился образовать новый — СТАЛИНГРАДСКИЙ, командовать которым оставался опять-таки маршал Тимошенко. Довольный, что так случилось и больше не придется мотаться по пыльным шляхам, маршал, поникший от неудач, выбрался из легковой машины на площади Павших борцов....

— Ах, как здесь хорошо! — сказал Семен Константинович. — И словно нет войны. Даже, глядите, за пивом очередь... Сколько тут цветов! Ах, до чего ж я люблю запах цветущих акаций...

В газетах, чтобы людей не пугать раньше времени, Сталинград еще не упоминался, писалось о том, что наши войска планомерно вы-

равнивают свои позиции (отступая, добавлю я от себя), комсомолец Петухов двумя последними гранатами уничтожил два вражеских танка, прядильщицы Ивановского полотняно-ткацкого комбината взяли на себя новые социалистические обязательства по случаю геройских побед Красной Армии, а концерты латышской певицы Эльфриды Пакуль проходят с неизменным успехом... Ну, так и надо!

А в Сталинграде — правда — благоухали акации.

. . . .

В густой пылище утопали фронтовые грузовики, сплошь забитые ранеными, в кузовах иных машин везли солдат, столь утомленных, что они не просыпались даже от толчков на ухабах. Какие там дороги? Иногда шоферы гнали свои машины прямо по целине, а взрывы бомб или снарядов на поле подсолнухов осыпали бойцов тучами перезрелых семечек... Пыль, пыль, пыль — почти как по Киплингу! Эта пыль лежала на людях, словно плотное бархатное одеяло. Пить хотелось, только бы — пить...

— Немцы-то где? — вопрошали встречные.

— Да эвон... недалече отсель. Подпирают.

— Много их, паскудов?

— Бить — не перебить. На всех хватит. Диву даешься! Откуда в Германии столько мужиков здоровых набрали? Кажись бы, уж после Москвы — все ясно, наша взяла, ан нет... Хреново!

К отступающим присоединялись жители, обычно те, что помоложе, шли женщины с детьми, и солдаты брали детей на руки, а с матерями, шагавшими рядком, судачили о том о сем, беседуя житейски. В деревнях и станицах собаки уже не лаяли — привыкли к тому, что теперь много-много людей ходит туда и обратно, какой-нибудь Шарик или Жучка иногда для приличия гавкнет из-под забора, но тут же и хвостом завиляет, словно извиняясь за собачью невежливость...

Хлебные поля наливались колосом, который в этом году отряхнет свои зерна не в ладонь человека. Сады обогащались плодами, которые деревья роняли на землю, никого больше не радуя. И сама добрая мать-земля заново наполняла пустые колодцы водою, которую выпьют злые пришельцы. Однажды солдаты видели лошадь с оторванной ногою; стоя на трех ногах, она продолжала хрумкать травой. Потом заржала — прощалась. Плакать хотелось вчерашним мужикам от этого ржанья...

Жарища была — выше сорока градусов. Полуголые танкисты армии Гота высовывались из люков своих машин, на их груди качались уродливые амулеты, сулившие им бессмертие. Немецкая пехота шагала в нижних рубашках и трусах. Завидев колонны отступающих русских, немцы горланили еще издали — почти дружелюбно, совсем без воинственной злобы:

— Эй, рус, ком, ком... рус, капут! Сдавайс...

Нет, теперь-то русские им не сдавались. А скоро отступающие войска Тимошенко заметили, что не вровень с ними, а навстречу им, израненным и оборванным, двигаются новые войска — бодрые, уверенные, отлично обмундированные, идущие не шаляй-валяй, а чуть ли не в ногу — празднично. Словно не ведая того, что впереди ожидает враг, они смело шли неперекор общему потоку — на запад. Как тут не удивишься?

— Эй, куда вас понесло, братцы? Там уже немец.

— Ты и драпай дальше. А мы знаем, куда нам надо.

— Откуда вы, славяне? Какая армия?

— *Шестьдесят вторая...* непромокаемая, несгораемая!

Скоро на позициях приметили нового генерала. Еще молодой, курчавый, резкий в движениях, недоверчивый к докладам штабов, этот

генерал так и лез под огонь, чтобы все видеть своими глазами. При этом — даже в окопах — не снимал белых перчаток.

— Кто такой? — спрашивали вокруг с большим недоверием.

— Чуйков... наш генерал. Из Китая приехал.

— А зовут-то его как?

— Как и Чапаева — Василием Ивановичем.

— Чего это он в белых перчатках, как на параде?

— А бес его знает. Видать, фасон держит...

7. «СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ...»

Знойный день миновал. Чуть-чуть повеяло едва заметной прохладой. Поникла в полях пшеница, картофельные поля давно были вытоптаны инфантерией, размолоты гусеницами танков. В вечерней духоте жалобно попискивали степные суслики.

— А мы, кажется, заблудились, — сказал фельдфебель Гапке.

Его взвод с утра рыскал по бездорожью, отыскивая хутор Поливаново, два вездехода марки «Кюбель» тарахтели за ним, иногда посвечивая фарами. Гапке вдруг широко раздул ноздри:

— Клянусь, здесь кто-то жарит печенку.

Тут и все солдаты принюхались:

— Наверняка кукурузники... жрут, как всегда.

Заглянули в ближайший овраг — точно! Там горел костерок, а румынские солдаты жарили на вертеле печенку.

— Эй, откуда у вас такая роскошь? — окликнули их немцы.

— Лошадиная! Румыния всегда славилась кавалерией.

— А на чем поедешь, если лошадь осталась без печенки?

— На ваших грузовиках. Мы уважаем немецкую технику.

— Вы слишком сообразительны! — хохотал Гапке. — Техника не для вас. Впрочем, гони сюда печенку, пока она не подгорела, а мы устроим вам плацкартные места в нашем «Кюбеле» без брезента.

Кроме румын, хорватов и мадьяр, к 6-й немецкой армии примыкали, почти растворяясь в ней, войска итальянской армии. Паулюс не торопил Гарибольди, держа союзников подальше от передовой, не слишком-то им доверяя. Неизвестно, кто распустил слух, будто немцы скоро вооружат итальянцев новейшим электропулеметом.

— Кто их знает? — сомневались итальянские солдаты. — От немцев всего ожидать можно. Если они даже изобрели такой пулемет, то нам-то что с него?

— Интересно, — тут же возник вопрос, — если пулемет электрический, то куда включать штепсель в этой унылой степи?

— Как куда? Втыкай себе под хвост, и тогда пулемет будет работать безотказно, а каждая фасолина попадет в цель.

— Не так-то все просто, компаньо, — шутили другие. — Если вставить вилку кому-то из нас, ничего не получится. Пулемет стреляет только в том случае, если получит энергию из задницы верного члена нашей партии... Лучше всего его включать сразу под хвост нашего славного Итало Гарибольди!

(Когда эти итальянцы попадали к нам в плен, пришлось поломать головы в наших штабах, ибо из их показаний было трудно понять, о каком «новом секретном оружии» идет речь и где главный источник питания этого пулемета.)

Положение вермахта считалось устойчивым, в победе над Россией немцы не сомневались. Личные вещи убитых сразу отсылали родным (на память), личный жетон убитого квартирмейстеры переламывали пополам, одну половину его бросали в могилу, а вторую часть жетона отсылали в штаб — для документации. Даже в моменты фронтовых

кризисов немецкие солдаты регулярно получали отпуска домой. В Кракове им выдавались особые «подарки фюрера», это были стандартные пакеты, в которых к награбленному в России добавлялись продукты из ограбленной Европы: бутылки французского вина, масло, кофе, банка сардин, шоколад, сигареты «Юно» и прочее. Являясь домой, фронтовик невольно ощущал себя в голодной семье неким «сеньором войны».

Впрочем, солдат мог получить отпуск и вне всякой очереди. Для этого надо было подбить русский разведывательный самолет «У-2» или «ПО-5», которые немцы прозвали «кафемюлле» (что значит «кофейная мельница»). Как только по ночам над позициями начинали стрекотать эти тихоходные самолетики, все немцы хватались за оружие:

— А, русс-фройлен! Проклятые русс-фанер...

Эти самолеты вели русские летчицы, и они, как бы зависая в воздухе, точно клали свой груз, способные, казалось, попасть бомбой даже в печную трубу. Вот немцы и палили! Чтобы получить железный крест или недельный отпуск с «подарком фюрера».

А кому, спрашивается, не хочется побывать дома?

. . . .

Шестая армия Паулюса впервые применила новое оружие вермахта — шестиствольные минометы, поражающие сразу большие площади, наносившие большой урон нашей пехоте.

— Прекрасно! — восторгался Шмидт. — Силы нашей армии мощной глыбой нависли над армиями Тимошенко, и маршал спешно отводит полуокруженные войска, боясь их полного оцепления.

— Вот это-то и плохо, что он их отводит. Фюрер заинтересован не в отступлении, а в уничтожении живой силы противника... Кто сейчас торчит перед нашим носом? — спросил Паулюс.

— Двадцать первая армия русских.

— Я не о номере — кто ею командует?

— Генерал-майор Гордов.

— Не знаю такого. Видер! Дайте о нем аннотацию...

Иоахим Видер доложил: В. Н. Гордов десять лет назад окончил Военную академию, был на штабной работе, отличается неуживчивым характером, авторитетом среди подчиненных не пользуется.

— Шмидт, где сейчас ролики четырнадцатого корпуса?

— Виттерсгейм в движении к югу от нас.

— Разверните его на меня, — велел Паулюс. — И пусть молодчага Виттерсгейм ударит по Гордову так, чтобы этот неуживчивый генерал потерял последние остатки авторитета...

21-я армия была раздавлена. Гордов первым отвел войска на левый, восточный, берег Дона, когда другие наши армии еще сражались на западном (в предполье большой излучины Дона). В два часа русской тягостной ночи Берлин отмечает полночь; в это время по радио комментировались дневные сводки ОКВ, звучали радостные фанфары, диктор предупреждал: «Внимание, говорит Ганс Фриче, все слушайте Ганса Фриче...» Фриче заполнял эфир трескучей буффонадой о подвигах 6-й армии Паулюса:

— ...мне трудно говорить, — притворно задыхался он, как астматик, у своего микрофона (будто и в самом деле не мог дышать от дыма сражения). — Моя радиоустановка не успевает следовать за бросками армии, преисполненной пламенной верой в своего народного полководца. Поверьте, они едины — и сам Паулюс, и его гренадеры, каждым шагом утверждающие в русских степях могущество непобедимых идей нашего великого фюрера. Враг растерян. Враг бежит. Враг мечется в безумных поисках выхода...

Снова шли письма от Лины Кнауфф из далекого Касселя, и это было Паулюсу даже неприятно, а из Берлина звонила жена, милая Коко, поверившая в радиоболтовню Ганса Фриче. В эти же дни капи-

тан танковых войск вермахта Эрнст-Александр Паулюс вернулся из отпуска, который провел в Предеале, на климатическом курорте Румынии. Вид отца поразил его — лицо Паулюса, дочерна загоревшее, словно обугленное, было покрыто множеством морщин, напоминая старинный фарфор в мельчайших трещинах. Изложив домашние сплетни о бухарестских родичах, сын просил:

— Мой румынский дядя хотел бы, папа, чтобы ты позаботился о румынских частях, которые снабжаются хуже наших... А правда ли, что мы в этом году можем зимовать в Месопотамии, где тоже богатые нефтепромыслы?

Паулюс нехотя отвечал сыну, что до мосульской нефти в Ираке еще далеко, а нефтяные вышки Майкопа откроются перед вермахтом сразу за Ростовом, который еще предстоит взять:

— Впрочем, это забота не моей армии, а фельдмаршала Листа и Клейста с Готом, а мне предстоит брать Сталинград, после чего мы спустимся вниз по Волге — до Астрахани. Включи радиоприемник, пришло время послушать истерику Ганса Фриче...

Это случилось 3 июля, когда Ганс Фриче умолк.

— Странно, — сказал Паулюс. — Странно и даже любопытно бы знать, кто из великих мира сего заткнул его пробкой...

Через день советская авиация АДД (авиация дальнего действия) сожгла склады горючего, упрятанные на дне глубоких степных оврагов, и Паулюс потерял присущее ему хладнокровие.

— Это уже из области мистики! — воскликнул он, досадуя. — Какое роковое совпадение! Я застрял с пустыми баками в тот же самый день, когда опустели баки и танков Роммеля, выскочившего к оазисам Эль-Аламейна. Но, лишив меня горючего, русские обеспечили себе тактическую передышку...

5 июля его армия форсировала Оскол, а Шмидт напомнил:

— По планам «Блау» нам осталось лишь двадцать дней до взятия Сталинграда, но, кажется, мы в сроках опаздываем.

— Шмидт! — обозлился Паулюс, сорвавшись в крик. — Играйте со своим чертиком, а не листайте календарь, словно невеста, высчитывающая, сколько ей осталось дней до блаженной свадьбы...

7 июля вся мощная группировка армий «Юг» была разделена Гитлером по двум стратегическим направлениям: группа армий «А» фельдмаршала Листа была нацелена точно на Кавказ, а группа армий «Б», подчиненная Вейхсу, устремлялась в большую излучину Дона; 6-я армия Паулюса стала главным колющим оружием, она стала и как бы тяжеловесным молотом, чтобы ударом в сердцевину великой русской реки разрушить кровообращение всей экономики России, чтобы пресечь все связи России с югом...

Общее руководство группами «А» и «Б» взял на себя Гитлер!

Паулюс в это время находился в Миллерово, зловонном от гниения трупов, и он уже начинал понимать то, что понял и Франц Гальдер в тихом уютном Цоссене, благоухающем резедою (оба они мыслили одинаковыми стереотипами). Но беспокойство Паулюса усилилось, когда его навестили командиры дивизий — Отто Корфес, Мартин Латтман, Арно фон Ленски, и по лицам этих генералов он догадался, что предстоит серьезный разговор.

Начал его, как и следовало ожидать, «доктор» Корфес, сначала заговоривший о бескрайних русских пространствах:

— Оставим в покое прах Клаузевица, писавшего о непреодолимости этих пространств. Сейчас нас волнует иное. Шестая армия, по сути дела, путешествует к Сталинграду, образуя перед собой коридор, она растянулась на десятки километров в безводной степи, а после того как фюрер отнял у нас танковую армию Гота, мы остались лишь с танковым корпусом Виттерсгейма.

(Об этом же тревожился Гальдер, примерно так мыслил и сам Паулюс, но сейчас ему надо было оправдать... Гитлера.)

— Пожалуй, — отвечал Паулюс, — это верное решение фюрера, ибо Гот и Клейст в нижнем течении Дона скорее разберутся с Ростовом, открывающим путь к Майкопу.

Неожиданно не Корфес, а Мартин Латтман стал возражать.

— Любопытно! — заметил он. — Где и когда наш фюрер постиг алгебру научной стратегии? Не тогда ли, когда в пивной Мюнхена его боевые соратники дрались пивными бутылками?

Паулюс резко ответил, что хорошо знает Гитлера:

— Я не согласен с вами; да, фюрер мало знаком с законами стратегии, но ее суть ощущает интуитивно, а все неприятности на фронте предчувствовал заранее, как женщина приближение менструаций.

...Обладай Паулюс подобной же интуицией, и он уже тогда понял бы, что его навестили не просто сомневающиеся генералы, которых легко уговорить, нет, его навестили люди, думающие иначе, нежели думал он, и эта разница в мыслях скажется не сегодня, а когда он будет сидеть в подвале сталинградского универмага, а Шмидт станет щелкать перед ним своим «чертиком»...

Командиры дивизий переглянулись. Отто Корфес прекратил этот бесполезный разговор, поднимаясь, чтобы уйти, и вдруг он припомнил строчки Гейне, которые и произнес... для кого?

Но берегитесь — беда грозит.
Еще не лопнуло, но уже трещит.

— Это вы... мне? — вскинулся Паулюс.

— Не персонально! Это я сказал для всех нас...

. . . .

На тыловую станцию Россошь прибыл эшелон с советскими офицерами из резерва, чтобы пополнить кадры полков и дивизий. Все выглядело мирно. Внезапно ворвались немецкие танки с мотопехотой, пассажиры были перебиты в вагонах. Конечно, война слишком жестокая вещь. Но, согласитесь, все-таки страшно видеть целый состав пассажирских вагонов, в которых — сплошь мертвые.

— Пленных не было, — браво доложил Виттерсгейм. — Они, правда, отстреливались... по танкам... из пистолетов!

Паулюс почти любовно оглядел стройную фигуру Виттерсгейма, который с каждым днем нравился ему все больше, и он, кажется, уже тогда предчуял, что именно ему, командиру 14-го танкового корпуса, предстоит решить если не главные, то во всяком случае *исторические* задачи у Сталинграда. Но, верный своим принципам — быть со всеми одинаково любезным, он ничем не выдал своего фавора к Виттерсгейму.

— Вызовите похоронную команду, — велел Паулюс квартирмейстеру. — Все-таки это не солдаты, а... офицеры. Надо освободить эшелон от трупов, ибо у нас как раз не хватает вагонов.

При этом он сам недоумевал: как мог этот состав залететь в тыл его армии, неужели русские совсем не понимают обстановки?

— Понимают, — ответил Кутченбах, — но у них есть такой наркомат путей сообщения, который никогда не ладит с Генштабом.

Генерал Эрих Фельгиббель, давний приятель Паулюса, держал на русском фронте сразу шесть полков радиоперехвата и радиоразведки; дешифровкой ведали ученые Геттингенского университета, видные математики и лучшие немецкие шахматисты. Круглосуточно прослушивая эфир, пеленгаторы фиксировали все переговоры русских, даже ничтожные (иногда нашему радисту стоило лишь коснуться ключа, как он сразу был засечен). В один из дней Фельгиббель навестил Паулюса, поздравив его с победами.

Но сразу же заговорил о расчленении армий «Юг»:

— Этим мы показываем русским детскую «буку» на растопырен-

ных пальцах... Испугаем ли мы их сейчас? Нет ли у тебя, дружище, предчувствия неотвратимой катастрофы?

— Оно было у меня в прошлом году, — ответил Паулюс.

Ответ друга был слишком уклончивым; неудовлетворенный им, Фельгиббель увлекал Паулюса в опасные дебри политики:

— Фриди, как ты относишься к словам Сталина, что Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остаются?.. Не кажется ли тебе, что Сталин выразил то, что может многое перевернуть в сознании немцев? На меня, признаюсь, эти слова произвели сильное впечатление.

Ответ Паулюса был для Фельгиббеля неожиданным:

— Мне думается, что этими словами Сталин признал свое поражение, давая понять Гитлеру, что если он отодвинет вермахт на старые границы, то Германия останется им нетронута.

— Странный ответ! — причмокнул Фельгиббель. — Но в чем-то, дружище, ты и прав, наверное. Неужели Сталин давал нашему фюреру аванс, как бы обещая, что он не собирается уничтожать диктатуру нашей партии, а задачи московского Кремля — только в том, чтобы изгнать нас, немцев, с захваченных русских земель?..

Паулюс догадался, куда заманивает его приятель, но эти дебри политики всегда опасны, а потому он поспешно извинился, что никак не может уделить другу должного внимания:

— Я слишком занят. Прости и не обижайся... Голова разламывается от грохота телетайпов, глаза устали видеть постоянно прыгающую зеленую «лягушку»...

Все чаще он покидал раскаленный от солнца «фольксваген»; мучимый жаждой и жарищей, не раз просил раскинуть в степи палатку, в тени которой и разрешал оперативные вопросы. Его наблюдательный адъютант писал: «Критически мыслящий генштабист, Паулюс не мог не заметить слабости и авантюризма гитлеровской стратегии. Его это тревожило, терзало... он надеялся, — писал В. Адам, — исправить упущения и просчеты верховного командования... Только бы он не сдал физически — выглядел он больным».

— Шмидт, — спрашивал Паулюс, — не кажется ли вам, что наши удары предназначены для колебания атмосферы? Главная цель — окружение и уничтожение живых масс противника — остается недостижима. Русские увертываются от ударов, как опытные боксеры на ринге. Я объезжал поля битвы — где же убитые? Их ничтожно мало. Я пролетал над дорогами — где же колонны пленных? Их не видно. Я надеялся видеть горы брошенного оружия. Но всю технику, даже тяжелую, русские утаскивают за собою...

Шмидт поиграл зажигалкой:

— Все равно — мы наступаем. Мы наступаем, а не они! Я уже вижу себя в зимнем Бейруте — ожидающим, когда от Нила приползут танки вашего приятеля Роммеля...

Паулюса обескуражил доклад Вольфрама Рихтгофена:

— В моих самолетах разорвана монтажная система, некоторые приборы выведены из строя. Но это — не диверсия, а работа степных грызунов, которые по ночам шарят в кабинах пилотов, словно воришки в карманах у спящих пьяниц.

Одновременно стал жаловаться и Виттерсгейм:

— Мои танки застряли у станицы Боковской. Суслики и степные мыши шныряют внутри танков, как в погребах, пожирая изоляцию, выводят из строя электротехнику. Легче всего поставить часовых. Но не могу же я, черт побери, ставить у каждого танка по дюжине мышеловок.

Паулюс обмахнул пот с изможденного, худого лица.

— Тоже... партизаны! — сказал он. — Кажется, сама русская природа ополчилась против нас. Даже грызуны делают все, чтобы мы око-

лели тут, как проклятые... Что ты здесь околачиваешься? — при всех накричал он на своего сына. — Марш на фронт! Твое место сейчас — впереди батальона...

Паулюс сознательно не держал сына при себе, дабы в армии не возникало излишних пересудов и нареканий. Он не мог знать, что потери Красной Армии в это лето были *меньшими* по сравнению с потерями вермахта (узнай Паулюс об этом, он был бы безмерно удивлен). Но он сам чувствовал, что его потери чересчур велики. Квартирмейстер 6-й армии фон Кутновски, пожимая плечами, известил Паулюса, что в его армии, когда-то полнокровной, сейчас едва насчитывается 170 тысяч человек, в некоторых ротах осталось по 40—60 солдат:

— Остальные убиты или госпитализированы.

Это настолько потрясло Паулюса, что он срочно вызвал к себе главного врача армии, профессора и генерала:

— Ренольди, отчего такая убыль в моих войсках?

— Дело не только в убитых и раненых. Солдаты валятся на маршах, как снопы. Резко подскочил процент сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных поносов. Наконец появились первые признаки степной туляремии от невольного общения со степными грызунами. К этому добавьте легионы мерзостных вшей, и картина, достойная кисти гениального Менцеля, будет дописана до конца...

Вскоре стало известно, что Ганс Фриче крепко запил.

— В такую-то жарищу? — удивился Паулюс.

Одетый в безрукавку, он сидел за столом, вкопанным в землю, степной ветер загибал края оперативных карт, обгрызенных ночью степными мышами. Он машинально пронаблюдал, как в сторону Дона проплыли эскадрильи Рихтгофена, отягощенные многотонным бомбовым грузом, чтобы обрушить его на крыши Сталинграда. За этим же столом зять Кутченбах деревянной ложкой поглощал из тарелки простоквашу.

— Была причина напиться, — сообщил он, — Фриче так влетело от Геббельса, что у него искры из глаз посыпались...

Оказывается, комментируя сводки ОКВ, Фриче перехвалил Паулюса как блистательного полководца. Геббельс устроил Фриче скандал: признавая заслуги Паулюса, никогда нельзя забывать, что Гитлер — полководец, и он лучше своих генералов знает секрет победы, а генералы лишь исполнители его предначертаний. Паулюсу вся эта история была крайне неприятна, и он поспешил избавить армию от Фриче, который и упорхнул в Берлин — извиняться перед шефом. Вскоре после этого случая заявился при штабе генерал Гейтц, который, памятуя о своей службе в военных трибуналах, не потерял прокурорской бдительности.

— Я глубоко уважаю вашего друга Фельгиббеля, но вчера в разговоре с генералом Гартманом он позволил себе нескромные выражения о нашем фюрере. В условиях фронта это... опасно!

Паулюс поручился за своего друга:

— Стоит ли заострять углы, и без того острые? Геббельс простил Ганса Фриче за нескромность в отношении меня, а мы простим Фельгиббеля за нескромность в отношении фюрера.

В большой излучине Дона сопротивление русских резко возросло, темпы наступления 6-й армии явно замедлились.

— Мы выбиваемся из графиков,— забеспокоился Паулюс.— Неужели двадцать пятого июля не сделаем русским «буль-буль» в их родимой Волге?

— Я предлагаю,— сказал Шмидт, — за счет ослабления флангов усилить нажим в центре общей дирекции на Сталинград.

— Пожалуй, разумно... хотя и рискованно! Наши боевые порядки уже потеряли оперативную плотность. Дивизии стали расползаться по фронту, как перегнившие тряпки — по ниточке.

В пустотах брешей на картах Шмидт аккуратно вписывал утешительные слова: «Боевая группа заполнения разрыва». Но этих «боевых групп» никто не видел... Паулюс сомневался:

— Кого мы обманываем, Шмидт? Неужели себя?

— Скорее — ОКВ... надо же давать Кейтелю хороший материал для сводок по радио. Пусть там знают: фронт прочен.

— Не слишком ли это авантюрно, Шмидт?

— Ах! Чем только мой чертик не шутит...

Солдаты рвали из рук друг друга карты:

— Где тут станица Цимлянская? Говорят, там такие шипучие вина, как шампанское, потом два дня — волшебная отрыжка...

. . . .

12 июля танки вломились в Миллерово. Паулюс прибыл в этот городишко, когда в нем царил полный разгром. Почти все дома разбиты, заборы обрушены. На улицах полно раздавленных всмятку людей, попавших под гусеницы «панцеров». Кутченбаха при виде такого зрелища мучительно вырвало. Паулюс сказал:

— Все танками... опять танки! Что бы я без них делал? А все-таки генерал Альфред Виттерсгейм большой молодец...

Город гудел от пожаров. Автоматчики разбивали витрины магазинов, выкидывая на улицы груды белья и одежды, потом ковырялись в них, отбирая для себя все лучшее.

Полковник Адам уже приготовил для Паулюса более или менее приличную квартиру в доме, не пострадавшем от огня и разбоя. Кутченбах стал хлопотать у самовара. Паулюс морщился:

— Черт, что-то мне было надо, но я забыл... А! Вспомнил. Я не закончил разговора с Фельгиббелем, где он?

Выяснилось, что лучший приятель улетел в Берлин, даже не соизволив с ним попрощаться. Паулюсу это было неприятно:

— Эрих всегда был так вежлив, так любезен...

Только потом (год спустя) Паулюс догадался, что Фельгиббель посещал его 6-ю армию по причинам более серьезным, нежели техническая проверка станций радиоперехвата. Фельгиббель уже тогда вписал свою биографию в число генералов-заговорщиков против Гитлера, чтобы избавить Германию от фюрера, но... сам задохнулся в петле. Фельгиббелю и было поручено прощупать политические настроения Паулюса — нельзя ли и его, столь авторитетного в вермахте, перетянуть в лагерь генеральской оппозиции? Но покинул 6-ю армию, даже не попрощавшись с Паулюсом, ибо Фельгиббель убедился, что его друг остается верным паладином того режима, который его выпестовал и возвеличил... Да, читатель, Паулюс по-прежнему, как и в былые времена, держал «руки по швам»!

Его эсэсовский зять, барон Альфред Кутченбах, уже завел патефон, поставил на диск русскую пластинку, сказав:

— Это очень хорошая песня. Вы слушайте, а я стану для вас переводить: «Степь да степь кругом, путь далек лежит...»

Кутченбах сразу покорил хозяина дома своим превосходным знанием русского языка, вызвав его на откровенность.

— Давай, отец, забросим политику к едреней фене, — дружески сказал он старику. — Если говорить честно, так я понимаю вас, русских. Вам сейчас обидно и тяжело. Но со временем, когда вся эта заваруха закончится нашей победой, ты сам будешь благодарить нас, немцев, за тот новый порядок, который мы вам несем... Поверь! Так оно и будет.

Ответ домовладельца обескуражил Кутченбаха:

— Нешто вам, немцам, кажется, что вы принесли на святую Русь «новый порядок»? Да у нас-то, слава те, Хосподи, и старый порядок неплох был. Вспомню былое, так ажно душа замирает. При царе-батюшке у нас от городовых на улицах порядка было больше, нежели от вашего фюрера...

Паулюс вышел на двор и, оглядевшись, стал мочиться возле разрушенного русского блиндажа. Из развороченных бревен, прямо из земли, будто она росла там, торчала рука человека, а на руке — часы, и было видно, как стремительно мчится секундная стрелка часов по циферблату, а пальцы руки еще шевелились...

«Неужели живой?» — удивился Паулюс и еще раз огляделся.

8. ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ

Близится роковое число — 23 августа, а я по-прежнему далек от желания описывать подробности, свойственные научным монографиям, вроде того, что 217-й стрелковый полк занял хутор Ивановку, а 136-я пехотная бригада отодвинулась в северо-западном направлении. Как бы ни были ценны такие подробности для военных историков, но главное все-таки — люди, сама жизнь человека, его нужды и радости, сомнения и страдания...

Не буду оригинален, если скажу: нам бы никогда не выиграть этой страшной войны, если бы не русская женщина. Да, тяжко было солдату на фронте, но женщине в тылу было труднее. Пусть ветераны, обвешанные орденами и медалями, не фыркают на меня обиженно. Мы ставим памятники героям, закрывшим грудью вражескую амбразуру,— честь им и слава! Но подвиг их — это лишь священный порыв краткого мгновения, а вот каково женщине год за годом тянуть лямку солдатки, в голоде и холоде, трудясь с утра до ночи, скитаясь с детьми по чужим углам или живя в бараках на нарах, которые ничем не отличаются от арестантских.

Не возражайте мне, ветераны! Не надо. Лучше задумаемся. Мы-то, мужики, на одном лишь «геройстве» из войны выкрутились, а вот на слабые женские плечи война возложила такую непомерную ношу, с какой и могучим Атлантам не справиться. Именно она, наша безропотная и выносливая, как вол, русская баба выиграла эту войну — и тем, что стояла у станков на заводах, и тем, что собрала урожай на полях, и тем, что последний кусок хлеба отдавала своим детишкам, а сама сметет со стола последние крохи, кинет их в рот себе — и тем сыта оставалась...

Думаю, неспроста же в те военные годы и сложилась горькая притча-байка, которую сами женщины о себе и придумали:

Ты и лошадь, ты и бык,
Ты и баба, и мужик!

До войны сытен был хлеб, политый потом колхозниц, этих подневольных рабынь «победившего социализма», но вдвойне горек был хлеб, политый женской кровью. Они-то этого хлеба и не видели вдосталь, отдавая его солдату на фронт, опять-таки нам, мужикам с винтовками. Где же он, памятник нашим женщинам? И не матери-героине, не физкультурнице с неизбежным веслом, не рекордсменке в комбинезоне, а простой русской бабе, которая на минутку присела, уронив руки в тоске и бессилии, не зная, как прожить этот день, а завтра будет другой... и так без конца! Доколе же ей мучиться?

. . . .

С утра пораньше Чуянов навестил аэродром в Питомнике — как раз к побудке летчиков, которых оживляли командою:

— Эй, славяне! Ходи на уборку летного поля...

С метелками в руках, выстроясь в одну шеренгу, летчики, штурманы и стрелки-радисты голиками подметали взлетные полосы, столь густо усеянные рваными и острыми осколками, что ими не раз повреждались шины колес при взлетах и посадках.

— Бомбят вас, ребята? — спрашивал Чуянов.

— Да не очень. Рихтгофен больше сыплет на отступающих к Дону да на город кладет... Жить можно!

Но Чуянов-то понял, что житуха у них плохая. Самолетов мало, нашей авиации было ой как трудно противостоять мощному воздушному флоту Рихтгофена, а потерь много... Потом, побросав голики, летчики выстраивались перед столовой.

— У нас две очереди,— невесело шутили они.— Кому в боевой полет — кому в столовку, где дают кислую капусту в различных вариациях, и только компот еще из нее не варят. А на капусте из крутого пике не выбраться да и виражи опасны...

Может, и шутили, кто их знает? Но Алексей Семенович воспринял эту шутку как издевательство над людьми, которые каждый день — с утра до ночи — рискуют своей головой, и, едва вернувшись в обком, сразу же распорядился, чтобы мясобойни города каждый день слали лучшее мясо в Питомник.

— И чтобы колбасы не жалели! — кричал он в трубку телефона.— Кому так в три горла пихаем, а героям сталинградского неба капусту кислую... Стыдно. Очень стыдно.

Днем в здание обкома партии вдруг ворвалась с улицы страшная собака: шерсть вздыблена, как у волка, глаза горят, скачет с этажа на этаж, мечется по коридорам, чего-то ищет, секретарши с визгом запрыгали на столы, мужчины кричали:

— Безобразие! Кто пустил сюда зверя? Эй, охрана!

Алексей Семенович Чуянов вышел из кабинета:

— Позвоните на СТЗ,— указал он спокойно,— кажется, эта овчарка из той злобной своры, что завод охраняла...

Выяснилось, что после бомбежки охрана СТЗ действительно не досчиталась сторожевых собак, вот одна из них и заскочила в обком партии, а Чуянов зверье любил.

— Эй! — позвал псину.— Как зовут тебя?.. Допустим, что Астрой. Ну, Астрочка, иди ко мне. Не бойся.

Шерсть на овчарке прилегла, она тихо поскулила и доверчиво подошла к человеку. Чуянов храбро запустил пальцы в загривок собаки и потрепал ей холку.

— Ладно,— сказал он.— Сейчас тебя отведем в столовую, где объедки сыщутся, накормим, а потом...

Потом эта страшная зверюга, готовая разорвать любого, вдруг лизнула Чуянова в руку и покорно, как дворняжка, побежала за ним в столовую. С того же дня она стала отзываться на кличку Астра... Секретарь обкома стал для нее хозяином!

— Ладно,— сказал хозяин,— там вчера фрица подбили. Герасименко звал на допрос его... Съезжу. Скоро вернусь.

В штабе Сталинградского военного округа он слушал, как проходит допрос немецкого аса, прыгавшего с парашютом из горящего бомбардировщика — прямо на крыши окраинной Бекетовки.

— Вы из четвертого воздушного флота Рихтгофена?

— Нет. Из второй воздушной армии Кессельринга, которая обслуживала африканский корпус фельдмаршала Роммеля.

— Что-то не верится. Назовите аэродромы.

— Пожалуйста. Бари. Палермо. Бенгази. Эль-Газала.

— Как же вас занесло на Волгу? — вмешался Чуянов.

— Роммель застрял под Эль-Аламейном, а бомбежки по базам Мальты отложены. Английское командование само просило нас об этом — для эвакуации своих госпиталей. А нас отправили в Россию, чтобы помочь армии на Дону и на Волге.

Все это было странно, и настроение, и без того поганое, ухудшилось. Чуянов вернулся в обком, где его поджидал Воронин.

— Ну, что хорошего? — спросил, думая о своем, Чуянов.

— У нас хорошего мало. Вон за границей, мне читать приходилось, даже через океаны провода тянут, а... у нас?

— Что у нас?

— Дерьмо собачье! Кабеля нет, чтобы воду не пропускал. Сегодня проложат через Волгу полевой кабель, а завтра, глядишь, меняй снова: изоляция уже намокла и сдала...

Еще хуже было на восточном берегу Волги: там до Баскунчака и Астрахани — столбы с проводами; немецкая авиация даже бомб не тратила, сбрасывая на линии связи и высоковольтные провода железнодорожные рельсы и шпалы, «бомбила» их обрезками водопроводных труб и швыряла пустые бочки... Воронин сказал:

— Сегодня рано утром маршал Тимошенко с Хрущевым приехали. Удивлялись, что у нас пивом торгуют... Вы, говорят, живете так, будто и войны у вас нету. Лучше, чем в Москве!

Тимошенко появился в Сталинграде 13 июля, и Никита Сергеевич, улучив минуту, шепнул Чуянову на ухо:

— Ну ни в какую! Едва вытащил. Товарищ Сталин сам указал, чтобы сидел в Сталинграде, а он... сам не знает, чего хочет!

Чуянов заметил в Тимошенко некоторую «нервозность», вполне оправданную для его положения, но выглядел он (или желал таким казаться) излишне самоуверенным, любезно пригласив Чуянова вечером к ужину. Надо полагать, маршал переживал большую человеческую трагедию. Хотя, если судить честно, во всем происходящем на фронте он мог бы винить только себя, и теперь каждый удар противника должен бы восприниматься им как справедливый удар судьбы, жестоко мстившей ему за прежние просчеты. Ведь ему, довоенному герою, всегда казалось, что он будет лихо побеждать врагов на чужой территории, а вместо этого очутился на берегах великой русской реки... По делу.

Маршал задал только один вопрос:

— Когда будет наплавной мост через Волгу?

— Военные обещают навести его где-то в конце августа.

— А до войны что, ума не хватало?

— У меня хватало. Я писал кому надо, чтобы подумали, но... есть выше начальники.

— Кругом начальники,— буркнул маршал...

Побывав дома, Чуянов на минутку заскочил к Герасименко — его штаб военного округа располагался как раз напротив универмага (того самого, в подвале которого потом сдался победителям Паулюс). Поговорили, а говорить было о чем. Сейчас на СТЗ все цеха и дворы были заставлены танками, вытащенными с поля боя. Теперь их спешно ремонтировали, рабочие сами обкатывали машины на заводском полигоне, став за это время опытными танкистами. Герасименко рассказывал:

— Притащут такую гробину с передовой, а внутри — снаряды, гранаты, оружие... Ну, разбирают меж собой. Иные домой тащут. Иногда же люк открывают — там одни черные скелеты, уже обгорелые.— Герасименко жаловался, что к отступающим примазываются агенты абвера или диверсанты.— По-русски болтают не хуже нашего... Все время шлют истребительные батальоны. Кого поймают, кого шлепнут. Там, в станицах, такая кутерьма сейчас — не приведи бог! А людей можно понять: одни бегут, другие остаются. Ведь сколько лет наживали, там телега еще от деда, а икона еще от прабабки... Без слез все не бросишь. Жалко!

Чуянов заговорил совсем о другом:

— А все-таки странный человек маршал Тимошенко! Другой бы на его месте в дугу от стыда согнулся, а Тимошенко ходит гоголем, грудь колесом, с него — как с гуся вода. Никак не пойму, почему товарищ Сталин одних жестоко карает за ничтожные промахи, а другие, с ног до головы виноватые, остаются командовать фронтами...

Василий Филиппович Герасименко тридцать седьмой год хорошо помнил. И даже крякнул, прежде чем ответить.

— Не наше то дело,— сказал, осторожничая.— Тут и без маршала виноватых хватает. Привыкли мы думать, что умнее нас да сильнее никого нет на белом свете. Вот за это проклятое зазнайство теперь и расплачиваемся.

— Неужели немцы способны выйти к Волге?

— Что там! — отмахнулся генерал. — Под мудрым руководством товарища Сталина мы растопчем врага в излучине Дона, но никогда не допустим его в город, носящий имя великого вождя...

«О, господи!». Чуянов, хотя и был партийным работником высшего ранга, но от подобной выспренности оставался далек. Неприятно ему было и то, как вел себя Тимошенко за ужином, провозгласив нечто вроде тоста, сейчас попросту неуместного:

— Мы, большевики,— сказал он,— преодолеем все трудности на пути к победе, мы не остановимся на достигнутом...

«Уж молчал бы... дурак он или, наоборот, очень хитрый, но дураком притворяется?» — размышлял Чуянов, наблюдая за маршалом.

На другой день вся Сталинградская область была переведена на военное положение. Заводские рабочие перешли на казарменное (с выдачей пайков по месту работы). Город по-прежнему утопал в зелени, цвела и благоухала акация. В киосках «пиво — воды» продавали бочковое пиво, что особенно удивляло фронтовиков — глазам своим не верили.

— А нам можно? — робко спрашивали они продавщицу.

— А почему бы и нет? Или вы не люди?

. . . .

Не люблю я высоких слов, но все же скажу: в народе не сомневались в конечной победе, хотя люди уже понимали, что цена победы будет высокой и пилотками немецкие танки не закидаешь. А середина июля примечательна в истории войны: только теперь (!) Сталин начал догадываться, что целью нового «блицкрига» был не захват Москвы (операция «Кремль»), а продвижение вермахта к Сталинграду и на Кавказ. Василевский осенью 1965 года, когда многое отболело в нашей душе, вспоминал:

«Предвзятое, ошибочное мнение о том, что летом основной удар противник будет наносить на центральном направлении, довлело над Верховным Главнокомандующим вплоть до июля...»

Многое в это лето сложилось бы иначе, если бы Сталин не был таким упрямым!

Теперь днем и ночью грохотали на стыках рельсов воинские эшелоны.

Подолгу стояли на полустанках старушки, спрашивали:

— Кудыть вас, сердешных, гонят-то?

— Дорога, мамаша, теперь одна... на фронт!

— Ну, помилуй вас Бог, сыночки родимые...

Ехали, ехали, ехали. Двери товарных вагонов распахнуты, а в них, свесив ноги в обмотках, солдаты, солдаты, солдаты. Одни уже нахлебались лиха, а другие — совсем молодняк, еще вчера сдавали экзамены в школе, кто на «пятерку», а кто и на «троечках» выехал... прямо в войну! Вот и узловая станция.

— Поворино,— читали название, а знающие и бывалые говорили: — Отселе нам тока две дороги: если повезут на запад — будем под Воронежем, а ежели на юг — тады в Сталинград...

Чуянова средь ночи разбудил долгий телефонный звонок — вызывали из Серафимовича, бывшей казачьей станицы Усть-Медведицкой, когда-то богатейшей, многолюдной, славной храмами и образованием не обиженной; секретарь тамошнего райкома партии сообщил, что уже приступили к эвакуации людей и всего самого ценного, но очень трудно с вывозом зерна и скота:

— Хлеба заколосились... жечь, что ли? Паромов через Дон нету,

скотина лодки переворачивает. Овцы, считай, гуртом потонули, а свиньи все переплыли. Стада же коров силком в реку заталкиваем. А трактора? А наши МТС? Куда их девать?

— Гони к нам.

— Да нет горючего. Пришлите. Перегоним.

— А где я тебе возьму горючего?

— Как где? Там же у вас полно караванов от Астрахани.

— Это когда было? — кричал в трубку Чуянов, разбудив всех домашних.— До войны. А сейчас какую нефтебаржу с воздуха ни заметят, сразу бомбят... горит наша Волга, горит!

— Что там, Алеша? — спрашивала жена, зевая.

— Спи. Это из Серафимовича. Уже поехали. Забыл сказать, чтобы жгли хлеба. Все равно не вывезти. Урожай-то больно хорош в этом году. Жалко. Спасаем что можно. Спи. Еще рано...

Немецкие ролики вкатывались в большую излучину Дона, а сталинградцы еще выезжали на полевые работы. Как правило, женщины-домохозяйки, школьники постарше да старики. Вместе с жителями города не отлынивали и беженцы, желающие заодно подкормиться: на заброшенных огородах зрели овощи, бесхозные сады плодоносили в это лето как никогда. Привыкли у нас бросаться на ветер высокими словами, и каждый год твердили, что не просто «уборка урожая», а обязательно «битва (!) за хлеб». Но смею заверить читателя, что летом 1942 года под Сталинградом шла настоящая битва за спасение урожая, и хлеб, который мы потом ели, был пропитан кровью...

Эскадрильи Рихтгофена кружили над полями, бросая осколочные бомбы, прострачивали хлебные нивы пулеметными очередями. Страшно читать свидетельства очевидцев. Под бомбами и пулями одна женщина загораживала лицо лопатой, подростки прятались под телегами, а какая-то старушенция накрылась газетой «Правда», словно верила, что бог правду видит...

Неожиданный звонок от генерала Герасименко:

— Из Москвы получено распоряжение — всему штабу военного округа срочно передислоцироваться в Астрахань.

Календарь показывал 17 июля. Не верилось. Чуянов ответил:

— Что за бред сивой кобылы? Быть того не может, чтобы в такой напряженный момент и... Кто распорядился?

— Ставка Верховного Главнокомандования.

«Если сама Ставка, значит, скоро всем нам амба...»

— А кто — конкретнее? — спросил Чуянов, еще сомневаясь.

— Генерал Ефим Щаденко... герой известный.

Алексей Семенович ощутил небывалую растерянность.

— Неужели,— спросил,— наше положение в Сталинграде и впрямь столь тяжелое? А как отнесется к вашему отъезду городское население? Люди-то ведь не дураки, они поймут ваше бегство на свой лад — значит, город будет сдан...

Опасения подтвердились. Когда штаб округа (с чемоданами и семьями) грузился на пароход, пристань заполнили толпы жителей, слышались возгласы — негодующие, озлобленные:

— Во, паразиты проклятые! Привыкли бегать.

— Мурло-то себе разъели, берегут свои шкуры.

— Мы ж их кормили, одевали, думали — вот защитники!

— Всю жисть налоги с нас драли на армию, а они...

— А чего с них взять-то? С драпальщиков...

Это случилось в тот самый день, когда Сталин получил от Черчилля извещение о том, что обещанного ранее второго фронта в 1942 году не будет, и настроение у Сталина было, конечно, не из лучших. В ночь на 20 июля Чуянов заработался в обкоме; приближался рассвет, когда по ВЧ его предупредили:

— С вами будет говорить товарищ Сталин.

В аппарате послышался тяжелый человеческий вздох:

— Как у вас идут дела? Как вы готовитесь встретить врага, который будет пытаться взять Сталинград с ходу?

(«Ясно представляю себе суровый взгляд карих глаз, сомкнутые брови и, откровенно говоря, очень волнуюсь...»)

— Обстановка тревожная. Но промышленность работает. С огромным напряжением. Народ относительно спокоен...

— Значит, «относительно»? — прервал его Сталин. Последовала пауза для накопления диктаторского гнева.— Вы решили сдать город врагу? — внезапно обрушился Сталин на Чуянова.— Вы зачем туда поставлены? Чтобы покрывать трусов и паникеров? Чтобы замазывать товарищу Сталину глаза? Почему от вас удрал в Астрахань весь военный округ? Завтра немцы сядут вам на шею и всех вас передушат, словно котят...

Под мощным шквалом грозных обвинений Чуянов с трудом выбрал момент, чтобы заступиться за генерала Герасименко:

— Штаб военного округа выехал по приказу из Москвы...

— Кто осмелился дать такой идиотский приказ?

— Ваш генерал... из Ставки... генерал Щаденко!

Молчание. Наконец Сталин заговорил:

— Мы на месте разберемся и строго накажем виновных. Передайте товарищу Герасименко, чтобы возвращался со штабом обратно.— И закончил разговор директивными словами: — Сталинград не будет сдан врагу. Так и передайте всем...

. . . .

Никита Сергеевич вскоре пригласил Чуянова навестить его в гостинице, где маршал Тимошенко желал бы выслушать мнение человека, недавно прибывшего на Сталинградский фронт, а потому способного видеть события иначе, нежели видят они.

— Желательно знать, что он думает вообще об обороне Сталинграда, которая, сам понимаешь, никак не будет похожа на оборону Царицына... Можно ли вообще тут обороняться?

Чуянов пришел. На стене были развешаны оперативные карты, в которых Чуянов плохо разбирался, путаница неясных для него обозначений лишь озадачивала его; он понимал лишь кроваво-красную линию фронта, рискованно выгибающуюся к Сталинграду, а синие стрелы ударов противника невольно наводили на мысль о злокачественной гангрене, готовой вонзиться в страдающее тело.

Маршал Тимошенко имел вид несколько отвлеченный — вроде того, какой имеют старики, наблюдающие за играми детей. Выслушать же предстояло молодого генерала, поразившего Чуянова тем, что он не снимал со своих рук белых перчаток.

— Кто это? — шепотом спросил Чуянов у Хрущева.

— Чуйков... из шестьдесят второй армии.

Тимошенко задал первый вопрос, далекий от тактики и стратегии, к обороне Сталинграда отношения не имеющий:

— Вы почему не ладите с генералом Гордовым?

— А почему я должен с ним ладить? — отвечал Чуйков маршалу, видно, совсем не боясь сталинского фаворита.— Генерал Гордов — это не мой сосед по коммунальной квартире. Да и в коммунальной квартире я бы с ним не ужился.

— Но все-таки,— заметил Тимошенко.— Как-никак, это ваш непосредственный начальник. Воевал. А вы... где воевали?

— Прибыл сюда прямо из воюющего Китая.

— Были военным советником?

— Да. В армии Гоминьдана, при маршале Чан Кай-ши.

— Вот вы, человек свежий, что вы скажете о наших делах? Каковы, по-вашему, плюсы и минусы Сталинграда?

— Вы, товарищ маршал, спрашиваете о видах на оборону?

— Да. Удобен ли Сталинград для обороны?

Василий Иванович Чуйков долго оглядывал карты — с таким видом, будто попал в музей, где наконец-то увидел подлинники классических шедевров, о каких ранее приходилось только читать.

— Природный рельеф Сталинграда,— начал он,— и окрестностей города никак не способствует обороне. Как защищать эту гигантскую килу, что протянулась вдоль берега чуть ли не в полсотню верст? А ширина этой килы от силы два километра, а далее начинается степь...

— Выбирайте выражения! — сразу заметил Тимошенко.— Откуда вы взяли эту «килу»? Не советую забывать, чье имя носит этот город... «кила», по-вашему.

— Извините,— сказал Чуйков.— Я продолжу. Степи, примыкающие к Сталинграду с запада, изобилуют множеством оврагов и балок, вытянутых как назло с запада на восток, перпендикулярно этой ки... этому городу, и все они выходят к Волге, как бы разрезая Сталинград на отдельные участки, подобно тому, как режут колбасу на отдельные куски. А в тылу армии, обороняющей Сталинград, течет широкая Волга — огромная преграда, мешающая маневру, не позволяющая отойти в случае надобности. Мало того,— продолжал Чуйков,— Волга, не имея мостов, связывающих оба берега, всегда будет препятствовать снабжению наших войск и эвакуации раненых. Противник же в любом случае будет обладать громадным преимуществом, имея в своем тылу обширные гладкие пространства для маневра и подвоза техники. Затем,— было сказано Чуйковым,— противник, владея высотами на западе от Сталинграда, всегда будет просматривать нас и наши позиции на десятки километров, а мы, как бы ни маскировались, все равно останемся видимы, словно мухи в сметане...

Что такое? Тут тебе и отвратительная «кила», тут тебе и «колбаса», тут тебе и «мухи в сметане»... Ай-ай, разве так можно! Нехорошо выражается Чуйков, надо его поправить.

— Не знаю, как уж там при Чан Кай-ши выражаются,— заметил Хрущев,— но здесь вы могли бы говорить иначе.

— Что иначе? — переспросил Чуйков, не понимая вопроса.

— По вашим словам,— круто и недовольно заговорил маршал Тимошенко,— получается так, что Сталинград к обороне совсем неприспособлен, и вы... вы даете отчет своим словам?

— Даю. Совсем не приспособлен,— ответил Чуйков.

— А вы,— спросил его Хрущев,— не учли того, что наш советский народ воодушевлен на свершения подвигов и под знаменем Ленина-Сталина он готов... и вы... не учли этого?

— Учел,— отвечал Чуйков, подтянув белые перчатки.

— Так чего ж вы нам тут головы морочите? — обозлился Никита Сергеевич.— Километры подсчитываете, о рельефах нам рассказываете... О главном-то вы забыли?

— О чем? — переспросил Чуйков.

— О главном,— повторил Хрущев.

— А в чем оно, это главное?

— Главное... в главном.

— Возразить вам трудно,— ответил докладчик...

Тимошенко кивком головы указал в спину уходящего Чуйкова:

— Вот и воюй с такими... сами не понимают!

— Опыта нет,— добавил Хрущев.— Мало их били.

— Пойдемте и поужинаем,— предложил маршал.

Чуянов ужинать отказался, сославшись на дела в обкоме, а на лестнице гостиницы он нагнал уходящего Чуйкова:

— Меня найти легко. Если что понадобится — заходите. Буду рад помочь, если какая нужда возникнет. Меня здесь все знают.

Но Василия Ивановича Чуйкова тогда мы еще не знали...

9. ВИННИЦА И ЖИТОМИР: КОМАРЫ И КРЫСЫ

Восточная Пруссия. «Вольфшанце» — «волчье логово»...

Тихо постукивая дизелем, от вокзала отошел белоснежный поезд Геринга «Азия», а в тупике станции укрылся личный поезд Гитлера по названию «Америка» (15 вагонов и два мощных локомотива). Из окон оперативного барака, где обычно фюрер совещался с генералами, виднелась псарня, здание гостиницы для приезжих, кухонный барак и здание кинотеатра.

Альберт Шпеер, министр вооружений и боеприпасов, заметил, что Гитлер чрезвычайно возбужден, уверенный в успехе своих армий на юге России, и он долго развивал мысль, которую можно было бы выразить очень кратко: по сути дела, вермахт только сейчас завершает те планы, что не были осуществлены летом прошлого года. «Теперь,— сказал фюрер,— я увидел свет нашей победы в конце этого длиннейшего туннеля...»

— И сейчас,— разрешил он,— можно возобновить производство товаров ширпотреба в его прежнем объеме.

Шпеер ответил, что о ширпотребе думать еще рано:

— Но, кажется, пришло время отменить ежемесячные призывы в армию большого количества немецких рабочих.

Гитлер не возражал, вернувшись в прежнее состояние эйфории, опять нудно рассуждал о том, что Германия, лишенная прежних колоний в Африке (еще кайзеровских), будет иметь большие выгоды от захваченных территорий в России; а заодно, завершая свои рассуждения, фюрер выругал и своих генералов:

— Эти люди способны мыслить чисто военными категориями, но учитывать экономические выгоды от войны с Россией приходится мне... одному мне! Кстати, Шпеер, вы должны подумать о сооружении моста через Таманский пролив, чтобы армия фельдмаршала Манштейна из Крыма шагнула сразу на Кавказ!

Летом этого года в Германии еще не было перебоев с продуктами, карточки отоваривались полностью, хотя жирность молока понизилась, в колбасу добавляли всякие примеси, а фруктов не было совсем, ибо все они поступали на выделку мармелада. Гитлер поговаривал, что пора переносить ставку в Винницу, ближе к фронту. Не так давно в «Вольфшанце» известились, что Квантунская армия японцев уже наготове для нападения на Владивосток и Благовещенск, в ставке Гитлера это сообщение вызвало ликование. Риббентроп, тоже обрадованный, вызвал японского посла Хироси Осима, которому и было им сказано:

— Наш фюрер, зорко следя за успехами Японии на Тихом океане, думал, что вы сначала укрепитесь в новых владениях, а уж потом осуществите нападение на Россию, но теперь, когда наш вермахт выходит на Волгу, для Японии — по мнению фюрера — как раз наступил благоприятный момент, чтобы включиться в общую борьбу с московскою кадократией...

(Кадократия — термин, означающий «власть необразованной черни», редко употреблялся в разговорах, но Осима понял, что Риббентроп имеет в виду тех самых кремлевских недоучек, о которых ранее он говорил, что эта компания напомнила ему «общество старых партийных товарищей».)

— Если,— продолжал Риббентроп,— Квантунская армия выйдет к Байкалу, конец этой войны будет сразу же предрешен...

Гитлер потом звонил в Берлин, спрашивая Риббентропа — чем завершился разговор с японским послом?

— Осима вежливо улыбался, но, судя по его словам, в Токио решили выждать — чем окончится битва за Сталинград. В любом случае до октября Квантунская армия с места не тронется. Сейчас Сталин-

град — ключ от того сейфа, в котором укрывается результат всей войны.

— Жаль,— отозвался Гитлер.— У меня уже начинает болеть живот каждый раз, когда я думаю о Сталинграде...

Гитлер имел краткое свидание с Муссолини, которому не терпелось, чтобы Роммель перекрыл для англичан шлюзы Суэцкого канала, но при этом дуче был озабочен тем, что англосаксы, кажется, решили покончить с его Африканским корпусом и вполне возможна высадка их десанта в портах стран Магриба.

— Сейчас,— утешал его Гитлер,— англичане способны лишь маневрировать на периферии, чтобы смирить нетерпение Сталина. Но далее обещаний в Лондоне не пойдут. У нас же скоро появится новый превосходный союзник — Турция, и премьер Сараджоглу намерен сожрать Грузию с Арменией сразу, как только танки Клейста перевалят через Кавказский хребет. За это, дуче, мы дадим туркам пососать горючего из нефтяных скважин Баку...

«Он и мне даст... пососать!» — с неприязнью думал дуче.

— Но,— признался Гитлер,— ни японцы, ни турки не выстрелят даже из детской хлопушки до тех пор, пока русские удерживают Сталинград.

Муссолини по-прежнему дрожал за Африку, желая иметь от нее «горсть фиников», но Гитлер не придавал значения возможной высадке десанта Рузвельта и Черчилля в Африке:

— Вместо второго фронта возникнет лишь третий, а потому открытие второго фронта в самой Европе будет опять отложено. Это значит,— здраво рассудил Гитлер,— что пока они там возятся с Африкой, нам нет необходимости держать большое количество войск в Европе, гадая, в каком месте англосаксы могут совершить высадку... Теперь, даже при наличии только третьего фронта, мы можем смело перебрасывать свои войска с Запада на Восток — против России!

13 июля разведка абвера сообщила, что русские образовали Сталинградский фронт, хотя об этом — ни звука в советской печати, и Адольф Хойзингер, как оперативник, сразу и верно предсказал, что русские не собираются отходить далее Волги.

— Это их дело! — отвечал Гитлер.— Но мне иногда начинает казаться, что Паулюс давно наносит удары в пустоту — перед ним лежит голая степь, создать линию обороны Тимошенко не смог. Не понимаю, чего Паулюс там ковыряется? Надо забрать у него четвертую танковую армию Гота, перенацеливая ее — в помощь Листу — на Кавказское направление. Тех сил, что имеются у шестой армии, вполне достаточно для занятия Сталинграда... Хойзингер, каковы последние сводки абвера о делах в городе?

— Эвакуационные настроения в Сталинграде проявляются в массовом перегоне скота, но они еще не коснулись демонтажа промышленности. По данным нашей агентуры, паники в городе не наблюдается, в театре русские ставят «Королеву чардаша» Кальмана, которая на афишах у них называется «Сильва». Наверное, это подтверждает мое мнение о том, что жители города еще не испуганы.

— Пора бы и напугать их! — сказал Гитлер.— Сразу после взятия Сталинграда ВСЕХ МУЖЧИН В ГОРОДЕ УНИЧТОЖИТЬ, А ЖЕНЩИН ВЫВЕЗТИ.— Куда вывозить женщин, об этом Гитлер ничего не говорил.— Впрочем,— продолжал он,— я сам напомню Паулюсу об этом, когда повидаюсь с ним в Виннице...

14 июля Франц Гальдер отмечал юбилей — сорокалетие военной службы. Маннергейм и болгарский царь Борис прислали ему дружеские приветы. Кейтель с Йодлем сложились и сообща подарили серебряный поднос. Гитлер, как обычно, проснулся во второй половине дня и пригласил юбиляра «на чашку чая». Гальдер похвастал подарком от Паулюса — роскошным альбомом с видами минувшей битвы под Харьковом в период окружения армий Тимошенко возле Барвенково. Гитлер

рассматривал фотографии с большим интересом и, вопреки прежним своим заявлениям, похвально отзывался о русском солдате, как очень крепком и выносливом:

— В техническом отношении,— говорил фюрер,— русские достигли тоже немалых успехов, и качество их вооружения стало намного лучше...

О зубных щетках фюрер более не поминал!

— Впрочем,— сказал он Гальдеру, захлопывая альбом,— лето всегда являлось решающей стадией наших умопомрачительных успехов. Меня беспокоит лишь медлительность Паулюса...

Вечером Гальдер устроил «мальчишник» в лесной гостинице ОКХ, где угощал сослуживцев пивом и бутербродами. Йодль нашел момент, чтобы шепнуть юбиляру на ухо:

— Нашему фюреру много не надо, чтобы он взвился до небес. И он взвился, когда я сказал ему — лучше избрать что-либо одно: или поход на Кавказ, или выход на Волгу.

Гальдер без аппетита дожевал казенный бутерброд:

— Он толкает Паулюса в спину, но это становится... опасно. Если шестая армия будет продвигаться и далее, то она образует костлявый палец, вытянутый к Волге, и он станет подвержен ампутации. Русские, выпустив Паулюса из большой излучины Дона, могут поступить с его армией таким же образом, как мы весною поступили с ними возле Барвенково.

Йодль благодарил Гальдера за откровенность:

— Но эти мысли держите при себе, чтоб он не взвился.

Гальдер долго и задумчиво вращал перед собою кружку с пивом, потом сказал, что ему жаль Паулюса:

— Я бы не желал ему судьбы маршала Тимошенко...

16 июля с секретного аэродрома Ангербурга фюрер со свитою вылетал в Винницу. Настроенный добродушно, он сказал Гальдеру:

— Пора разобраться с фронтовыми генералами. Ах, чего только не наслушаешься от этой публики... Рихтгофен жаловался рейхсмаршалу Герингу, будто степные суслики выводят из строя электропроводку в навигационных приборах самолетов, а Герман Гот докладывал по радио, что мыши грызут его бедные танки. Мои генералы, наверное, хотят, чтобы я поверил, как им тяжело сражаться с русскими мышами.

Если угодно, читатель, можете прослушать по радио вечернее сообщение сводки Совинформбюро: «В течение 16 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа. На других участках фронта существенных изменений не произошло».

Вот и всё! Понимай, как знаешь...

Полет до Винницы продолжался 3 часа и 15 минут.

. . . .

Еще с декабря 1941 года Гитлер обзавелся второю ставкой по названию «Вервольф», что означает «оборотень». Она затаилась от людей в незаметном лесочке под Винницей, близ деревни Стрижавка, подземный бронированный кабель связывал ее с министерствами Берлина. Кольцо неприступных дотов окружало здесь Гитлера, который как бы и сам превращался в зловещего оборотня, чтобы из партийного фюрера сделаться главнокомандующим вермахта.

У себя в «Вольфшанце» фюрер комаров не боялся, но почему-то русские комары вызывали в нем ужас, он был уверен, что их укусы смертоносны, а потому усердно насыщал себя атарбином от малярии. Окна штабных бараков были заделаны непроницаемыми сетками, а чтобы все насекомые передохли, Гитлер велел опрыскивать окрестности смесью керосина с креозотом. Под лучами жаркого солнца эта смесь испарялась, издавая невыносимое зловоние. Днями Гитлер изнывал в бараке от духоты, а по вечерам начинал войну с комарами... Для этих тварей, казалось, сетки не служили препятствием, а к аромату крео-

зота русские комары оказывались нечувствительны. Вот и опять их наглое зудение.

— Летит! — говорил Гитлер с таким выражением, будто слышал рев моторов «летающей крепости».— Опять летит... и где найти спасение от инфекции? — Шлеп себя по лбу.— Промахнулся! Эти гнусные твари неуязвимы. О чем думают гениальные немецкие химики? Неужели мне погибать от комаров?..

Бывая проездом в Виннице, он обратил внимание, что украинские дети никогда не носят очков, а их зубы не нуждаются в услугах дантистов, и это произвело на фюрера очень сильное впечатление. Мартину Борману он указал:

— Займитесь этим вопросом... ради будущего германской нации! Рослых и белокурых детей с голубыми глазами следует отбирать у родителей, чтобы воспитывать их в нацистском духе.

Услужливый Борман, соглашаясь с Гитлером, тут же придумал теорию, будто украинцы — ответвление арийских племен, родственных древним германцам. Ставка Генриха Гиммлера в эти дни размещалась возле Житомира, бронированный автомобиль Гиммлера каждодневно курсировал между Винницей и Житомиром, Гитлер не забыл напомнить и рейхсфюреру СС:

— Генрих, пора думать о селекционном отборе славянских детей для пополнения резервов живой силы нашего рейха, ибо украинцы внешне представляют отличный евгенический материал...

Вызванный с фронта Паулюс сразу погрузился в невыносимую атмосферу ставки, а Хойзингер сказал, что у фюрера трещит голова:

— В такой вонище это неудивительно. Но фюрер боится русских комаров, жалящих, словно пчелы...

Адольф Хойзингер уже работал над планами проникновения в Иран и Ирак, где были сильны антибританские настроения, эту работу, начатую еще Гальдером в Цоссене, он продолжал в «Вольфшанце» и здесь, под Винницей. Хойзингер дал понять Паулюсу, что сейчас он пребывает в фаворе у Гитлера и случалось так, что его точка зрения усваивалась фюрером более основательно, нежели мнения Йодля и Кейтеля. Человек достаточно проницательный, Хойзингер заметил, что Паулюс, внешне собранный и, как всегда, подтянутый, внутренне чем-то озабочен.

— Положение осложняется,— не скрывал Паулюс,— если ранее моя армия маршировала по тридцать километров в сутки, то теперь мои темпы снизились, и мы с трудом преодолеваем пространство не более десяти-пятнадцати километров.

— Значит, силы русских возросли? — спросил Хойзингер.

— В том-то и дело, что они уменьшились,— отвечал Паулюс.— Но возросло их упорство. Я не хотел бы оказаться в простаках, обещая фюреру, что двадцать пятого июля, и никак не позже, я буду в Сталинграде. А тут начались предосенние грозы, фронт заливается ливнями, дороги, если их можно только назвать дорогами, раскисли. Техника вязнет в грязи...

Гитлер жаловался, что у него начинает болеть живот, когда он думает о Сталинграде, но у генерала Паулюса живот болел сам по себе, вне всякой связи с большой стратегией, и эти боли в области кишечника становились порою невыносимы. Перед Францем Гальдером он не скрывал, что его Елена-Констанция заранее сняла апартаменты в Бартале, на курортах Киссенгена, куда и выехала с дочерью, поджидая мужа.

— Но я,— сказал Паулюс,— должен отложить курс лечения на водах, пока не развяжусь с этим Сталинградом.

Франц Гальдер лечебным водам не доверял:

— Лучше всего... водка! — сказал он.— Но прежде, чем вы станете поглощать русскую водку, обратитесь в берлинскую клинику на Венцельштрассе. Впрочем, я чувствую,— усмехнулся Гальдер,— что

ваша очаровательная супруга поторопилась снять палаты в Киссенгене: русские не хуже нас понимают стратегическое значение Волги как основной нефтеносной артерии, связующей их главные центры с Кавказом...

При свидании с фюрером Паулюс сразу же выразил неудовольствие тем, что у него забрали 4-ю танковую армию Гота:

— С моих рук содрали железные перчатки, которыми я ломал сопротивление русских. Сейчас Гот проходит к югу через мои боевые порядки, занимая переправы, нужные для моей пехоты. При этом танки Гота своей массой ломают речные мосты.

Гитлер не внял обидам Паулюса:

— Гот развернут мною на Ростов, а вашей армии, Паулюс, следует торопиться с выходом на Калач, чтобы затянуть петлю окружения русских в излучине Дона... У вас же там четырнадцатый танковый корпус Виттерсгейма, которым вы не можете нахвалиться! Опять летит,— сказал он, пытаясь поймать комара.— Мой ширпотреб возобновлен в прежнем довоенном уровне...

Тут смешалось все: Виттерсгейм с комарами, а комары с выпуском ширпотреба, а далее Гитлер убежденно говорил, что у Сталина, кроме тех резервов, что собраны им под Москвою, других резервов уже нет и не будет.

— Но... Сибирь, но... Дальний Восток,— намекнул Паулюс.

— Сталин не тронет их,— отвечал Гитлер,— по той причине, что Квантунская армия японцев вылезает из камышей.

Паулюс из диалога с Гитлером вынес главное и не совсем-то приятное впечатление: фюрер считает, что мощь русских подорвана основательно, а заветная линия «А — А» (Архангельск — Астрахань) скоро определит границы его завоеваний. Но в частной беседе с Хойзингером Паулюс признал, что окружение русских возле Калача-на-Дону малоперспективно для его армии:

— Русские научились выкручиваться из мешков и вылезают из любых бурлящих котлов... Кто мне ответит,— спросил он о самом главном, что терзало его вроде кишечной боли,— или захват Кавказа будет решать судьбу Сталинграда, или захват Сталинграда отразится на судьбе продвижения Листа к Кавказу?

Вопрос по-русски звучал резко: не в бровь, а в глаз.

Даже Хойзингер, опытный оперативник, помялся с ответом.

— Факторы взаимодействующие, — отвечал он, — как шестеренки в одной машине. Не половив стерлядей в Волге, мы не понюхаем, чем благоухает бакинская и мосульская нефть...

Это не ответ! Паулюс вдруг вспомнил о Роммеле:

— В армии ходят слухи о том, что в ближайшее время возможна высадка англосаксов где-то в Западной Африке.

— За французское Марокко мы спокойны. Ни агличане, ни тем более американцы не обладают опытом для таких операций...

Сильные грозы и бурные ливни бушевали над фронтом!

...Близилось время, для Сталина почти роковое. Читатель, надеюсь, помнит, что именно в это время Черчилль задерживал отправку в СССР каравана PQ-17 с поставками по ленд-лизу, что он много пил, часто вызывая нашего посла Майского, тревожа его одним и тем же странным для Майского вопросом...

Вопрос был! Со слов Н. С. Хрущева известно, что именно сейчас Сталин стал выискивать побочные контакты с Гитлером для заключения с ним сепаратного мира, и при этом Сталин согласен был уступить немцам Украину и Белоруссию, часть России, уже захваченную немцами, Прибалтику и Молдавию — только бы выбраться из этой войны, которая складывалась не в его пользу. Это очень похоже на Сталина, не русского человека, пришельца со стороны, который был озабочен не честью Российского государства, а лишь сохранением своего царст-

венного престола, который он занимал в Кремле! Поиски контактов начались, когда Гитлер из Пруссии перебрался в Винницу. «У Берии,— вспоминал Никита Сергеевич,— была какая-то связь с одним банкиром в Болгарии, который являлся агентом гитлеровской Германии. По личному указанию Сталина был послан наш агент в Болгарию, и ему было поручено нащупать контакты с немцами...» По другим сведениям (за достоверность которых я, автор, не могу поручиться!), в Винницу ездил сам Молотов!

Но Гитлер настолько был уверен в скорой победе, что отверг всякие переговоры с «кадократией» Кремля, считая, что Сталин уже поставлен им на колени. Оправдывая предательское поведение сталинской клики, Хрущев писал, что Сталин, очевидно, желал лишь выиграть время, дабы предупредить катастрофу на фронте, а потом каким-нибудь образом (каким?!) вернуть отданное обратно. Но мне это представляется чушью: Гитлер не расстался бы с той частью страны, которая была им завоевана...

Хочется спросить: кто же они, эти подлые враги народа, искавшие среди нас и находившие среди нас «врагов народа»? Я не стану оправдывать Сталина, имевшего в своих сикофантах палача Берию, но хочу напомнить, что таким же сикофантом при Гитлере состоял его палач Гиммлер, и вот тут, мой читатель, я нащупываю некоторую духовную связь между ними...

. . . .

Генрих Гиммлер осмотрел свои пальцы.

— Пусть зайдет Эбба Гюнтер,— велел адъютанту.

Ставка обер-палача размещалась в здании военного училища, превращенном в командный пункт СС, и Гитлер в своем вонючем «Верфольфе» мог бы еще позавидовать Гиммлеру; отсюда, из живописного Житомира, где не зудели комары, рейхсфюрер СС в любой момент мог связаться не только с Берлином, но узнать, что поделывают сейчас в Риме, каково настроение Франко в Мадриде, о чем думают в очередях за мясом голландцы или как весело пляшут жители свободной Бургундии.

— Хайль Гитлер! — послышалось веселое от дверей.

— Здравствуй, Эбба, я тебя не слишком обеспокоил?

— Нет. Я только что закончила партию в теннис.

Эбба Гюнтер — молодая, пышущая здоровьем девица был облачена в черный мундир эсэсовки, исполняя роль маникюрщицы для обслуживания нацистской элиты. Она разложила свои инструменты, расставила перед Гиммлером баночки с лаками.

— Какой сегодня угодно? Светлый? — спросила деловито.

— Чуть-чуть с оттенком перламутра,— отвечал Гиммлер...

Пока очаровательная маникюрша приводила в порядок когти своего шефа, они болтали о пустяках, но их мирную беседу прервало появление Вальтера Шелленберга (не путать с графом Шуленбургом, что до войны был германским послом в Москве). Шелленберга, человека из абвера, но близкого и к делам гестапо, в Германии называли «единственным интеллектуалом среди палачей» или «гангстером среди интеллектуалов». В ставке Гиммлера он появился не случайно, и по выражению его лица Гиммлер догадался, что сегодня гангстер решил побыть в роли интеллектуала.

— Благодарю, Эбба,— отпустил он маникюршу.

Потом долго махал растопыренными пальцами рук, чтобы перламутровый лак высох поскорее, и справился о здоровье.

— Спрашивая о моем здоровье,— отвечал ему Шелленберг,— вы имели в виду совсем другое. То, о чем я думаю, оставаясь единственным трезвым в общем похмельном угаре наших успехов... А вам разве не кажется, что Германия сейчас (именно сейчас!) находится на самом крутом изгибе опаснейшего поворота, ведущего ее в пропасть?

Конечно, возвещать об этом, когда вермахт шагал на Кавказ и устремлялся к Волге, когда сам Гитлер не имел сомнений в конечной победе, мог только очень сильный человек, умевший анализировать обстановку во всем ее международном многообразии, человек, хорошо извещенный о военных потенциалах СССР и США, ведающий секретной информацией о том, что молох германской промышленности скоро истощит сам себя, а тогда...

«Что тогда?» Гиммлер нарочито-равнодушно спросил:

— Не пойму, что беспокоит вас, милый Вальтер?

Ответ был рискованным для Шелленберга:

— Настал момент для принятия решений, которые будут, пожалуй, самыми труднейшими со времени начала этой войны.

Гиммлер, сам не дурак, уже понял, куда направляет его подручный, но собственные мысли он еще утаивал, вынуждая Шелленберга раскрыть свои карты до конца, чтобы дальнейшая игра, столь опасная, началась вчистую.

— Разве можно, Вальтер, понять вас?

— Попытайтесь! — отвечал Шелленберг.— Но прежде я задам вам один вопрос, от которого вы... вздрогнете.

— Что ж! Согласен и вздрогнуть.

— Тогда скажите, — продолжал Шелленберг, — в каком из ящиков вашего стола затаился сугубо секретный план *запасного решения* относительно финала этой войны?

Казалось, Гиммлер сейчас схватит стул и запустит его в собеседника, а потом велит тащить его в подвал гестапо. Но Гиммлер долго смотрел на Шелленберга, как бы недоумевая, потом заговорил, сначала тихо-тихо, а затем вскочил из-за стола, бегая по кабинету, выкрикивая ругательства:

— Сумасшедший! Сейчас, именно сейчас, когда... Может, вы заработались? Может, дать вам месячный отпуск, чтобы попьянствовали и забыли свои слова?

Шелленберг выждал, когда Гиммлер истощит свой гнев, явно наигранный, как у хорошего актера, а потом спокойно продолжил заколачивать в башку своего шефа тот самый длинный гвоздь, над которым уже занес свой расчетливый молоток.

— Было бы глупо ожидать от вас иной реакции на мои слова,— сказал он.— Признаюсь, я ожидал даже худшего. Но... вернемся к истории. Даже великий Бисмарк, что бы ни делал, всегда имел *запасное решение,* и такое решение, я не сомневаюсь, уже сокрыто в ящике вашего стола... Сейчас,— напористо продолжал Шелленберг,— Германия ведет войну не столько ради победы, сколько ради выигрыша времени, чтобы отсрочить час нашего поражения. Не понимать это могут только глупцы! Ясно, что второго фронта в Европе долго не будет, как не будет его и далее, и я думаю, что Рузвельту с Черчиллем выгоднее пойти на сепаратный мир с нами, нежели, услужая Сталину, открывать в будущем второй фронт с большими для них жертвами...

Гиммлер слушал и время от времени начал кивать головой, соглашаясь с Шелленбергом, а однажды даже пробурчал:

— Не спорю, Вальтер, что голова у вас работает. Но что вы предлагаете мне конкретно? — спросил он.

Предлагать было опасно, но Шелленберг все-таки предложил:

— Германии пришло время заново начинать мирный диалог с Западом, пока наш рейх еще полон сил и могущества, пока наш вермахт не отступает, а наступает на русских, и потому мы, именно мы, тайные службы Германии, должны начать переговоры, ведя их с позиции силы...

Был очень долгий разговор, и Гиммлер спросил — не истолкуют ли на Западе эту акцию как признак слабости Германии?

— Возможно,— отозвался Шелленберг.

— Не усилит ли наша акция желание западных держав для еще большего укрепления связей с московскими заправилами?

— Этого не случится! — заверил его Шелленберг.— Напротив, они будут рады поболтать о мире с нами за спиной Сталина.

— Пожалуй,— согласился Гиммлер.— Но кто выступит в роли маклера, чтобы заранее подсчитать все наши убытки и чтобы Германия не выглядела банкротом в глазах Запада и Америки?

Шелленберг сказал, что фюрер не должен быть посвящен в их планы, а доверить переговоры Риббентропу опасно:

— На что существуем мы, секретные службы, имеющие подземные и подводные каналы, через которые, как через трубы городской канализации, протекают всякие нечистоты, но горожане при этом даже не ощущают зловония фекалиев великого города!

— Разумно,— кивал Гиммлер.— Но... вам не страшно?

— Страшно,— сознался Шелленберг.— Но гораздо страшнее другое. Мы уже не можем уповать на тотальную победу, ибо наша великая Германия неизбежно скатывается в пучину тотальной войны, за которой ее ждет тотальное поражение.

Гиммлер долго и внимательно изучал блеск своих ногтей.

— Что вам необходимо для начала этих переговоров?

— Нейтрализуйте ведомство Риббентропа до рождества этого года, чтобы я за это время установил контакты с разведками союзников, а они выведут нас и на политиков...

Разложив карту Европы, они еще долго изучали, что придется вернуть союзникам, а что оставить в составе своего рейха.

— А как же... Россия? — вдруг спросил Гиммлер.

Вальтер Шелленберг не ответил, а только пожал плечами.

— Все наши территориальные приобретения,— сделал вывод Гиммлер,— должны стать разменной монетой для выгод рейха. Я вас понял. Понял и... доверяю. Но если случится провал, то я вас не дезавуирую как паршивого дипломата, нет! — сказал Гиммлер, — я вас просто выброшу, как старые и грязные носки.

— И будете правы,— согласился Шелленберг.

...Помню, зимой 1943 года в заполярной бухте Ваега я нес ночную вахту на пирсе. По одну сторону пирса покачивался наш эсминец «Грозный», по другую — американский корвет. Я ходил вдоль заснеженного пирса с карабином, во флотском полушубке и в валенках. Надо мною с тихим потрескиванием разворачивался веер полярного сияния, тихо плескались волны, а стальные швартовы кораблей поскрипывали от напряжения. Это была «собака» — вахта с нуля до четырех, самая паршивая вахта.

Она подходила к концу, и вдруг... что такое? Глазам не верилось. Я увидел то, о чем раньше читал только в морских романах. По швартову, протянутому с полубака американского корвета, отчаянно на нем балансируя, передвигалось что-то непонятное, но живое. Еще, еще и еще... крысы! Одна за другой они покидали корабль, и мне, сознаюсь, стало тут жутко. У нас на мостике была сигнальная вахта, на сходне — тоже стоял матрос, а союзники дрыхли: ни единой души на их палубе. А крысы скопом покидали корабль, по швартову сбегая на пирс, после чего — одна за другой — исчезали в сторону берега.

На этот раз я «собаку» не достоял как положено. На нашем эсминце и на корвете США почти одновременно пробили «колокола громкого боя», призывающие к походу. Мы вышли в море, и еще на Кильдинском плесе, откуда разворачивался простор океана, американский корвет был торпедирован немецкой подводной лодкой. Сколько тогда спасли — не помню! В таких случаях обычно спасали семь человек (не больше и не меньше). Но с тех самых пор я свято уверовал, что крысы заранее предчуют беду и, повинуясь природному инстинкту, покидают корабль, который обречен на гибель...

Не так ли и Шелленберг с Гиммлером? Вермахт был еще силен, он наступал, а мы отступали, но они, словно крысы, уже ощутили тот момент, когда надо покидать гитлеровский корабль. Говорят, что крысы умные. Не спорю. Но ведь и Шелленберга с Гиммлером дураками никак не назовешь...

10. ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА

Сталинград просыпался. Возле булочных выстраивались длинные очереди. Трамваи, отчаянно дребезжа, развозили рабочий люд по заводам и фабрикам. Позванивая, ехали велосипедисты. Над городом уже плавала под облаками «рама» — разведывательный самолет противника. Возле речной пристани сидели два матроса. На ленточках их бескозырок было четко обозначено золотом, что они не барахло какое-нибудь, а — «Волжская военная флотилия», таким и сам черт не брат. Возле ног катались громадные арбузы, из которых матросы выбрали самый большой на расправу.

— Кажись, сойдет... вот этот! Бесплатный.

— Так режь его, Вася, коли платить не надо... Война!

Под ступенями пристани тихо плескалась Волга, а неподалеку какой уж день догорала баржа, приплывшая из низовий. Матросы ели арбуз, а корки бросали в воду; далеко и смачно плевались они черными семечками. Но мешал им дым с этой баржи, густо наползавший на сталинградский берег.

— Горит. Какой уж денек. Сказывали, что в трюмах селедка была. Астраханская. Малосольная. Вкуснятина.

— Закуска пропадает,— отвечал второй матрос.— Если бы нам где пол-литра достать, так я бы до баржи сплавал: туда и обратно. Уж двух-то сельдей бы выручил... для закуси.

— Слышь, Федя, а вам колбасу вчера давали?

— Давали.

— А чего еще вам давали?

— Политграмоту давали.

— А из жратвы ничего не было?

— Сказали: потом давать будут.

— Может, искупаемся?

— Можно. Но сначала давай арбузы доедим.

— До свету не управимся! Гляди — гора какая.

— Русский матрос все трудности преодолеет...

Невдалеке у пристани чуть пошатывался на волне их боевой корабль — вчерашний «речной трамвай», на котором за гривенник катались в мирные дни сталинградцы по Волге, а теперь возле его рубки приладили пушку, снятую с поврежденного танка...

Город пробудился. Чуянов, выглянув в окно, сказал жене:

— Гляди, она уже здесь. Ожидает.

— Машина подошла или... кто там?

— Овчарка эта... Астра! Ждет, когда я в обком тронусь. Вот тебе и зверь — вернее человека бывает...

Во дворе соседнего дома на Краснопитерской недавно поставили зенитную пушку. Обнаженные до пояса зенитчики, здоровущие балбесы, до вечера резались в домино, оглашая двор неумолчным стуком костяшек. Из окон высовывались всякие бабки:

— Креста на вас нетути! Что за жисть такая пошла. Ежели не бомбят, так от своих нет спасения. Вы бы не козла забивали, а, эвон, самолет крутится — сбейте его... На то вас нету, охламоны несчастные. Вот ужо мы генералам нажалимся.

— Мы генералов не боимся,— орали зенитчики.

— Так мы самому Сталину... вот ужо!

«Ночью младший сын вздрагивает от пронзительного воя сирен, полусонного его уносят в бомбоубежище... Я его так мало вижу.

Старшему пошел десятый, и все семейные тяготы легли на жену. Она молодец, не ропщет, внешне держится спокойно, хотя чувствую, что нервы ее взвинчены до предела».

Чуянов отложил дневник. К нему подошла жена:

— Алеша, я долго молчала. Теперь скажу. Ну, ладно — мы с тобой. Но у нас ведь дети. Старик с бабкою. Чужих людей ты спасаешь в Заволжье, а свою семью не бережешь.

Понять женские и материнские опасения было легко.

— Нельзя! — жестко ответил Чуянов.— Народная власть остается на местах. Пока моя семья в городе, и люди спокойны. Начни мы свои манатки паковать, и в Сталинграде сразу решат, что городу пришел конец... Пойми — нельзя!

— Кончится прямым попаданием. Или пожаром.

— Чем бы это ни кончилось,— ответил Чуянов жене,— но моя семья должна оставаться в Сталинграде.

— Ох, жестокий ты человек, Алеша! — отошла от него жена.

— Может быть,— не сразу сам себе признался Чуянов.

Возле элеватора долго и чадно горел состав с зерном. А по улицам, даже не плача, смиренные, какими бывают в горе только русские женщины, матери несли маленькие гробы — для своих же детей, которых у них не стало вчера или позавчера...

. . . .

После войны, когда Василий Иванович Чуйков был заместителем министра обороны СССР, его очень побаивались на маневрах. Стоило генералу начать бравый доклад о наступлении, как Чуйков сразу отстранял его в сторону, говоря при этом:

— Не лезь! Тебя убили. Остался начальник штаба.

— Я пускаю через мост танки, — решил начштаба.

— А мост уже взорван, — вмешивался Чуйков.

— Тогда, используя броды, я начинаю форси...

— Стоп! В этой реке нет никаких бродов.

— Я запускаю авиацию поддержки...

— Твоя авиация разгромлена противником еще на аэродромах. Боеприпасы кончились. А эшелоны не подошли, разбитые на путях танками противника. Склады горючего объяты пламенем.

— Как же тогда воевать, Василий Иванович?

— А вот именно так мы и воевали в сорок втором...

Впрочем, намаявшись в штабах армии Чан Кай-ши, Василий Иванович и сам-то еще не умел воевать, а поначалу больше присматривался — что и как, чему верить, а на что можно и плюнуть. Одно крепко понял Чуйков: что война — это не всегда отчаянная атака с громогласным «ура» и не суворовский штык-молодец. А сама же война иногда преподносит такие коллизии, что ахнешь. Приноравливаясь к делам фронта, Василий Иванович — не в пример иным военачальникам — не гнушался говорить по душам с солдатами-ветеранами, которые протопали от Буга до излучины Дона, набирался ума-разума от этой серой и многоликой массы людей, которые на себе испытали все ужасы войны, а рассказы их были иногда таковы, что Илья Эренбург вряд ли поместил бы их в свои очерки. Однажды, встретив в окопах лейтенанта Петрова, вчерашнего солдата, носившего на гимнастерке Звезду Героя Советского Союза, генерал напрямик спросил его:

— Дружище! А что самое страшное ты видел в этой войне?

— На войне все страшно.

— Ну, а все-таки, что больше всего запомнилось...

Он ожидал услышать геройский рассказ о прорыве из окружения или как последней гранатой подбили немецкий танк, крутившийся над траншеей, а вместо этого услышал совсем другое, звучавшее почти мистически — и страшно и трагично:

— Пожалуй, вот зимой сорок первого здорово струхнул я. Было это под Калинином. Лежим в снегу. Жрать охота — во как! Вечереет. Ждем немца, чтобы отстреляться. Вдруг перед нами, на ровной снежной поляне, из леса выходят... призраки.

— Какие ж на фронте призраки?

— Обыкновенные. Головы у всех наголо обритые, как у маршала Тимошенко. Сами жуткие! Балахоны на них белые, на ветру развеваются. Идут на нас. И — пляшут. Но пляшут не по-людски, а как-то заморски. Дергаются, кривляются, кричат. Руки у всех на животе, связанные рукавами. Издали мы их приняли за лыжный батальон в маскхалатах. Видим — не, что-то другое. И палок не видно в руках. А за призраками... немцы.

— Как же так? — не поверил Чуйков.

— А вот так. Оказывается, немцы гнали психов.

— Каких психов?

— Самых настоящих. Из какой-то больницы для сумасшедших. Ну, тут мы поднялись, дали немакам прикурить, а психам вернули свободу. Обогрели, сухарей дали и обратно всех — за решетку, как положено... Вот это и было самое страшное!

Многое открывалось Чуйкову как бы заново, и он, профессиональный военный, стал понимать нечто такое, чему в Академии Генштаба не обучали. Даже вопрос о героизме, единоличном и массовом, требовал, кажется, совершенно новых оценок. Люди так устроены, что поразному воспринимают опасность, по-разному переносят страх. Бывали на войне такие герои, которым выстоять под огнем минометов — хоть бы что, но эти же люди превращались в трусливые тряпки при бомбежках. И наоборот, забившись в кусты под минометным обстрелом, человек поднимался во весь рост под лавиною бомб. Вот поди ж ты, разберись в таких причудах человеческой психологии... А сколько было случаев, когда здоровущие мужики лежали плашмя, уткнувшись носами в землю, не в силах от нее оторваться, и вдруг вставала курносая девушка из санитарок, звавшая их в атаку:

— А ну, трусы! Водку-то жрать да кашу лопать все горазды, а сейчас что? Вперед всем за мной — за Родину, за Сталина...

Запомнилось Чуйкову, что при отступлении пали под гусеницами танков четыре солдата, и корреспондент фронтовой газеты живописал их гибель как подвиг. Но бывалый боец, уже пожилой, внуков имевший, рвал ту газету на самокрутки:

— Хреновина все это! — говорил он.— Под гусеницами танков обычно погибают в двух случаях: или те, кто бегут от страха, или те, кто решился стоять насмерть... Ну, а эти говнюки просто бежали. Немцу-то и в радость: догнал их и передавил, будто клопов каких. Я-то ведь сам видел, как они драпали.

...Василий Иванович Чуйков, ступив на сталинградскую землю, сразу же проявил свой характер — самостоятельный, непокладистый, даже агрессивный. Получив от Тимошенко директиву на боевое развертывание 64-й армии, Чуйков догадался, что командование фронтом обстановки на фронте не знает. Это были дни, когда передовые отряды 62-й армии с трудом сдерживали противника. Чуйков доказывал дельно:

— Головные отряды моей армии выгружаются из вагонов, чтобы начать марш к фронту. А хвосты армии и тылы снабжения армии застряли еще в Туле... Вы требуете завтра же занять оборону по реке Цимла, до которой нам пешедралить двести километров. Вот и подумайте — когда мы там будем?

Его стали бояться. Говорили, что заняты. Говорили, что принять не могут. Нигде не добившись разумных решений, Чуйков в оперативном отделе отыскал полковника Рухле.

— Сейчас не время, чтобы спорить,— сказал Рухле.— И война не ради соблюдения уставов. Ждать нельзя. По мере разгрузки эшелонов — войскам в бой. Тылы подтянутся позже...

— Для чего же писались тогда уставы?

— Для мирного времени,— отвечал Рухле.— А сейчас пишутся другие. Военные... Но теперь писать их приходится кровью.

— Чернилами-то... дешевле! — обозлился Чуйков.

Рухле взял директиву Тимошенко и тут же перенес сроки исполнения с 19 на 21 июля. «Я был поражен,— вспоминал Чуйков.— Как это начальник оперативного отдела без ведома командующего может менять оперативные сроки? *Кто же тогда командует фронтом?»* Чуйков выехал в степи — нагонять войска. По дороге навестил 62-ю армию, где встретил дивизионного комиссара К. А. Гурова, недоверчиво глядевшего на генерала в белых перчатках:

— Что вы тут вырядились? Как для парада.

— Извините, что перчаток не снимаю,— сказал Чуйков, здороваясь.— Был я военным советником при штабах Чан Кай-ши и от китайской грязи подцепил на руках экзему...

Когда он осмотрелся на местности и понаблюдал за противником, Кузьма Акимович спросил его о первых впечатлениях.

— Отвечу... Вермахт, конечно, организация солидная. Но, кажется, изъянов в ней тоже немало. Пехота не лезет вперед без танков, танки не идут без прикрытия авиации с воздуха. Взаимодействие отработано у немцев блестяще. Но вот что я заметил: стоит нарушить эту взаимосвязь, отключить из общей цепи хотя бы одно звено — и машина вермахта сразу буксует. Артиллерия у них работает слабенько. Пехота не имеет рывков. Автоматчики атакуют шагом, будто гулять собрались...

— Ну-ну! — подзадорил его Гуров.

— Побеседовал с бойцами,— продолжал Чуйков.— После всего, что произошло, они своим комбатам в окопах верят намного больше, нежели маршалам в кабинетах. Вернуть им эту веру в высшее командование можно только успехом. Но прежде следует сдержать отступательные настроения в войсках. Что-то уж больно они разбежались — от Харькова и до Волги!

— Ты прав, Василий Иваныч,— сказал Гуров.— Многие уже освоились с удобной мыслью, что Дон потерян, оборона будет лишь на подступах к Сталинграду. С этим надо кончать. Чем дальше от Сталинграда удержим Паулюса, тем легче будет и Сталинград отстаивать... Сейчас, как никогда, вся армия нуждается в строгом, повелительном окрике: *«Ни шагу назад!»*

64-й армией командовал генерал Василий Николаевич Гордов, а Чуйков считался его заместителем. Их знакомство состоялось не в лучший момент военной истории. «Я видел, как люди двигались по безводной сталинградской степи с запада на восток, доедая последние запасы продовольствия, задыхаясь от жары и зноя. Когда их спрашивали: «Куда идете?..» — они отвечали бессмысленно — все кого-то искали обязательно за Волгой...»

Штаб генерала Гордова был на колесах, даже спальный гарнитур командарма,— все моторизовано, чтобы в отступлении, не дай бог, задержки не возникло: мотор завел — и поехали! Это не понравилось Чуйкову, как не понравился ему и сам Гордов: «Острый нос, острый подбородок, узкие губы, маленькие кустики бровей над глазами, коротко острижены под бобрик черные с проседью волосы. Держится ровно, но отдаленно...» Гордов смотрел на Чуйкова, а глаза его, казалось, не видели заместителя, и что бы ни говорил Чуйков, на лице Гордова было написано равнодушие, и, наверное, ему бы сейчас подошли слова: болтай тут что хочешь, а изменить обстановки на фронте мы уже не в силах.

Настроенный пораженчески, Гордов сказал:

— Я все знаю. Лучше вас. Но выше башки не прыгнешь.

— Да прыгают! — возразил Чуйков.— Например, спортсмены.

— Так это спортсмены, им сам бог велел прыгать. А война — не спорт. Что там у вас ко мне? Давайте.

Ни вопросов, ни дискуссии, ни возражений —ничего этого не было,

и Гордов, будто дремучий столоначальник, легко подмахнул бумаги Чуйкова о позиции первого и второго эшелонов.

— В излучине Дона,— буркнул он на прощание,— лучше бы оставить лишь часть армии, а резервы держать поближе к городу. Сами видите, что допрут они нас до Волги, так будет для нас же удобнее, если... сами понимаете!

Чуйков понимал, что кроется в сознании Гордова за этим трусливым «если», и стал горячо возражать.

— А вот возражений я не терплю,— сказал ему Гордов.

«Ну и катись ты к чертовой матери»,— думал Василий Иванович, покидая этот штаб, переставленный на колеса.

. . . .

Хронологическая схема такова: 16 июля Гитлер перебрался в «Вервольф» под Винницей, а 17 июля принято — по традиции — считать *первым* днем Сталинградской битвы.

Не стало Юго-Западного направления во главе с маршалом Тимошенко, но об открытии Сталинградского фронта, с тем же маршалом во главе, наши газеты тактично помалкивали, хотя, как известно, шила в мешке не утаишь. Честно говоря, порой можно и запутаться! Сталин постоянно — чаще, чем нужно — совмещал соседние фронты, он разъединял их, деля на два фронта, он их переименовывал, а командующие фронтами перемещались у него постоянно, будто пешки в шахматной игре.

Сталин почему-то (неясно — почему) считал, что частая рокировка командующих лишь усиливает руководство фронтами, но сами причины перетасовки генералов с одного фронта на другой оставались известны только одному Верховному. Отличился кто из командующих — бац! переводят на другой фронт; понесла твоя армия большие потери — тоже переведут, иногда даже с повышением. Вот и пойми тут... Думаю, что наш дорогой товарищ Сталин и сам толком не знал, что изменится, если Иванова заменить Петровым, а на место Петрова посадить Васильева. Если же кто и был крупно виноват, Сталин спрашивал:

— А морду ему набили? Лучше всего — бить в морду...

Но как бы ни сортировали своих генералов, непреложным оставалось правило: все успехи в войне принадлежали несомненно «гению» Сталина, а в случае поражений виноватыми останутся те же самые Иванов, Петров да Васильев... Вот он, изворот азиатской психологии, вот он, паталогический выверт болезненной самоуверенности и гипертрофированной самовлюбленности!

Между тем в сознании народа не одни генералы виноваты, а кое-кто и повыше, и Сталин чувствовал себя в пиковом положении. Не он ли, мудрый и гениальный, на весь мир издал торжествующий клич о том, что 1942 год станет годом победного апофеоза, когда гитлеровская армия будет разгромлена полностью, но... Катастрофа следовала за катастрофой, а теперь можно было ожидать, что именно сорок второй год и выведет вермахт на роковую линию «А — А» (Архангельск — Астрахань), которую в уютных бункерах Цоссена наметил Паулюс в своем плане под названием «Барбаросса»... Так, спрашивается, кому же теперь оставаться виноватым, чтобы товарищ Сталин оказался правым?

Иосиф Виссарионович уже давненько, еще со времен Барвенково, не раз подумывал, что виноват-то маршал Тимошенко, однако обвини он маршала, тогда косвенно и сам останешься виноватым. Лучше уж убрать Тимошенко потихоньку, шума не делая, а вот... кого подсадить на высокий пост командующего Сталинградским фронтом, сейчас едва ли не самым тревожащим? Если бы Сталинград оставался прежним Царицыном, так черт с ним, не так уж страшно, но город-то носит его имя и становился символом его собственного величия... Да, вопрос сложный.

Москва — Кремль. Сталин — Хрущев. Беседовали.

Никита Сергеевич, хотя и приехал из Сталинграда, но обстановки на фронте не ведал, зная лишь одно — обстановка паршивая и никаких перемен к лучшему не предвидится. Сталин об этом был извещен гораздо лучше Хрущева, в разговоре он точно называл имена генералов, не ошибался в нумерации полков и дивизий, потом упомянул генерала Еременко, высказав сожаление, что тот еще в госпитале, ранение у него тяжелое...

Без предисловий был задан вопрос в упор:

— Кого нам назначить командующим?

Ясно, что судьба Тимошенко уже решена и ему командовать уже не придется, потому Хрущев о маршале больше не заикался. На вопрос же удобнее всего отвечать своим вопросом:

— А вы, товарищ Сталин, кого бы считали нужным сделать командующим Сталинградским фронтом?

Сталин опять стал говорить о Еременко, упомянул, что отлично показал себя генерал Власов (в ту пору еще не сдавшийся в плен немцам и бывший одним из любимцев Сталина):

— К сожалению,— говорил Верховный,— Власов сейчас задействован на другом фронте и сидит там в окружении... Так называйте кандидатуру, пригодную для обороны Сталинграда.

Хрущев вертелся и так и эдак, ссылаясь на то, что знаком только с теми людьми, с которыми имел дело на фронте, но Сталин прилип к нему, как банный лист, и Хрущев понял, что ему сейчас хоть с потолка снимай, но дай срочно командующего.

— Правда, есть у нас такой вот Гордов,— сказал он.

— Гордов? — переспросил Сталин.

— Хотя, честно говоря, много у него недостатков.

— Какие же? — заинтересовался Сталин.

— Сам-то он вот такого роста, щупленький, как недоносок, но очень грубый. Дерется! Бьет даже командиров, и в его армии нет людей, которые бы любили его и уважали.

— Это хорошо,— сказал Сталин, уже начиная испытывать симпатию к Гордову.— Это хорошо, что Гордов не боится дать в морду... Такие люди особенно нужны нам сейчас!

Решили. 27 июля Чуянова навестил мрачный, как туча, генерал Герасименко, ругал жарищу проклятую (хотя бы поскорее осень пришла), печалился о делах обороны города, и мнение его отчасти совпадало с недавним мнением генерала Чуйкова — Волга отрезала тылы от фронта, словно голову от туловища:

— Посуди сам, Семеныч! Тылы-то наши в Заволжье, а фронту, очевидно, бывать в городе. Наш правый берег — еще так-сяк, он обжитый, пусть и худые дороги, но все же проехать можно. А на левом берегу — пустота и безлюдье, ковыль да бурьян, верблюды шляются, даже куста нет, и только железная дорога, каких свет не видывал: прямо на земле рельсы уложены... — высказался от души Герасименко, потом объявил: — Новость у нас: нет больше Тимошенко, сняли.

— Кто же теперь станет в Сталинграде командовать?

— Генерал-лейтенант Гордов, который и поговорить-то с людьми не умеет. Правда, Никита Сергеевич при нем же останется, как и был, членом Военного совета фронта. Вот такие дела...

Странно! А если бы Гордов не махал кулаками? А если бы Гордов не прославился «матерным правлением»? А если бы Хрущев не вспомнил его? Может, и не было бы этого Гордова в истории величайшей битвы на Волге.

Писать об этом даже как-то неловко! Стыдно.

. . . .

В редкие минуты затишья со стороны зоопарка слышался над

Сталинградом жалобный, но могучий рев — это трубила слониха Нелли, никак не понимавшая, почему в такую жарынь ее перестали водить к Волге, чтобы она купалась. Фронт приближался, а среди военных странно было видеть командира в зеленой фуражке пограничника, и фронтовики иногда злобно окликали его:

— Эй, ты... граница на замке! Где же ты нашел границу свою? Неужто на Волге? Хоть бы фуражку снял. Постыдись!

— А граница вот здесь, где я стою,— не обижаясь, отвечал пограничник.— Это по вашей вине граница передвигается, вот и я передвигаюсь вслед за вами. Все зависит от вас, ребята, чтобы от Волги я вернулся опять к Бугу...

Тяжко было сталинградцам покидать свой город, где они росли и выросли, старики даже плакали порой, говоря:

— Господи, да в подвале отсидимся. Мы же здесь сызмальства, у нас и могилки-то дедовские вон тут недалече... Я же не сталинградский, я же ишо — царицынский, понимать надо!

Чуянов выбрал свободную минуту, чтобы навестить здание сталинградской тюрьмы, которая за эти дни превратилась в общежитие. Всюду, куда ни глянешь, женщины куховарили, простирывали в тазах бельишко, малолетки просились у матерей «а-а» на горшок. По длинным тюремным коридорам мальчишки гоняли на самокатах, детвора играла в пятнашки.

— А вы, друзья, эвакуироваться не собираетесь?

— Ни в жисть! — отвечала за всех бойкая старушенция с бельмом на глазу.— Эвон, стенки-то здесь каковы, будто в крепости какой. Я в своей одиночке даже занавесочки развесила... Здесь не страшно! Уж что-что, а тюрьмы-то у нас наловчились делать. Никакая бомба не прошибет...

11. ДИРЕКТИВА № 45

Немцев было много. Так много, что, занимая станицы, они разом вычерпывали до дна колодцы, вламывались в дома:

— Матка, вассер, матка, кур... матка, яик!

После них генералу Итало Гарибольди оставалось давить кошек, а румыны глодали свою кукурузу. Глядя, как прокатывается мимо немецкая мотопехота, хорваты говорили:

— У, собачье мясо! Пешком не любят ходить...

Паулюс в приказах по армии призывал солдат не смотреть свысока на своих союзников, находил доходчивые слова:

— Сейчас мы единая футбольная команда, стремящаяся к единой цели — забить решающий гол в ворота Сталинграда, которые, считайте, уже распахнуты перед нами...

После краткого периода гроз и ливней — снова иссушающая жара. Паулюс растирал рукою живот, мучавший его болями, и часто поминал доктора Фладе — того самого, что летел с трупом Рейхенау и врезался в ангар аэродрома:

— Слишком долго он собирает в лубках и гипсе свои переломанные кости. Хотя именно Фладе обещал избавить меня от болей.

Полковник Вилли Адам подсказывал:

— Почему бы вам не довериться главному врачу нашей элитарной армии — профессору и генералу Отто Ренольди?

— Как профессор, он более озабочен вспышками сыпного тифа и желтухой, а как генерал, он отважно сражается с гнидами и вшами, и ему некогда заниматься моим кишечником...

Степь казалась почти пустынной, в балках и низинах не сразу угадывалась близость хуторов, где яблони и виноградники окружали мазанки, а под купами старых вязов тихо дремали дедовские «копанцы», и только в речных долинах шумели рощицы.

«Страшная жара и голая степь без воды,— записывал в дневнике

некий Вильгельм Гофман.— Впервые в жизни мы наблюдали мираж. Кажется, впереди нас ждет лес и озеро, манящее к отдыху. Но лес и озеро все время от нас удаляются...»

— Странно,— озирались немецкие солдаты,— куда же делись местные жители? Даже старух и детей не видно...

Сидевшие в бронетранспортерах, они, как «сеньоры войны», легко обгоняли на своих моторах союзников.

— Одна команда! — говорили, посмеиваясь.— Но если забьем гол в ворота Сталинграда, то судья присудит победу вермахту, а этим голкиперам просвистит только штрафные...

Шестая армия занимала как бы промежуточное положение по фронту — между войсками Вейхса, что окапывались под Воронежем, и мощною группой Листа и Клейста, направленной в сторону Ростова и Кавказа. Инфантерия двигалась налегке, по-деловому засучив рукава до локтей, пилотки они держали заткнутыми за поясные ремни, а головы солдат покрывали яркие пластмассовые козырьки, какие носят спортсмены на стадионах.

Мнение солдат 6-й армии Паулюса было однозначно:

— Только бы выйти на берега Волги и выспаться в квартирах Сталинграда, а там, за Волгою, русских ждет голая калмыцкая пустыня, и тогда они сами поймут, что войну проиграли...

Для них, едущих или марширующих, стало уже привычным зрелище: грузовики, которые отъезжали в тыл, доверху заполненные мертвецами, еще вчера вот так же шагавшими в авангарде, еще сегодня утром рассуждавшими таким же образом: «Только бы выбраться к Волге — и война сразу закончится!» Для них война уже завершилась, хотя Волги они так и не увидели...

Пехоту нагоняли громадные автоцистерны с питьевой водой, и солдаты, наполнив фляги, шагали дальше, распевая:

Яволь, майне херн,
дас хабен вир зо герн —
яволь,
яволь,
яволь!

Смысл их песни был прост: сомнениям нет места, а они, верные солдаты фюрера, всегда готовы исполнить любые приказы. По вечерам, отдыхая от маршей, они включали радиоприемники, и до них доносился усталый немецкий голос — голос из Москвы, ежедневно предупреждавший: «Каждые семь секунд в России погибает один немецкий солдат...»

. . . .

Винница — «Вервольф» (оборотень). Опять благоухание приятной смеси керосина с креозотом. Снова трагическая война с комарами, пронизанная их гудением и торжествующими воплями Гитлера в редкие моменты его личных викторий...

Франц Гальдер медленным жестом, еще додумывая что-то очень важное, опустил на рычаг трубку зеленой «лягушки».

— Паулюс? — спросил Хойзингер.

— Нет. Его адъютант Вилли Адам.

— Что-нибудь случилось в шестой армии?

— Адам доложил, что в маршевых ротах убыль достигла предела... в иных ротах осталось не более пятидесяти человек.

— А вторые эшелоны? Наконец, резервы у Вейхса?

— Резервов нет, ибо Вейхс сцепился в смертельном поединке с армией Рокоссовского и окапывается под Воронежем, словно сурок, на которого пикирует ястреб. У Паулюса же второй эшелон — в основном итальянцы да румыны, которые, как и женщины, нуждаются в жестких корсетах, чтобы они выглядели стройнее. На них нельзя рассчитывать. Это лишь пробки для затыкания дырок в нашей протекающей бочке.

Совсем недавно Гальдер отпраздновал свой юбилей, получив от Гитлера ценный подарок — его же портрет с автографом, оправленный в рамку из серебра, и, казалось, ничто не предвещало беды. Сняв пенсне, Гальдер сказал:

— Не пора ли и нам тоже... окапываться?

— Не понял! — ответил Хойзингер.

— Мы уже завязли в России всем телом, широко раскинув руки в стороны Волги и Кавказа, а это... это чревато огромным напряжением не только для вермахта, но и непредвиденными последствиями для будущего всей Германии.

— Вывод? — спросил Хойзингер.

— Вывод таков: пора думать о переходе к жесткой обороне на зимних квартирах, чтобы морозы не застали нас в сугробах, как это случилось под Москвою.

— Вы только не скажите об этом фюреру,— намекнул Хойзингер,— он как раз уверен, что наши дела превосходны...

Гитлер не был последователен, воодушевляясь по мере нарастания того напряжения, какое испытывали фронты его вермахта. Так, например, поначалу он не требовал обязательного захвата Воронежа, но теперь указывал Вейхсу держаться за его улицы и переулки зубами; в его планы сначала не входило и взятие Сталинграда, но теперь он требовал от Паулюса непременного штурма этого города, который носил имя его соперника. Состояние победной эйфории, как и война фюрера с комарами,— рискованно затянулись...

Йодль думал если не совсем так решительно, как Франц Гальдер, но примерно так же осторожно. Он считал, что до Баку вермахту не добраться, следует ограничить себя Майкопом и Грозным, а все силы обратить против Сталинграда. Но едва Йодль заговорил об этом при Гитлере, как сразу разгорелся «неслыханный скандал, такого скандала еще никогда не бывало в ставке,— вспоминал Йодль перед казнью.— Меня должны были сместить с поста. Фюрер больше не здоровался со мной и Кейтелем, не заходил к нам, как бывало ранее, не обедал с нами...»

При встрече с Гальдером он спросил его:

— Теперь ваша очередь. Собираетесь говорить с ним?

— Пока нет. Жду случая.

— У нас таких случаев много. Поспешите за оплеухой...

По негласной, но старой традиции главную роль в немецком генштабе всегда исполнял северогерманец (лучше — пруссак!), а Гальдер был уроженцем Баварии, и, как ни странно, это обстоятельство тоже ослабляло его служебные позиции. Скандал не замедлил разразиться, когда Гальдер подсунул Гитлеру самую последнюю сводку из абвера:

— Мой фюрер, кажется, ваш премудрый московский коллега Сталин решил обогнать вас, производя в месяц *тысячу* танков.

Этого было достаточно:

— Я,— закричал Гитлер,— вождь величайшей промышленной державы, опираясь в своих расчетах на величайшего гения, в поте лица своего выпускаю *шестьсот* танков в месяц, а вы... герр Гальдер... о чем?.. уберите эту фальшивку!

При этой сцене, довольно-таки грубой и непристойной, случайно присутствовал и фельдмаршал Манштейн, который не забыл всей картечи оскорблений, летевшей в сторону Гальдера. Но при этом Гальдер и далее раскручивал жернова гитлеровской ярости, которые его же и перемалывали.

— Мой фюрер,— вежливо, но ехидно сказал он далее,— вы жалуетесь, что при упоминании о Сталинграде у вас начинает болеть живот, и ваше гениальное предчувствие, как всегда, вам не изменяет... Сейчас возникло слишком высокое перенапряжение двух фронтов в группах «А» и «Б», что сказывается на состоянии нашей пехоты и танков.

Вы требуете от войск небывалой твердости духа, забывая о том, что тысячи молодых немцев складывают в пирамиды свои головы и...

— Вы,— опять заорал Гитлер,— две войны подряд протирали штаны с лампасами на штабных стульях, и ваш мундир не имеет ни единой нашивки о ранении.— При этом Гитлер указывал на черную нашивку, украшавшую его мундир.— Как вы смеете судить о достоинствах германского солдата, который заставляет трепетать весь мир... даже небоскребы в Нью-Йорке сотрясаются от его могучей поступи! Да, мы будем в Сталинграде — это моя стратегия; да, наш вермахт прильнет к нефтяным скважинам Кавказа — того требует моя экономика...

Гальдер выбрался из барака фюрера распаренный:

— Фу! Как будто я побывал в русской бане, от чего меня избавь, всевышний... Все я понял, а не понял только одного: кто этот гений, на которого опирается наш фюрер?

— Альберт Шпеер,— с усмешкою пояснил Хойзингер.— Но вы ошиблись, докладывая о том, что русские производят тысячу танков в месяц. Абвер уже располагает новейшими данными, что Сталин каждый месяц имеет *две тысячи.*

— Чего? — не сразу сообразил Гальдер.

— Конечно же, зубных щеток! — смеялся Хойзингер...

Мартин Борман, заправляя партийным аппаратом Гитлера, прибрал к своим рукам — заодно с партией — и самого фюрера.

— Да, мой фюрер,— говорил он, словно сожалея о чем-то, безвозвратно потерянном,— с Гальдером пора кончать. Мы избаловали этого баварца в удобной для него роли «голоса певца за сценой», а быть главным солистом в нашей прославленной опере он попросту неспособен, ибо слишком зазнался и уже не внимает требованиям дирижера.

— Да, да,— соглашался Гитлер,— на его место я возьму человека с фронта, далекого от интриг в нашей лавочке, и чтобы он остался благодарен мне за выдвижение на высокий пост.

— Кто же это будет, мой фюрер?

— Я еще не решил. Но он станет распевать по тем нотам, в которые я ткну его носом... Йодль тоже заслужил хорошего пинка под зад! Но сейчас главное — Сталинград, при упоминании о котором у меня, это правда, схватывает живот...

Гальдер пролил слезу над урною своего дневника:

«Продолжающаяся недооценка возможностей противника принимает уродливые формы... О серьезной работе не может быть больше речи. Болезненное реагирование (фюрера) на вещи под влиянием момента и полное отсутствие понимания механики управления войсками...»

— Я буду противоречить фюреру до тех пор, пока он не вышвырнет меня на улицу, ибо никакими разумными аргументами убедить его сейчас уже невозможно. Фюрер перестал ощущать тлетворное дыхание катастрофы на Востоке...

Может, кризис верховного командования и не возник бы, если бы как раз в эти самые дни (последние дни июля) Гитлер не издал бы своей директивы № 45, ознакомясь с которой, Паулюс сказал:

— История этой войны — после ее завершения! — будет напоминать потомкам творения Гомера, в которых мы так до конца и не выяснили — где тут правда, а где тут вымысел...

Было ясно одно: Гитлер готовил Паулюсу небывалое возвышение, но прежде, нежели он возвысится, ему предстояло обязательно взять Сталинград и распять его...

До сих пор движение 6-й армии к Волге считалось едва ли не вспомогательным, дабы прикрыть северные фланги фельдмаршала Листа, но постепенно Сталинградское направление становилось чуть ли не самым главным. Паулюс в разговоре со Шмидтом сказал, что в этой директиве № 45 он обнаружил некоторые детали своего плана «Барбаросса»:

— Конечно, смешно было бы мне обвинять фюрера в плагиате. Зато как приятно вспомнить о лирических вечерах в милом Цоссене, когда из сада чудесно благоухало резедой и левкоями.

Артур Шмидт всегда был далек от лирики:

— Но теперь мы хотя бы точно знаем, что от Сталинграда нам уже не отвертеться. А ведь я иногда думал, что за Доном кампания и закончится. Чем только мой чертик не шутит!

. . . .

Еще день-два, и наступит роковое 25 июля, на которое планировалось захватить Сталинград...

Устремляя свою армию к этой цели, Паулюс был далек от нее, он захватывал лишь пустое пространство, но русские ловко выкручивались из его оперативных клещей, которые он раскалял докрасна в ночные часы раздумий над оперативными картами; выскальзывая из окружений, русские тут же создавали новые очаги обороны. Это немало удивляло Паулюса, и он частенько цитировал слова Фауста, обращенные к Мефистофелю:

— Ты много совершил чудес. Так выиграй сраженье, бес!..

Ганс Дёрр, участник событий, после войны писал: «Командование русской армии продемонстрировало редко отмечавшуюся ранее гибкость в управлении войсками и уверенно определяло момент для перехода от отступления к упорной обороне».

Недаром же Паулюс в раздражении признавал:

— Наступать русские еще не умеют, но отступать уже научились... Когда же закончится это соревнование? Русские получили от меня достаточно оплеух, но ринга еще не покинули. За это время они даже стали мастерами маневренных отходов, чему раньше их не обучали и к отступлениям не готовили. Но будет скверно, если они освоят приемы охватов и окружений... Впрочем,— говорил Паулюс,— мы наблюдаем только свои трудности, и мы еще не знаем, каковы трудности противника. Думаю, они не меньше наших...

Свою особую директиву № 45 от 23 июля 1942 года Гитлер открывал голословным утверждением: *«Лишь весьма незначительным силам противника из армий Тимошенко удалось избежать окружения...»* Далее (цитирую выборочно) Гитлер ставил задачи для группы «А»: *«форсировать р. Кубань и захватить возвышенную местность в районе Майкопа и Армавира... захватить Черноморское побережье... захватить район Грозного и частью сил перерезать Военно-Осетинскую и Военно-Грузинскую дороги по возможности на перевалах... ударами вдоль Каспийского моря овладеть районом Баку».* Для группы армий «Б» Гитлер ставил такие задачи: *« нанести удар по Сталинграду и разгромить сосредоточившуюся там группировку противника, захватить город, а также перерезать перешеек между Доном и Волгой и нарушить перевозки по реке (т. е. по Волге)... выйти к Астрахани и там тоже парализовать движение по главному руслу Волги... Степень секретности: Совершенно секретно. Только для командования».*

Первая же фраза возмутила «доктора» Отто Корфеса:

— По мнению Гитлера, противник уже поставлен на колени и с коленей не поднимется. Отсутствие пленных не есть ли прямое доказательство того, что именно значительные силы противника окружения избежали? Наконец, если мы желаем нанести русским решающее поражение, то для этого прежде необходимо знать, что русские собрали против нас именно свои главные силы, а потом их уничтожить. Но у меня нет уверенности ни в одном из этих факторов.

— Доктор Корфес,— отвечал Паулюс генералу,— я не смею отказать вам в парадоксальности мышления, но... Что вас смущает в этой директиве и в том, что вы наблюдаете?

— Гитлер, надо полагать, инстинктом определил, что именно под Сталинградом завязывается главный узел русского сопротивления. А смущает меня,— пояснил Корфес,— только календарь, ибо через три

дня кончается намеченный ранее срок взятия Сталинграда, но мы. наша хваленая шестая армия, застряли в излучине Дона и...

— Я с вами откровенен! — перебил его Паулюс.— Мы уже на пороге цели. Но, как любит выражаться наш фюрер, «без приближения окончательной победы». Я не наблюдаю осмысления всего происходящего в верхах — на высотах ОКВ или ОКХ, и сколько бы я ни испытывал ювелирные приемы оперативного построения планов, все равно...— Возникшая пауза требовала заполнения, и Паулюс признал: — Нам в чем-то отказано, а в чем именно — этого я еще не могу понять. Думаю, это «что-то» и есть тот роковой фактор удачи, о котором не раз говаривал еще Фридрих Великий. У нас немало побед, зато нет удачи...

Корфес поднялся, чтобы уходить. Но при этом сказал, что Германия, как учит опыт ее истории, способна выигрывать лишь молниеносные войны; Корфес погладил себя по вспотевшей лысине и еще раз глянул в директиву:

— Здесь фюрер изложил, по сути дела, отказ от всех законов войны, решив наносить удар не кулаком, а растопыренными пальцами... Вот эта штука под номером сорок пять,— сказал он,— приведет нас в Каноссу, но прежде как бы нашей армии не побывать при Каннах...

Паулюса даже передернуло: Канны, где Ганнибал устроил первый в мире котел гордым римлянам... Возмутительно!

Надо что-то ответить. А — что?

— Я,— ответил Паулюс,— не вижу среди русских полководцев ни одного генерала подобного Ганнибалу, который был бы способен устроить моей превосходной армии Канны. К сожалению, у меня начинает сдавать память, и я забыл имя римского полководца, который угодил в этот котел с тысячами своих воинов.

— Его звали... Пауллюс,— не сразу ответил Корфес.

— Неужели?

— Да, в котел при Каннах угодил Эмилий Пауллюс...

И тогда Фридриха Паулюса снова передернуло, а на левой части лица опять — как и раньше — начался нервный тик.

— Всего доброго, доктор Корфес, не смею вас задерживать далее. С вами мне всегда очень интересно... Благодарю!

. . . .

Паулюс был приятно взволнован, когда ему представился новый командир 51-го армейского корпуса — невысокий и курносый человек, внешне чем-то очень похожий на русского крестьянского парня. Это был генерал-лейтенант Вальтер Зейдлиц фон Курцбах, имевший громкую славу за удачный прорыв из Демянского котла. Зейдлица отличал апломб потомственного генерала, ибо его знаменитый пращур возглавлял кавалерию короля Фридриха Великого. На груди Зейдлица сверкал рыцарский крест с дубовыми листьями, а рукав мундира украшала особая нашивка.

— Это за Демянский котел,— пояснил он.— Я по себе знаю, каково побывать в котле, из которого я, слава богу, удачно вытащил сразу несколько дивизий. Теперь меня в Германии чуть ли не официально именуют «специалистом по котлам».

Паулюс смотрел на Зейдлица почти восхищенно.

— Браво! — сказал он.— Если вы признанный «специалист по котлам», то отныне моей армии не грозят никакие Канны и Ганнибалы, а я не останусь в жалкой роли Эмилия Пауллюса... Рад! И не скрываю радости, что вы, Зейдлиц, мой генерал...

Конечно, 25 июля победное вступление 6-й армии в Сталинград не состоялось, и, наверное, именно по этой обидной для Паулюса причине барон Кутченбах застал своего тестя в некотором унынии. Паулюс перебирал большие картоны с наклеенными на них оперативными картами, как это делает разочарованный художник, пересматривая

завалявшиеся эскизы к неосуществленной картине. Шедевра не получилось!

— А не выпить ли нам по этому случаю ликера?

— Вы чем-то удручены? — спросил Кутченбах.

— Просто я сегодня вспомнил забытого английского поэта Джона Донна: «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Может быть, колокол звонит по тебе...» Надеюсь, вы меня поняли?

— Да! Но если не в июле, так в августе мы будем на Волге.

— Желательно,— отвечал Паулюс, смакуя бенедиктин.— Но моя армия прежде нуждается в усилении. Артуру Шмидту я не совсем-то доверяю и потому решил послать в ставку фюрера своего верного Вилли Адама...

30 июля в ставке под Винницей состоялось совещание. Хойзингер — со слов адъютанта Паулюса — доложил, что напряжение маршевой 6-й армии достигло критического предела.

— Паулюс задействовал уже восемнадцать дивизий, но не исключено, что русские скоро принудят его перейти к обороне.

Гитлер на это сказал:

— Но даже Тамерлан не имел такую ораву войск, какой обладает сейчас Паулюс! К тому же у Тамерлана не было семисот сорока танков, и его не прикрывал с неба воздушный флот Рихтгофена. Я опасаюсь, что удар шестой армии будет нанесен в пустоту, ибо русские части уже разгромлены и деморализованы.

Йодль авторитетно заявил, что недавняя передача 4-й танковой армии Германа Гота на южное направление была тактической ошибкой, а судьба Кавказа зависит от Сталинграда.

— Для поддержания Паулюса необходимо срочное переключение сил из группы «А» в группу «Б». Танковую армию Гота следует развернуть обратно — и пусть она давит на Сталинград с южной стороны, от калмыцких степей, где Сталинград почти не имеет войск и обороны, наши «панцеры» легко выйдут к городу — вдоль железной дороги от Котельниково. Можно снять и резервы с участка станицы Вешенская, доверив оборону этого фланга генералу Итало Гарибольди и его кошкодавам...

Адам вернулся из Винницы радостно-возбужденный:

— Тамошние комары совсем одолели нашего фюрера! Сейчас не только Йодль, но даже Кейтель изнывает от страха — как бы их не отправили на передовую, чтобы они заработали нашивку о ранении. Даже Франц Гальдер так запуган, что бродит из барака в барак, словно потерял кошелек, и лишь один Хойзингер процветает... Главное сделано: армия Гота повернула назад!

— Яволь,— радостно отвечал Паулюс.

Его штабной «фольксваген» тронулся, перед ним расступались колонны марширующих, и он, командующий, почти с нескрываемым удовольствием выслушал обычный рефрен: «яволь, яволь, яволь...» Вовсю стучали штабные телетайпы, кокетливая солдатка-радистка поймала голос Москвы, который день за днем повторял для них одно и то же: «Каждые семь секунд в России...» Обгоняя «фольксваген», мимо моторизованных колонн пылил мотоцикл с коляской, в которой отчаянно трясло на ухабах «специалиста по котлам» Вальтера Зейдлица:

— Не раскисать, парни! — покрикивал он.— С нами теперь и бог и Гот, а до Волги не так уже много осталось... к рождеству будем дома! Сталинград — это конец войне...

(Пройдет два года, и этот же генерал Зейдлиц пойдет на запад — в рядах Красной Армии, помогая нам развенчивать славу гитлеровского вермахта. Но тогда, в очень знойное лето 1942 года, он сам душой и телом был предан этому вермахту...)

Подготовка текста и публикация Антонины ПИКУЛЬ.

Окончание следует

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

СРОК ПРИСЯГИ, ПАМЯТИ И ДОЛГА

* * *

«Последний парад наступает...»
Из народной песни «Варяг».

Недавно в полночь я включил приемник —
Авось войнович или прочий ёрник
какую-нибудь мерзость скажет мне,
но слышу вдруг сквозь вьюги и просторы
гранитных монументов разговоры
открытым текстом на простой волне.

— Ну как ты там томишься возле Шпрее? —
— А в Будапеште будто веселее:
глумленье черни, крики, мокрый снег.
Мой постамент вчера облили краской,
хотел я по толпе шарахнуть каской,
да позабыл, что я не человек!

— Моя «тридцатьчетверка» недалече —
в соседнем государстве,
слышу речи,
чтобы продать ее, а с ней меня!
Но как продать то, что не продается?!
А ведь нажми стартер — и заведется!
Хорош мотор! Надежная броня!

— Чего молчим? Мы здесь стояли долго,
но срок присяги, памяти и долга —
все проржавело! Слава не в чести.

Я слышу, митингуют возле Вислы.
Нам не нужны ни паспорта, ни визы,
пора мою машину завести.

— Но что случилось? Мы же победили!
Что из того, что я лежу в могиле?
Я не покину этот постамент,
пока Генералиссимус иль Маршал
нам не прикажут отправляться маршем
туда, где ждет нас некий президент.

Донесся голос из далекой Праги:
— Минуло время славы и отваги,
нас одолели, как на фронте вши,
парламентарии да бизнесмены,
нас предали на набережных Сены,
где проданы все наши рубежи.

Айда домой! От Эльбы до Дуная
аж застонала вся земля сырая:
— Прощайтесь с теми, кто во мне лежат!
— Уже навек простите нас, ребята,
коль в этом мире ничего не свято —
тогда пошли!

— А где же наш сержант?

— Сержант в Берлине. Он уйдет последним.
Он на руках с дитем четырехлетним.
Я знаю: он не хочет слушать нас.
Он брал Берлин. Вот если маршал Жуков,
чтобы сержанту не стыдиться внуков,
на отступленье даст ему приказ...

— А где Алеша? Кажется, в Софии? —
— Я в Пловдиве! —
— Мы двинулись к России.
Ты Скобелева пригласи с собой.
— Он здесь стоит, но по другому праву,
его не тянет в родину-державу,
где надругались над его судьбой.

— Предупредите парня из Белграда,
там тоже дух кощунства и распада
осилил славу...
Помните, друзья,
мы мертвых выносили с поля боя,
нам здесь не будет вечного покоя,
нам оставлять здесь никого нельзя.

«Тридцатьчетверки» и «сорокопятки»
пойдут за нами в боевом порядке,
нам не пристало технику бросать,
хоть слух прошел, а может, люди брешут,
что всю ее на родине разрежут
и переплавят... Так-разэтак мать!

— Ну, с Богом в путь! —
...И тронулись солдаты!
Под ними простираются Карпаты,
в тумане тают Прага и Белград,

ползут за ними в боевом порядке
«тридцатьчетверки» и «сорокопятки»:
последний начинается парад.

Прошли, как тени, по-над Венским лесом,
над Брестом, Львовом, Минском и Смоленском
уже вдали мерещится Москва...
— А где привал? Быть может, на Поклонной?
— А где гора? Да нет ее, исконной!
Ее снесли, нас не было пока!

— А кто же снес? Все те же лилипуты,
поклонники гешефта и валюты.
— Так много их?
— Везде, куда ни глянь!
Все те же, что нас предали на Мальте,
кто распродал все, что воздвигли в Ялте
солдатский штык и сталинская длань.

— Я знаю, ты, который из Калуги,
с единственной медалью «За заслуги»,
тебя я должен отпустить домой,
но есть у нас последняя отрада,
есть право для последнего парада
на знаменитой площади одной.

Замрем на миг. Поклонимся брусчатке.
На ней еще не стерлись отпечатки
подков породистого жеребца,
на коем Маршал выезжал когда-то...
Могила Неизвестного Собрата —
ни имени, ни даты, ни лица...

Поклон ему...
Обнимемся, и с Богом
по большакам, по городским дорогам,
к ручьям и травам мимо троп и трасс,
все ближе дом, все ближе те старухи,
чьи молодые горестные руки
тому полвека, как обняли нас.

Ты стукнешь в ставень — и, глядишь, от стука
проснется обветшалая подруга,
а ты, как сон, уйди в густой туман,
в тот, что стоит на родовом погосте,
где пращуров уложенные кости
блюдут покой деревьев и полян.

Все кончено, и мы свое свершили.
Куда теплей лежать в родной могиле,
чем выносить ветра и холода
в Берлине, Праге или в Бухаресте...
Еще на миг мы остаемся вместе —
и разошлись... Простимся навсегда.

. . . .

На родине весенние туманы,
и призрачные люди-великаны,
как тени, растворяются вдали...
Закончилась большая эпопея.
Ни злобы. Ни восторга. Ни трофея.
А только влага да озноб земли...

Театральная площадь

Я знаю продолженье фарса:
Свердлов глядит в затылок Маркса,
и слышит основоположник
его картавый шепоток:
«Тебе-то что! А я заложник,
увяз мой цепкий коготок
в грязи,
в крови,
в российском лоне...
Тебе легко, ты в Альбионе,
надежно огражден твой прах.
А на меня глядят угрюмо,
и зреет в тяжких взглядах дума,
превозмогающая страх.
Меня мой жребий не минует:
снесут и переименуют
поселок, город и колхоз.
Крещенье... Патрули... Мороз...
Зачем я некогда читал
твой знаменитый «Капитал»,
твой пресловутый «Манифест» —
диктатор выдаст, «Память» съест!
Я был бы маленький аптекарь,
или искусный часовщик,
или полезный людям лекарь,
или толковый кладовщик.
Ты соблазнил меня, обманщик,
а тут еще кровавый мальчик
в глазах!..»
Молчит гранитный Маркс,
трагедия уходит в фарс.

* * *

«Союз нерушимый...»

В честь президента гимн играют,
приветствуя его визит.
Толпа послушно замирает,
у всех официальный вид.

А президенту очень плохо:
он чувствует, что гимн фальшив —
не те слова, не та эпоха,
не тот настрой, не тот мотив.

Он машинально повторяет
слова,
а на лице тоска,
как будто зубы выдирает
ему неловкая рука.
Он знает: слово — это дело,
оно пером и топором
в державное врубилось тело
и вот бестактно, неумело
из горла рвется напролом.

Он знает: в жизни все возможно —
и рынок, и переворот...
Но гимн — чтобы звучал не ложно!..
Что делать? —
мрачно, осторожно
он полуоткрывает рот.

* * *

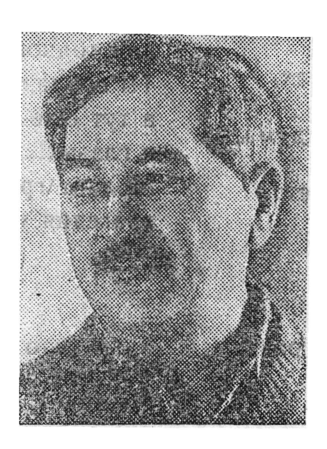
Коль земная могучая ось
вдруг изменит свой угол наклона
и прогреется солнцем насквозь
полюс холода у Оймякона,
и растает Великий сугроб,
брат Антарктики и Антарктиды,
и настанет всемирный потоп
на планете, сошедшей с орбиты,—
я тогда сколочу свой ковчег
и по темным российским глубинам
поплыву, словно прачеловек,
к араратским священным вершинам,
чтоб найти у библейской горы
на спасенье последние шансы,
где, как братья, разводят костры
и армяне и азербайджанцы.

* * *

Парламентарии всех стран
то в раж впадают, то в зевоту,
а пролетарии всех стран
оплачивают их работу.
А я транзистор отшвырну
и выйду на пустынный берег
смотреть, как в черную Мегру
лосось врывается на нерест.

Какая жизнь шумит вокруг,
какие страсти в птичьих звонах!
Мне скушно, друг, мне тошно, друг,
страдать о правовых законах...
Засну под мерный шум дождя,
проснусь под грозный рокот ветра,
чтобы не слышать ни вождя,
ни лидера, ни президента.

СЕРГЕЙ ВОРОНИН



БАБЬЕ СЕРДЦЕ

РАССКАЗ

Умирая, он велел похоронить себя с отпеванием в церкви. И чтобы на могиле обязательно отслужил священник. Эту его последнюю волю не исполнить было нельзя, чтобы потом не терзаться угрызениями совести. «Вечная память!» — пел хор, вторя голосу священника. «Избави Бог и помилуй!» — шептала тихонько Клавдия Анисимовна, немолодая, высохшая от постоянного безмирья в семье, от постоянно недовольного ею мужа, который теперь лежал в гробу с втянутыми в рот губами и крючковатым носом, похожим на клюв кречета. «Ничего не хочу помнить! Не хочу его памяти!» — а сама неотрывно глядела на землисто-застывшее лицо покойного, глядела и боялась: а вдруг кашлянет, отхаркнется и встанет? И снова будет продолжаться та самая жизнь, которая мучила ее последние годы. «Не хочу, не хочу помнить!» — продолжала она заклинать и на могиле, когда пели «вечную память», и дома, когда уже отшумели поминки. И запрещала себе вспоминать что-либо связанное с мужем.

Теперь никто ни в чем не мог ее упрекать. Что хотела, то и делала. И все же нет-нет да и поймает себя на мысли, не слыша его брюзжания: «Куда это он запропастился». И облегченно вздохнет, что нет его и никогда уже не будет.

Они почти одновременно вышли на пенсию. И тут, толкаясь целы-

---

ВОРОНИН Сергей Алексеевич родился в 1913 году в городе Любиме Ярославской области в семье служащего. Живет с детских лет в Ленинграде. Окончил фабзавуч, работал токарем. Трудился 8 лет в различных изыскательских партиях новых железных дорог. Автор книг «Две жизни», «На своей земле», «Ненужная слава», «Заброшенная вышка», «Деревянные пятачки», «История одной поездки», «Без любви», «Стук в полночь».

ми днями бок о бок, она впервые познала его характер. Всё было не по нему, всё не так. И ни разу доброго слова. «Здорова ли? Может, чего хочет? Чем помочь?» Только и зырил глазами, выбирая какой непорядок, чтобы прицепиться, обвинить в неряшестве.

— Да провались ты со своим чистоплюйством! — выведенная из себя, взрывалась Клавдия Анисимовна,— делай сам, коли что не по тебе!

— Почему это я должен? Ты хозяйка, тебе и следить. У других баб, поглядишь, чистота, а тут...

— Что тут? Что тебе от меня надо?

— Чистоты надо. Вон со стола не убрала.

— Так убери сам!

— Еще чего? Тогда на кой ты и нужна мне, чтоб я еще убирал за тебя.

— Разводись!

— Дойдет, и разведусь.

И так чуть ли не каждый день. Все не так, все не по нему. Надоел до того, что возненавидела. И развелась бы, да куда уйдешь. Дети в своих семьях живут, там не до нее. А размениваться — кто позарится на однокомнатную в первом этаже? Да и как ее разменяешь...

И вот нет его. Тишина. И такое внутреннее состояние, будто вернулась в то время, когда была незамужняя, сама по себе. И невольно подумалось: «Как же могла жить в такой кабале, особенно в последние годы, когда и получку пропивал, бывало, что и домой не являлся?» Но теперь всё. Свободная. Словно груз с себя сбросила.

На другой же день после похорон вышла на улицу. Сто раз бывала на ней, а тут как впервые увидала, светлую от морозного январского солнышка. Постояла в раздумье, в какую сторону двинуться, и про себя улыбнулась. Да в любую. Иди куда хочешь! А зачем? Да так просто. Никто тебе не указ. Хоть целый день гуляй. Отчитываться не перед кем. Если и потратишься, так что? Опять же твое дело.

Нет, ничто ее не огорчало и не тревожило. Все было в радость. Могла целыми часами сидеть у телевизора и смотреть все подряд, что показывают. И никто не оговаривал, не ворчал, не брюзжал. Не требовал, чтобы готовила по заказу обед. Самой хватало бутылки молока и булки. И вдруг оказалось много свободного времени. Не знала, куда себя девать. Днем ложилась вздремнуть. И первые дни спалось. Так было приятно понежиться, но потом отошло. И по улице разонравилось бесцельно ходить. И у телевизора торчать часами. Все как-то быстро приелось и потянуло кому-то чего-то делать, быть нужной. Побыла у дочери, но там и без нее тесно, да еще и свекровка не очень-то любезная. К сыну же лучше бы и не заглядывать: что ни день, то выпивки, и невестка от него не отстает. А дома пусто. И хотя еще не было сожалеющих мыслей о муже, но и та надсада, злость на него уже не были в той силе. И Клавдия Анисимовна нет-нет да уже и вспоминала то хорошее, что было когда-то в ее жизни с мужем. А была молодость, и всё тогда ладилось. Была любовь и желание, чтобы все было хорошо, не хуже, чем у людей. Помнится, родилась дочь. Сколько было гордости, когда он нес ее из родильного дома.

— Что ж это ты, Николай, брак допускаешь,— шутя сказал его отец.— Надо бы сына.

— Зря, папаша, говоришь. Сын что! Вот дочь, тут нужна очень тонкая, ювелирная работа.

Находчивый был. И не обидчивый. Родился и сын. И все бы хорошо, но что-то стало в самой государственной жизни ломаться. Все больше беспокойства в магазинах. Очереди. Того не хватает, этого нет. Люди стали нервничать, опережать друг друга, ругаться в очередях. И все больше стало пьяных. И не только мужчин, но и женщин. Никогда не бывало, чтобы в цеху в перерыв пили, а тут как звонок, так

и бежит кто за ворота и тащит бутылку «на троих». И Коля стал выпивать.

— С какой это радости пьешь-то? — сказала ему.

— А все пьют, и я тоже,— и засмеялся, как глупенький.

— Все в яму полезут — и ты тоже?

Тогда еще шутил. Понимал серьезный разговор. А как стал больше пить, так стал и звереть. Слова не скажи. Что не по нему — ругаться. Это пьяный. И трезвый не лучше. И день ото дня все хуже и гаже. И возненавидела. И думала, никогда прощения не будет. И нет его, но что-то в памяти уже сдвинулось, и все меньше в ней злых замет, доброго еще нет, но и зла того, что было, тоже нет. А тут еще как-то во сне он явился, молодой, белозубый, и чего уж давно не испытывала от его поцелуев и жарких ласк... Проснулась и потянулась томно, и сразу и не поняла, что это всего лишь сон был. А когда пришла в себя и вспомнила, что Николая уже больше месяца, как нет, стало так не по себе, что впору было заплакать. И тогда то, что еще совсем недавно казалось в нем нестерпимым, стало не так уж и важно. Больше того, может, в чем-то он был и прав. Да, не во всем же виноват... И вместо того чтобы ожесточиться, надо бы подойти к нему, сказать ласковое слово: ведь не чужой был, отец ее двух детей...

И теперь уже, чем дольше оставалась наедине с собой Клавдия Анисимовна, тем больше начинала понимать, что не в муже только была причина их тяжкой жизни в последние годы. Судьба складывалась не по их вине тяжко. Чего он стал пить-то? Кто знает, что было в его душе, что томило его. Ведь и то надо сказать, жизнь-то пошла какая нескладная, безверная. То, что вчера хвалилось, сегодня ругается, что было плохо, стало хорошо. И эта водка проклятая! Пока ее было вдоволь в магазинах, так и не пили взахлеб, а как урезали, так словно разум помутился, только и стало на уме, как бы успеть захватить да напиться. Зачем это-то сделали?

Вот такие и другие разные мысли стали томить Клавдию Анисимовну. И чем дальше отодвигался день кончины Николая Ивановича, ее мужа, тем больше как бы очищался его облик в ее сознании. Этому еще способствовало постоянное, как бы навечно прописанное в ее квартире томительное одиночество. Ее голова только и была занята воспоминаниями о том, как жили, что было хорошего. И теперь уже обретенная свобода не только не была нужна ей — она угнетала ее, несла бессмысленность жития.

В конце концов это завершилось тем, что однажды сидела и плакала, и казнила себя за то, что если бы был жив ее Коля, то она нашла бы нужные слова и сделала бы так, чтобы вернуть их прежние отношения, когда они еще не ссорились и так были нужны друг другу.

Как-то об этом она поведала дочери, но та, затолканная житейской сутолокой, не только не поняла ее, но даже и слушать не захотела.

— То ругались, как собаки, а тут спохватилась,— зло сказала она.— Делать тебе нечего.

— А это всегда так: что имеем — не храним, потерявши — плачем,— добавила свекровь.

Ей такое было легко говорить, потому что в своей жизни она ничего не теряла, а только приобретала.

С сыном же говорить о возникшем чувстве сожаления к его отцу она и не помышляла, зная, что он и слушать ее не станет. С отцом у него давно были порваны всякие отношения. И ей оставалось одно — все переживать самой. И от этого муж все меньше представал в памяти брюзжащим пьяницей, и в сознании возникал человек с изломанной судьбой, обиженный жизнью. И ей становилось уже жаль его. И то,

что он ушел раньше времени, была как бы и ее вина. Была бы пожалостливей да поласковей, глядишь, и не мыкала бы свою вдовью долю

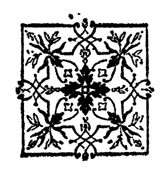
Привело это все к тому, что однажды в один из весенних воскресных дней она отправилась на кладбище. С того самого морозного дня, как похоронили Николая Ивановича, она не была на его могиле. Но знала по справке, в каком ряду и под каким номером находится захоронение. Для этого ей пришлось пройти по длинному узкому коридору, устланному квадратными серыми плитами, меж выстроенных в ряды бетонных надгробий с бетонными крестами и пирамидками. И вправо, и влево в строгом геометрическом порядке простирался город мертвых.

Помнится, когда хоронили Николая Ивановича, такого множества могил не было. И хотя с безоблачного неба лился солнечный поток, на сердце было тяжко, и эта тяжесть увеличивалась с каждым шагом по мере приближения к могиле.

Клавдия Анисимовна и не думала, что могила ее мужа может быть в таком ужасном состоянии. Холмик осел, и бетонный крест повалился на сторону, выломав край у раковины.

— Ой, какой стыд-то,— прошептала Клавдия Анисимовна и оглянулась, чтобы кто помог ей поставить крест, но никого не было. Только далеко-далеко виднелась кучка людей. Наверно, кого-то хоронили. «Что ж это, господи»,— все в большем смятении прошептала она, и вдруг из каких-то глубин ее сердца вырвался стон, и только теперь, познавая всю необратимость потери, заплакала навзрыд, припав к холодному кресту. Ее руки скребли теплую весеннюю землю, словно пытаясь добраться до того, кто ушел от нее навсегда.

Ялта.
16 октября 1990 г.



Отечественный архив

БОРИС ШИРЯЕВ

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

РОМАН

Глава 17
ИГОЛКА — СТО РУБЛЕВ!

Как скопнили сена, решил царь со старейшинами ходуна Нилыча в Кострому сгонять.

Тут у крестьян недельки две вольготных получается. Ране первого Спаса у нас жита не косят.

Вышел из дому Нилыч, еще зорька не занималась. Путем-дорогою двух верст не прошел и взял напрямик через топь. С кочки на кочку, как заяц, попрыгивает, посошком твердыню ощупывает. Прыткий, даром, что седьмой десяток на исходе... Солнышко ясное на полдень стало, а Нилыч уже топь перевалил и, лаптей не замочив, присел в буреломе, в тенечке, хлебушка из котомки достал, соли в тряпочке, пожевал, перекрестясь на восток, испил водички болотной и дале побрел.

Любо ему бором идти. Земля чистая, желтой хвоей, как песком морским, усыпана. Могучие сосны стеной стоят, в небо вершинами упираются. Холодок. Не пробивает ярило своими стрелами зеленые своды нерукотворенного Божьего храма. Черныши-тетерева молодые из-под ног порхают. Лиса-патрикеевна из дремучего папоротника остроносое рыльце высовывает. В чаще, в гущине и на самого хозяина очень просто наскочить. Залезет он, бурый, в малину, загребает лапами кусты и сосет спелую душистую ягоду. Ничего. В эту пору медведь человеку не страшен. Сытый, весь жиром залит, что боров кормленый. На ягоду, на сладкий мед его тянет. Сунь ему под самое рыло хоть телка — отвернется. Гукни на него с присвистом — убежит.

Нет страха в лесах для Нилыча. Все лесные приметы ему ведомы: взглянет на пень замшелый, и тот пень ему путь укажет.

Полон творений Господних темный лес, и каждое хвалу своему Создателю воспевает. Вот хоть грибы, уж, кажется, проще их нет созданий. Бабам да ребятишкам лишь ими заниматься. А погляди, у каждого свой обычай. Стоит пузатый гриб-боровик, как купец раздулся. Нашел — ищи рядом другого. Всегда парой живут. А грузди — те скопом, в кучу собьются, сухим листом укроются и прижукнутся в тайности. Осенью опенки на пнища гнилые набегут, что цыплочки под наседку. Бери их всею горстью.

Папоротник-трава клады указывать может, если кто петушиное слово знает. Много их в лесах позарыто. Хоронились здесь лихие душегубы и разбойники от

Продолжение. Начало в №№ 4—6 за 1991 год.

царского гнева. Что награбят на матушке-Волге, сюда, в леса, тащут, куда царская рука коротка.

Много чего от дедов про лес слыхал Нилыч, многое и сам повидал. Ученые люди говорят — лешего нет, одна выдумка. А ты ночуй в глухом лесу: и услышишь и увидишь. Днем-то он спит, а ночью хозяйство свое блюдет, осматривает. Встретишь, иди к нему без страха, но с вежливостью шапку скинь, скажи:

— Здравствуй, дедушка Когтев!

И ничего тебе не будет.

То же и русалки. Скучно им без мужского племени, известно — девки все на один лад. Попадешь к ним — играм их не противься. Повесели водяниц, песню спой. Поиграй с одной, другой. Греха в том нет. Не исчадья они сатанинские, а души бездольные, тоже Божьи творения.

Переспал в лесах две ночи Нилыч и на луга вышел, которые матушка-Волга поит. Потому они и поймой прозываются. Заблестели главы Ипатьева. Свято место древнее. Отсель земли русской устроение вышло.

Мимо врат монастырских идет Нилыч. Что за притча такая? Врата настежь растворены, а монахов да нищей братии не видно. И пора бы уж к ранней благовестить, а молчат на диво подобранные певуны-колокола. Над вратами красные полотнища протянуты, а на них что-то мелом написано. Николи такого не видывал на святых вратах Нилыч.

— Чудеса!

Через Костромку мост, как и прежде. Только бутаря нет, который проходную копейку брал. Ну что ж. Это к прибыли.

Вот и Зотова фабрика. Велика она, десять тысяч народу кормит. А людей опять не видно, и из труб дым не валит. Неужель прикрыл Зотов свое огромное заведение? Чем же тогда людям сим существовать?

Что дале, то чуднее становится. На главной площади, от которой улицы на все стороны идут, по-прежнему столб каменный стоит, под ним Сусанин колена преклонил, а Царя-отрока со столба как ветром снесло... Заместо него красный флаг утвержден. И на присутствии, и на кордегардии, и на доме губернаторском — везде красные флаги болтаются. Здесь людно, спешит, бежит народ, а куда — не понять: на Русиной улице все окна у лавок досками забиты.

Нилыч на базар подался. И здесь людно. У мясных лотков бабы на крик друг у дружки говядину рвут. Чудная говядина, темная...

Осведомился Нилыч у одной:

— Почем, сударыня, за говядину эту платили?

А она на него бельмы выпучила.

— Слепой ты, что ль, аль пьян с денатура? Говядина-то — конина!

— Тьфу! Окаянство!

Перед булочной — светопреставление. В двери народ лезет, друг дружку давит, а подалее, чуть не на полверсты!, один за одним в ряд стоят, и всё лаются. Из дверей кто выскочит, малый кулечек в руках держит, а то и прямо в горсти: хлеба окромышек и еще что-то.

Опять поинтересовался Нилыч:

— Что это такое будет?

— Не видишь, что ль, старый черт, опять хлеба четверка да полфунта жмыха на талон!

— Эге! Вот оно почему люди лаются!

А навстречу баба идет. Пачку иголок в руке держит. Аккурат, что Нилычу надо. Заказала своя баба беспременно иголок купить.

— Почем пачка, мать?

— На штуки продаю. Советскими — сто, керенскими — сорок.

В уме ли она своем, али смеется?

— Нилыч! Здорово! Как Бог принес?

Слава те, Господи! Человек знакомый. Жирновский приказчик, что товар в Урени возил.

— Здравья вам желаем. На своих на двоих по первопутку.

— Ишь веселый какой! Из Уреней?

— Из них самых.

— Наслышаны. Царство там свое учредили, а у нас вишь какая республика.

— Глазом вижу, а в толк не возьму. Бабонька вон энта сто рублев за иголку просит...

— Скоро, дед, и тысячу заплатишь, к тому идет.

— Да ведь это разоренье народу?

— А кого разорять-то? Русину улицу видал? Вся торговля прикрыта, а какой был товар — обобран. Купцы побогаче в заложники взяты, в остроге содержатся, а Огородчикова, барина, что за воров да за мошенников в суде заступался, насмерть застрелили. Вот она какая, республика-то, — а сам в сторонку Нилыча отводит, на ухо шепчет: — Красный террор объявили, чтоб, значит, всех буржуев искоренить, чека в город прибыла и трибунал с матросней. Теперь держи ухо востро. Дай срок, и до вас доберутся. Сила! Ну, прощевай, Нилыч, мне жену сменять надо, с вечера в череде стоит.— И убёг.

У Нилыча в голове как обухом стучит. Вот где лес-то темный! К кому пойти, кого спросить, что всё это обозначает?

Решился. К землемеру. Барин хороший, ученый, годков пять назад, когда дачу казенную обмерял, в Уренях у попа помещался. С той поры у него же на кухне Нилыч всегда ночевал, когда в Кострому бегал. К нему, значит.

Землемер дома оказался. В огородике копается. Нилыча встретил ласково.

— Чайку попьешь? Ничего, брат, не обмирщишься, он морковный. Китайский-то — тю-тю, скончался, царствие ему небесное. Ну, выкладывай, с чем пришел?

Все ему Нилыч поведал: и про Фролку, и про царя избрание, и про конину, и про иголку сторублевую.

— Скажи, барин, на милость, что всё сие означает?

Змлемер бороденку почесал и очки протер:

— Объяснить тебе это трудновато. Означает сие революцию и крушение общественных устоев.

Долго рассказывал землемер. Неукулемные слова выговаривал, но всё же дал мозгам просветление. Народ, царя скинув, разбаловался: работать никто не хочет, и всяк за готовое хватается. Удержу никому нет. Жрать всем надобно. Господ обобрали, купцов тоже и крестьян пообчистили. Это и есть коммуна. Теперь обирать больше некого. Потому и в булочной жмых, а иголка — сто рублей. Фролки же всякие с мужика последнюю шкуру дерут.

— А когда же тому конец наступит?

— Это ты, брат, в пророки меня произвести хочешь? Но предполагать возможно. С наступлением холодов должно вспыхнуть народное возмущение, и советский строй падет.

— Ленину, значит, крышка будет?

— Всенепременно. И не далее, как к Новому году.

— А нам как быть?

— Ваша судьба может сложиться двояко: или с наступлением зимнего пути вас уничтожат, или советский строй падет раньше, и тогда вы спасены.

— Значит, ожидать?

— Ожидать и надеяться, а по мере сил защищаться.

— Та-а-ак... Значит, всё от Бога! И на ту сторону кладет и на эту. Барин ученый, а и ему в точности ничего не известно. Где же нам-то понять!

В ту же ночь Нилыч домой тронулся. Ну ее, Кострому, шутову сторону!

Еще шибче назад бежит Нилыч. Земля ему споды ножные жжет. Не радует его теперь ни дух легкий, ни куща зеленая, ни птичий свист. Повидал он людское томление, скверность, оскудение, и думается, что то же и в Уренях будет.

Порубят тебя, темный сосновый бор, поразгоняют птицу и зверя, сгинут русалки и девки чарусные, леший-хозяин в иные места уйдет. Правое слово сказал землемер: «порушены жизни устои». Где же устоять Уреням, когда вся Русь великая суетным беспутством объята?

Глава 18

ВСЁ В ВОЛЕ ГОСПОДНЕЙ

Прибежал и без роздыха тут же царю и старейшим пересказал всё, что видел. Мужики и старцы сидят молча. Нет ни шуму, ни гомону. Царского слова ждут. Протекло время немалое, пока начал свой сказ царь Петр Алексеевич.

— Что городские заместо хлеба скотьим кормом пробиваются и поганый татерский махан жрут, нам то ни к чему. Своего хлеба хватит, а убоины более того. И что иголка по сто рублев пошла, тоже беда невеликая: шивали в старые времена деревянной иглой, пошьют ею и теперь бабы, а что лавки да лабазы заколочены стоят, даже и к лучшему: соблазна менее для крестьянства. Корень же всего в том, о чем барин двоеручно высказал: устоять ли Уреням, пока Ленину с его властью рушение придет, или же наступит нам ранее того разор и от города порабощение. Коли судил Господь Уреням непопранными пребывать, и сойдется по баринову слову что к Рождеству Ленину и его сатанинской орде конец, то стоять на своем надо: накрепко затвориться, заставы на путинах учредить, лесу порубить и засеки поставить. Аракчеевскую гать, что при Галицком шляхе,— разорить. Своего же воинства до трех сотен поставить можем, и все стрелки. Окромя того и солдатский пулемет имеется, фронтовик же Яшка палить из него умудрен. Даст Бог — отсидимся.

Если же по баринову слову не сбудется, то лучше нам допреж самим на мир идти и городских к тому склонить. Поклонимся хлебушком, рыбкой, убоинкой от своего изобилия. Голодный народ за хлеб святой крест с шеи снимет, а тем более на нашу сторону склонится. Вот это причинство и надлежит нам здесь соборно порешить.

Теперь все разом зашумели. Кричат, один другого не слушает.

Мельник орет:

— Знаем это дело по Фролкину примеру! накормишь их, несытых! В одной Костроме сорок тысяч ртов, а поди по другим городам посчитай. Оберут дочиста!

— Верно! Палец им дай, они всю руку потянут.

— Нет! На мир надо склоняться. Против рожна не попрешь! Сам говоришь — одна Кострома сорок тысяч. А по всей губернии сколько? Не устоять Уреням супротив такой силы, — орет Лукич Селиверстов, что торговлишкой занимался.

— А тем более, народ отощал, злой, что волки о Николу Зимнего.

— С отощалыми-то легче! Какая в них сила?

— Всё от Господа!

— На мир идти!

— Затвориться!

— Пропадем в затворе!

— Отсидимся, милостив Бог!

Нафанаил восстал с простертой дланью. Огнем-полымем палит, честная скуфейка со лба на темечко сдвинулась. Великим гласом орет, всех покрывает:

— Стоять, яко столпы веры истинной! Аввакуму подобными быти, ибо на правящих след ему — благодать! Многие гонения претерпевали в вере истинной пребывающие, однако ж и доселе лампады наши пред святыми ликами теплются. В дебри уходили, в пещерах и звериных логовах укрывались, а устояли. Позор, разграбление и мученический венец принимали, а живы по сей день! Огнем себя палили и неопалимы остались!

И днесь смирится лютость супостатов, посрамлена будет гордыня антихристова! Устоим, не покоримся! В затворе пребудем, яко с нами Бог!

Страхолюден Нафанаил, аки лев рыкающий. Истинно на нем сила Господня! Кто за мир стоял, те устрашились и покорились. Так же, конечно, всяк достаток свой посчитал, почто из него немалую часть сдавать городской швали? И царь думы крестьянские понял, встал, окрестился двуперстно и рек:

— Затворимся и станем нерушимо!

Убрались. Обмолотились. Что главное по крестьянству — всё справили, лен подергали, картошку порыли. Олень уже давно в Унже рога омочил — застуденели воды. Пали инеем на траву первые заморозки, и рябина в лесу пожухла.

— Пора!

Созвал царь всеобщий сход. Посчитали силу — с солдатами поболее трех сотен ружей набралось, хотя многие старинного изделия — шомпольные и даже кремневые с раструбом попадались. Постановили быть всем до едина в воинстве, кому призывной срок подошел. У кого же оружия нет — косу напрямь переладить или рогатину сотворить. Вилки тоже годятся, и на медведя с ними хаживают.

Когда до ратного устроения дело дошло, царь Петр всю премудрость свою показал. Отколь что взялось! Словно Скобелев — белый генерал распоряжается. Раз-

делил всё Урени на два конца, а каждый конец на три сотни. Назначил концевых, сотенных и десятских начальников. Аракчеевскую гать более чем на две версты разорили и в малом расстоянии потаенную в лесу землянку вырыли. Там Нилыча с подручными безотлучно пребывать оставили. Перед самими же Уренями многие засеки навалили из сосен.

— Сунься! Бери нас!

Ожидают городских в Уренях без особой тревоги. На Нилыча крепко надеются. Не сплошает старый, вовремя весть даст. Снежок по малости перепадает, но пути настоящего не становится. По Унже только шуга идет, льду нет.

Крестьянство ободрилось:

— Не пойдут на нас городские! Сплоховали! Жидки на расправу...

Повеселело и суровое лицо царя Петра Алексеевича. Думалось ему:

— Недалек уже срок, барином советской власти поставленный. Вести из города идут добрые: голод там и на этот год лютует, дров тоже нет — не везут мужики. Весь народ на советскую власть в большой обиде, даже фабричные, что прежде стеной за нее стояли, теперь отшатнулись. Конец приходит Ленину. К тому же и погода держится. Хотя и снег, но настоящей зимы нет.

Крепкие морозы ударили лишь на Варвару Великомученицу. Унжу в одну ночь сковало. В болотах же вода потеплее, споду греется. На них твердынька тонкая.

Но советская власть того не ведала, и разом, как стала река, войско снарядила на Урени. Нилыч сподручного прислал:

— Видно. По шляху идут, перед гатью стали.

Вскоре же сам прибежал.

— Сунулись, окаянные, мест наших не зная, в топь, где гать была. Ста шагов не прошли — пушку свою увязили! А сила большая: не меньше, как сот два, а то и три...— И назад поспешил для наблюдения.

Каждый день стали вести приходить:

— Согнали мужиков из Чудова, гать мостят. Работа споро идет.

— Орудие вытащили.

В ночь все трое прибежали и прямо к царю:

— На твердь вышли. В бору ночуют, костры палят. Надо думать, завтра ждем гостей.

С солнышком царь повелел в била ударить. Не идут, а бегут на выгон мужики. Иные веселы, а на иных лица нет. Друг дружку спрашивают, а пока ничего толком не знают. Кто гуторит: «Большая сила идет, и сам Ленин с ними».

А кто смеется: «Солдатишек беглых, «дезиков», которые за хлебом с мешками по мужикам шастают, за воинство посчитали... Тоже Аники-воины!..»

Вышел на крыльцо царь и всё в точности объяснил. По концам народ разбил и по сотням развел. Навстречу городским малый дозор выслал. Самых первых — охотников: на лыжах побежали.

С остатними старческую молитву на выгоне отстоял, а церковники к попу на могебен сходили. Потом собрал Петр Алексеевич начальников, концевых и сотенных, и на совет в правлении затворился.

Говорил там царь:

— Сподручнее нам этой ночью самим на супостата ударить, пока он с краю топи обозом стоит. Время ночное — жуткое. Всполошим, попятим маленько, с терди собьем, а на болоте-то еще некрепок лед, споду его греет. Завязнут люди, а орудие всенепременно. Наш верх будет.

Концевые же и прочие сомневаются.

— Наши мужики от дворов не пойдут, а коли и двинутся начала ради, то со страхом и трепетом. Силы боевой, куражу в них не станет.

И царь и старцы сами про то знают:

— Мужик, как кобель цепной: на своем дворе лют и могутен, а отведи его от родного дома — осунется и духом смирится. Вся доблесть из него паром выйдет. Это верно.

Порешили в засеках держаться. Там и укрытия крепкие. Стрелки наши меткие: иные векшу в глаз пулькой малой достают, чтобы шкурка красу не теряла.

— Сподобит Бог городским отпор дать, тогда осмелеет мужик, окрепнет духом. Возможно супостата и в топь гнать, а болот у нас повсеместно в достатке.

На том и решили: стоять.

В тот же час царь концевым и сотенным места боевые указал.

В ночь от лыжных двое прибежали:

— До Дивьего дуба достигли и округ часовни, что по купце, злодеями убиенном, в давние времена поставлена, обоз расположили.

Дивий дуб тот верстах в восьми от Уреней стоял. Триохватное древо, многовечное. И при дедах таким же был и Дивьим прозывался. На Троицу уренские девки, кто заневестится, венки с лентами на ветви его вешали, чтобы Див к Покрову хорошего жениха сыскал. А что за Див такой и какой ему чин, того никто не помнил.

Ночью округ села дозоры ходили, однако ничего не приметили. Солнышко ясное на небо не восходило — наши все по засекам, а царь со старцами уже там. Ожидаем. Остатние лыжники прибежали.

— Близки. Мы лесом бежали, а ихних пять саней по тропе след нам правят. Эти — передовые, сила же за ними верстах в двух.

Не минуло долго времени, выкатывают по тропе пять саней, как сказывали. Едут не шибко. Тропа — не шлях. Снежно. Коням по пузо в низинах.

На передних санях красный флаг утвержден необычного вида, попередно, вроде хоругви и на золотых шнурах с кистями. Кони тоже все красным тряпьем разубраны. Сидят в санях по пятеро. Более ничего не видно.

Подъехали шагов на два ста. Мы не палим. Ожидаем. Снимаются с саней. Подводы обсрачивают, в ряд ставят и чего-то на них копошатся.

Трое флаг берут и к нам идут. Флагом помахивают, издалека орут:

— Товарищи-крестьяне, не стреляйте! Допреж того поговорим.

— Поговорить можно. Отчего же?

Подошли не ближе, как на дубовую тень, — шагов на двадцать. Трое. Один в шубе опашной, енотовой. Другие в солдатских шинелишках.

Тот, что в шубе, становится, флаг передает и кричит:

— Товарищи-крестьяне, вы обмануты! Обнаглевшие контрреволюционеры, враги советской власти, распространяют о нас гнусные слухи. Не верьте им! Мы, коммунисты, несем крестьянству мир и раскрепощение...— И пошел чесать.

Уренские слушают. Знают: мир-то мир, так и Фролка объяснял, а между прочим, хлебушко выгреб и скотинку посчитал... Однако послушать можно. Даже интересно.

Тут царь подошел, и старцы набежали.

Вожак царя не признал, потому никакого отличия на нем не было — мужик, как и все, — а начетных старцев отличил по скуфьям и по древности.

— Вот они, — орет, — попы ваши, опиумную отраву распространяют!..

А старцы как зашумят:

— Антихрист! Анафема! Велиил! Словеса твои блуд и смрад! Изыди от нас, окаянный!

Нафанаил надрывается на все груди:

— Соблазна твоего и прельщения не приемлем! Изыди, сатана! Не устрашимся врат адовых! — суковник с засеки обламывает и в вожака пуляет.

Стало и нам обидно: пошто наших честных старцев срамит! Сребролюбию они подвержены, это верно, но отравлением человеков не занимались! Того испокон века не было.

Начали и мы в городских снежинами и древом бить. Одному угодили в самый сап: кровью залился. Видят они — кончена их речь. Мужики сами орут, матерятся, Фролку и его продразверстку в мать поминают.

Поворотили лыжи к саням. Там остатние порассунулись, а Симка Трохимов глазастый был — пулеметы в санях подузрил.

— Глядите, — кричит, — с миром пришли, а в соломе пулеметы...

Мужики сильно обозлились и палить хотели, только царь не велел до времени.

Стала ихняя главная сила подходить. Пулеметы с саней стащили и в лес поволокли. Что ж, Урени свой имеют: в срединной засеке, на самой дороге поставлен, ветками еловыми фронтовики его укрыли. Они же при нем и состоят — пять человек.

Солдатишки в лес по обе стороны расходятся, но палить не зачинают. Урени тоже греха брать на душу не хотят да из охотницкого снаряда и далековато.

Царь Петр Алексеевич засеки обошел, с ним старцы — иконы древние носят, стихиры дроботными голосами поют. Урени — ничего, не робеют. Так больше часа прошло. Совсем ободрились. Кто и духом слабел, и те повеселели.

— Надо полагать, без крови обойдется. Не пойдут солдаты на Урени, — многие так подумали.

Вдруг как ударит: завыло, засвистело... Словно змей огненный из лесу вынесся... С краев пулеметы, как тетерева, затокали.

— Мать пресвятая Богородица! Владычица небесная! Вот она, война-то, какова!

Пулечки промеж нас посвистывают, по засечным соснам постукивают, чок да чок. Уренские тоже палить начали, не в прицел, а более для личного ободрения.

А оно опять ударило, завыло, засвистало... И еще, и еще, разов пять или шесть...

Фронтовики орут:

— Шрапнель! По селу бьет!

Васютка Железнов, только с Покрова его оженили, на снегу корёжится, словно вьюн, выкликает дурным голосом:

— Смертушка моя пришла! Пришел мой час! — В утробу ему пулька ударила.

Оглянулись, а из села бабы бегут, ребятишек волокут, иные, что под руку попало, тащут. Словно на пожаре. Это их шрапнель проклятая напугала. Обезумели.

Царь Петр Алексеевич вдоль засек бежит, как лось сохатый, снег пургой раскидывает. Шумит фронтовикам издалека:

— Чего вы, растакие-сякие, из пулемета своего бить не зачинаете!

А те через засеку — скок! Отбежали шагов на двадцать, руки вздели и орут:

— Не стреляй — свои!..

Тут на Урени страх и нашел. Потекли мужики кто куда! Одни в село — к бабам и добру своему, другие — в лес.

Добежал до середней засеки царь Петр и видит: там одни старцы округ Нафанаила в кучу сбились, кто подревнее — в снег поседали, крестятся. Нафанаил же стоит, аки столп, Нерукотворенного Спаса древнюю икону подъявши, глаза выпучил, уста отверзты, а голос из нутра не идет. Словно закаменел.

Оглядел Петр Алексеевич округ себя на все четыре стороны, перекрестился, опустил могутные длани и стал под сосенку.

А солдаты из засеки бегут по всей линии, винтовки держат наперевес и не палят даже, разве один-другой стрельнет из озорства. Добежали. Окружили царя и старцев, наставили на них штыки.

— Сдавайтесь!

Какая может быть сдача! Сами видят: стоят перед ними немощные старцы, все без оружия. Петр Алексеевич свою винтовку допреж того в снег бросил. Солдаты лаются:

— Кончилась ваша контра, гады! Ишь чего задумали: советскую власть сокрушать! Поумней вас о том стараются, да не выходит дело!

Фронтовики наши уже промеж них крутятся, цигарки раскуривают, указывают на Петра Алексеевича:

— Вон он самый царь есть, всему глава!

Солдаты разом на него, кушак открутили и руки ему назад повязали. То же сотворили и над Нафанаилом. Оба они не противились.

На могутность Петра Алексеевича дивуются:

— Ну и сила! По ней судя, должно, и в цари выбран. Прямой Петр Великий.

— А его и звать Петром, — кажут уренские фронтовики. Смеются.

Приспел и в енотовой шубе.

— Этот царь? — указывает на Петра.

— Он.

— Здравия желаем, ваше уренское величество, — смеется.

Повели всех к Уреням. Царя с Нафанаилом впереди и штыки на них наставлены, старцы сзади кучей. Однако никого не бьют, только лают.

Царь за весь путь ни одного слова не вымолвил. Всегда молчалив был мужик,

а тут как окаменел. Только когда его на крыльцо правленское возводили, оглянулся и в пояс Уреням поклонился.

— Да будет воля Твоя, о Господи!

* * *

После взятия Уреней Красной армией началась обычная расправа. Кроме царя, Нафанаила и начетчиков, забрали около пятидесяти зажиточных крестьян, мельника, торговца Селиверстова, а также и попа с учителем. Всех в ту же ночь погнали пешком в Кострому, дав, правда, проститься с родными. Отряд остался в селе.

Начался такой грабеж, что уренчане с умилением вспоминали о Фролке.

— Тот хоть жито забирал, но на прокорм оставлял, а скотинки хватил самую малость. Эти же...

Село было обязано не только выполнить продналог и все поставки за просроченное время, исчисленные в непомерно высоких цифрах, но внести пени и уплатить контрибуцию деньгами.

Для гарантии уплаты взяли заложников. Жены арестованных, ошалев от страха, вытаскивали заветные кубышки и вытряхивали их в полы красноармейских шинелей. Красноармейцы, участвовавшие в «Уренском походе», так разжились, что цена золота и «романовских» на костромском базаре пала чуть не наполовину.

Зерно выкачали дочиста, угнали большую часть скотины. Подвод не хватало даже в богатых лошадьми Уренях. Созвали возчиков из соседних сел. Картошку тоже забрали и, как водится в социалистическом хозяйстве, свалили на правленском дворе в огромный ворох и поморозили. Но всё же увезли к весне: голодные горожане всё сожрут, еще в очередях за нее драться будут.

Тащили и по мелочи. Зайдет красноармеец в избу, увидит хорошие хозяйские сапоги иль валенки:

— Дай-ка примерить!

И кончено. Всегда по ноге приходились.

Шитые шелками ручники из-под образов, как правило, шли «на оборону». Впрочем, существовала своя воровская этика: красноармеец, живущий на постое, в своей избе не крал и даже защищал хозяйское добро от налетов, если баба прикармливала жирно.

— Разжирели, аспиды, как боровы к Пасхе, — говорил Нилыч, но сам он этого уже не видел, так как был взят в первую очередь и пошел с царем и старцами в Кострому.

* * *

Всего в первую очередь было взято человек тридцать: сам царь, писарь, все старцы с Нафанаилом, православный священник, дьячок, начальники уренского ополчения, Нилыч с подручными, мельник, из мужиков — кто побогаче. Эти пошли в первую голову, а через недельку за ними последовало столько же заложников. Брали и после, но уже по мелочи — двух, трех, пятерых.

В костромском остроге, переименованном уже в трудовой исправительный дом и украшенном огромным плакатом с надписью:

«СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ КАРАЕТ, НО ИСПРАВЛЯЕТ»,

в те времена еще царила хаотическая «вольность». Большинство камер днем не запирались, передачи принимались в любое время и почти без проверки, в одиночках сидело по 8—10 человек, да иначе и невозможно было бы вместить в тюрьму толпу, в десять раз превышающую ее нормальную вместимость. Заключенные спали даже в коридорах. Чека еще оформляла себя и вырабатывала свой костяк. Действовали «суды народной совести», военно-революционный трибунал, железнодорожный трибунал, и на ее долю оставалось немногое, главным образом добивание остатков офицерства и вылавливание «недорезанных».

Расстреливали, но не особенно рьяно. Кострома была в этом отношении «тихим» городом. Делалось это просто, часто даже без приговора: возьмут человека ночью «с вещшами» — и поминай, как звали.

Запевалами были матросы. Они составляли ядро трибуналов, верховодили в «народном», послабее, но всё же значили многое и в Чека. Их сплоченная кучка в 80—100 человек держала в руках и город и губернию.

к матросам и попали уренчане. Встречать их сбежалась чуть ли не вся «братва». Гоготали.

— Смирррно! Равнение направо! Его уренскому величеству салют!

— Который же самый царь?

— Не видишь, что ли? Какой всех выше...

— Прямо Петр Великий из кунсткамеры!

— Вершка на два повыше будет.

— Здравия желаем, ваше императорское величество!

Становились во фронт и отдавали честь, глумливо выворачивая растопыренные пятерни, кланялись в пояс, прижавши руки к животу.

Петр Алексеевич прошел мимо них, словно их и не было. Входя в ворота, окрестился двуперстно и, назад обернувшись, поклонился. Это он с волей прощался.

В тюрьме повторилось почти то же. Сбежались из всех открытых камер. Коридор до того забили, что конвойные штыки наставили и даже для острастки в потолок раза два хлопнули. Мужички, за несдачу продналога взятые, помалкивали, лишь любопытствовали царя увидеть, слух-то об Уренском царстве по всей губернии прошел, ну, а жульё — то почище матросов глумилось. Им тюрьма «родной дом», дело привычное.

Когда принимали по списку и в книгу записывали о годах и происхождении, Петр Алексеевич ответил:

— Крестьянин.

— А как же царем стал?

— И из крестьянства царю быть возможно...

Разместили по камерам. Царя со старцами в одиночку загнали и заперли. С ними попал и Нилыч.

— Тесно было, это верно, — рассказывал он, — днем-то ничего еще, сидим себе по стеночкам на мешках, а вот спать трудновато. Ложились на бочки, поплотней друг к дружке и аккурат на всю камеру. Ночью, если кому повернуться, бок затечет или по своим надобностям встать, так буди всех. Вставайте и сызнова ложитесь.

Всё же в Костроме нам жилось сходственно: бабы приезжали, хлеба, пирожков привозили; не голодовали, слава Богу. Шпана тоже не озорничала. Боялись нас. Уренчане-то народ дружный и к ручному действию привычный: о масленую всегда концы на кулачки сходились и в буднее время случалось. Поди, подступись! Сунулись спервоначалу, да и отстали.

На допросы водили и в одиночку, и группами. Дознаваться особенно было нечего. Дело ясное — контрреволюционное восстание. Уренчане сами не запирались. Зачем врать? Что было, то было. Только над одним вопросом пришлось потрудиться следственной комиссии.

— Кто зачинщик? Кто подстрекал царя избирать и советским распоряжениям противиться?

— Мир порешил, — слышался всегда один и тот же ответ.

Этот всеобъемлющий и вместе с тем не ощутимый реально «мир» был вполне понятен матросне, самой состоявшей из крестьян, но совершенно неуясним полуинтеллигентным горожанам, оформлявшим следствие. Им «зачинщики» были необходимы. А зачинщиков не было. В среде самих судей, они же следователи, возник раскол, и для разрешения его был вызван следователь по особо важным делам с самой Лубянки.

Вот как рассказывал о нём Нилыч:

— Обходительный был этот чиновник, вежественный. Не рыготал, как флотские. Волосы на нём долгие, как у дьячка, были, сам худощавый, всё покашливал и в баночку плевал да крышечкой завертывал, больной, видно.

Позвал нас всех, на лавочки рассадил, а царя на стульчик.

— Здравствуйте, — говорит, — граждане, я вот из Москвы приехал поговорить с вами, потому что очень ваше дело интересное...

Мы молчим, а он дальше объясняет, как царя сбросили и народную власть поставили, а вы, говорит, сами и есть народ, а против народа идете.

А мы отвечаем:

— Нет, господин-товарищ, не так. Наш царь — самая народная власть, и есть, он от народа поставлен.

— Ну, — говорит, — хорошо, ваш царь истинно от народа, а Николай царь от кого? Вы его и не видели.

— И он от народа, через дедов наших, а что мы, в болотах сидючи, его не видели, в том удивления никакого нет. Другие видели.

— Так он, — говорит, — царь Николай вас казнил, угнетал и налогами разорял...

— Ничего такого мы от него не видели... Может, где в другой местности, а у нас, в Уренях, о казнях не слыхивали, а ежели и порол кого урядник, то по нашему мирскому соизволению... Насчет же налогов ты, барин, полегче. Мы их без царя-то на горбу своем узнали!

Он тогда к Петру Алексеевичу:

— Вы от какой корысти в царство вступили?

— Не по корысти, — ответствует тот, — а по мирскому решению. Послужить народу всяк повинен. От той службы отказу нет.

— Так вы не служили, а царствовали, правили и подать на себя собирали.

— Правильно ваше слово — царствовал, а только и на царстве служил, закон исполнял и закона от прочих требовал. Подать же собирал, верно, однако по согласию, как за труды полагается.

Видит барин, что не одолеть ему нас на слове. Подался. Очки снял и платочком протер.

— Дело, — говорит, — ваше очень сложное. В нём не простая контрреволюция, а большая глубина.

К чему это он говорил, не уразумели. Словно не по-нашему, словами неслыханными. А говорил долго и обещал на суде всё в ясность привести.

Подошел и суд. Главными-то судьями матросы были, а барин этот, вроде как от себя, прокурором. Председатель — главный матрос, очень веселый попался и без руки. Но не злобный и не ругатель. Ругала нас больше барыня, что около него заседала: «Гады, — кричит, — рабочего дела враги!». Всех пострелять требовала и по столу стучала, даже чернила разлила.

Прокурор московский тоже нас врагами изобличал, только видно было — без злобы.

— Это враги особенные, — говорит, — с генералами и буржуями их равнять нельзя. Не та линия. И мы, — говорит, — особую линию должны взять в отношении к ним.

При конце суда с барыней очень поспорил. У самого даже кровь изо рта пошла, весь платочек измарал и ослабел.

— Делайте, — говорит, — как знаете, а я своего мнения держусь и в Москву о том сейчас же отпишу.

Отписал или нет — неизвестно. Но только после его речей матросы подобрей как-то стали и даже на злобствующую барыню покрикивали.

— Будет тебе, банка кровососная! Не офицерей судим, а мужиков. Это понимать надо, кто в сознании...

Увели нас из суда затемно, а наутро опять привели.

— Встаньте, — говорит безрукий, — и слушайте нашего пролетарского революционного суда справедливое решение. Читать приговор вам будет секретарь, потому что сам я малограмотный... Потом, ежели что нужно, то словесно разъясню.

Читали приговор долго. Сначала всё про революцию, что до нас некасаемо, а потом и про нас: кому что полагается, каждому в отдельности, по его заслуге.

Петру Алексеевичу определили расстрел, но тут же и смягчение дали по несознательности и крестьянскому его происхождению. Снизошли на десять лет. Попу же, старцу Нафанаилу и учителю такого снисхождения не дали. Всем же прочим разные сроки: кому пять, кому восемь, а кому и все десять — наравне с царем. Так и мне десять годочков перепало. Безрукий матрос посмеивается:

— Смотрите, старцы, доживайте каждый свой срок, сколько кому лет дадено. Помирать вам воспрещено, Советскую власть не обманете...

Глава 19

УМЕРЛИ, КАК ЖИЛИ

Вот отсюда и начались наши мытарства. Попа Евтихия, Нафанаила и учителя в ту же ночь расстреляли, а нас малыми партиями в разные места рассылать начали. Кое-кому и хорошо вышло, слава Тебе, Господи: на Кинешемскую постройку попали. Оно недалеко Волга-матушка водами своими до Кинешмы донесет. А нам с царем Петром Алексеевичем Господь иной жребий указал: великие мытарства и странствия. Месяца после суда не прошло, вызывают нас восьмерых в канцелярию: царя, значит, четверых старцев подревнее, военачальников наших, что уренскими концами в бою командовали, ну и меня...

Тюремный начальник сперва бумагу нам прочел, а потом начисто всё объяснил.

— Московская власть вами оченно интересуется и судебное решение про вас не укрепляет. Поедете вы все в белокаменную столицу для нового разбора и розыска в самую главную Чеку, и требует вас туда сам товарищ Дзержинский, которому от Ленина полная власть над врагами революции предоставлена. Что вам там последует, неизвестно, но полагаю, что вас всех там шлепнут. Однако же хлеба я вам по три фунта выдам (в тюрьме-то только по четверке давали).

В ту же ночь повезли нас поездом. В Москву за одни сутки доехали. Стража попалась подходящая, безо всякого безобразия, и даже на станциях кипяточком нас пользовала: «Пейте, старцы, в полное ваше благоутробие, принимайте в нутро теплатуру, а то вы очень древни и простым манером померзнуть можете».

Доехали. В Москве нас на самоходную машину перегнали. Как она дернула да зашумела, старцы так на гузочки и осели, крестятся, кротость царя Давида поминают.

В Москве-то мы истинную тюрьму и познали. Подлинный Содом и Гоморра. Хлад, глад и всяческая мерзость. Народы там всяческие в едину кучу смешаны, и несть им различия. Теснота и смрад. Праведники купно со злодеями возлежат и во едином обличии пребывают. Тут-то мы голода и хлебнули. Из дому, конечно, ничего. Следок наш и гоновому кобелю не разыскать. В тюрьме же одно поганое хлебово, да и оно из общей посудины мерзостной и нелуженой. Мы, что греха таить, в тот же самый день обмирщились, а старцы твердо свое благочестие держат, окромя полуфунта хлеба, ничего не приемлют. Прошла неделя, другая... Видим: хиреют наши молитвенники, слабнут. Бывало, в уставной час на канон становились и всё, что полагается по Писанию, вычитывали. Рыгочут на них арестанты, мерзостные песни поют, а они, как колоды в омшаннике — не тронутся, только губы под честными власами пошевеливаются. Теперь нет. Выползут из-под нар (арестанты нас всех под нары забили, говорят: закон такой в московских острогах), вылезут на карачках, лбами о каменный пол стукнут, перекрестятся и назад.

Отец Варнава первый преставился. Выволокли мы его за ноги из-под настила, хотели на стол положить, обмыть-обрядить, — нет! Как заорут арестанты:

— Куда падаль свою волокете? Стол поганить вздумали? Стучи дежурного!

Снесли мы покойничка в подвал, там их еще с десяточек понавалено было, и к вечеру от нас и остатних старцев увели, сказали — в больницу. Только мы их и видели.

Еще с месяц прошло. Мы уж стали подумывать: позабыли о нас. Нет, вызывают.

— Распишитесь, — и бумажку дают.

— А что же прописано-то тут, милый ты человек?

— Прописано тут: ехать вам в Соловецкие лагеря особого назначения и замаливать вам там грехи сроком по десяти лет... Понятно?

* * *

На Соловках уренчане держались обособленной группой, словно связанной в тугой сноп крепким оржаным пряслом. В общей казарме Преображенского собора твердо заняли свой угол и отстояли его от натиска шпаны, а ночью, когда хозяе-

ва «общей» — уголовники сунулись щупать добротные уренские мешки, первая пара уркаганов, воя и матерясь, покатилась по каменному полу, словно скошенная железною рукою Петра Алексеевича.

Так и потекла уренская капля в мутном соловецком потоке, не растворяясь в нем и не смешиваясь с его струями. Не было ни вражды, ни дружбы, ни сближения, ни отчужденности.

Огромная суровая фигура Петра Алексеевича разом привлекла внимание соловчан, а слух о его непомерной силе скоро стал обрастать легендами. От приехавших в одной партии с ним бутырцев узнали и необычайную историю Уренского царства. Любопытствующие тянулись к царю то с искательной улыбочкой: «Вашим необычайным делом очень интересуемся...»,— то с наглой издевкой: «Ну, медвежье твое величество, расскажи, как ты с Лениным воевал?»

И те и другие получали один и тот же ответ: молчание. Словно не видел Петр Алексеевич кружащихся возле него назойливых мошек.

Со своими говорил тоже редко, и то разве лишь по надобности, коротко и грузно бросал слова, как тяжкие кули с плеч.

В конце второго месяца жизни уренчан на Соловках случилось происшествие, разом определившее место уренского царя в многоликом каторжном муравейнике.

Шпана по твердо установившемуся тюремному обычаю обокрала ночью вновь прибывших повстанцев-ингушей. Те, заметив наутро пропажу, перекликнулись хриплыми птичьими возгласами, помахали руками и застыли, сбившись в тесную кучу и вращая синеватыми белками немигающих круглых глаз.

Шпана была разочарована. Она ожидала воплей, причитаний, ругательств — словом, обычного дарового спектакля, возможности лишний раз поглумиться над слабейшим, покуражиться жалкой иллюзией удали и молодечества. Вместо этого — молчаливое презрение.

Сквозь тесно охватившую ингушей толпу протиснулся Ванька Пан, первый заводчик всего дела, «артист тюремной эстрады», распевавший по вечерам гнусавым тенором похабно-сентиментальные куплеты. В руках его болтались полосатые тиковые подштанники.

— Шурум-бурум, халат покупай! — орал Ванька, подражая московским старьевщикам.— Нонче вечер в очко барахло пускай! Плакали твои порточки, свиное ухо,— сунул он свернутую углом штанину в лицо ближайшего ингуша.

В воздухе мелькнула цепкая коричневая рука, послышался сухой треск разорванной материи, и в руке у Ваньки осталась лишь одна сиротливо повисшая штанина.

— Ты что — «купленное» отнимать? Ах, гад ползучий! — И, уверенный в поддержке окружающих, Ванька ринулся на кавказца.

Драка вспыхнула как по команде. Ингуши, встав на нары, отбивались ногами и руками, а шпана молотила их заготовленными для такого случая выхваченными из настила досками. Соотношение сил было явно в пользу атакующих, и плохо пришлось бы ингушам, если бы в борьбу не вступила третья неожиданная сила.

Этой силой был Петр Алексеевич. Не произнеся ни слова, он, медленно и твердо ступая, подошел к ревущей и воющей, сбившейся в клубок толпе и, словно выполняя обычную повседневную работу, начал вырывать из нее и бросать на задние нары мгновенно затихавших в его руках шпанят. Серые комки рванья с подобиями человеческих лиц взлетали на воздух и шлепались на грязные доски настила. Так, вероятно, он метал тяжелые ржаные снопы на высокие скирды в родных Уренях. Через минуту лишь один он стоял перед сбившейся на нарах кучкой тоже притихших ингушей, а у его колен корчился с закрученными назад руками позеленевший от страха Ванька Пан.

— Чтобы всё забранное сейчас назад снести, а то... вот этого изломаю!

— Сдавай «товар», братюги, — хрипел Ванька, — а то он всамделе в ящик загонит.

В наполненном за минуту до того криком и гамом соборе стояла мертвая тишина. Кое-кто из шпаны торопливо рылся в темных углах, вороватo бежал к ингушам и скрывался снова, бросив на их нары рубаху, мешок, полотенце...

Петр Алексеевич выпустил Ванькины руки, и тот отполз на четвереньках, оглядываясь, как побитая собака...

В тот же день о происшествии узнали все Соловки, и оно стало переломным моментом в жизни «общей» Преображенского собора. Традиционные ограбления и избиения новоприбывших, не только допускавшиеся, но поощрявшиеся получавшей свою долю «фарта» чекистской охраной, прекратились на время пребывания там Петра Алексеевича. И не физическая сила уренского богатыря играла в этом главную роль, но подсознательно понятая шпаной мощь его духовного превосходства. Он **один** смог противопоставить себя **множеству** — массе. Если бы за ним ринулись в драку и остальные уренчане, исход ее был бы иным: сотни шпанят, несомненно, избили бы и покалечили их. Так бывало не раз.

Эпизод стал известен и начальству. Комендант Соловков Ногтев вызвал Петра Алексеевича к себе в кабинет, внимательно осмотрел его мутными, пьяными глазами, обошел кругом, как около жеребца на базаре, и, сплюнув сквозь зубы, раздумчиво произнес:

— Да... кабы такой сидел вместо Николки, пожалуй, и революции бы не было... Иди!

Когда волна острого интереса к уренскому царю спала, он всё же не затерялся в безликой соловецкой толкучке. Где бы ни находился он, вокруг него всегда было какое-то пустое место — мертвое пространство: словно какая-то незримая сила отделяла его от остальных — и от уголовников, и от политиков всех видов. Это был не страх и не осознанная отчужденность, а какое-то чувство несоразмерности себя с ним, то, что заставляет говорить шепотом в пустой церкви...

* * *

Страшная эпидемия сыпного тифа 1926 г., переполовинившая всё население Соловков, унесла и всех уренчан. Первым подался Нилыч. Почувствовав признаки болезни, от которой не было спасения, старик не хотел им верить, не мог примириться с неизбежным уходом от жизни, столь понятной ему и столь любимой им во всех ее проявлениях.

— Не можется? — глухо спросил его царь, когда старик отвернулся от поданного ему ломтя хлеба.

— Нет, так что-то... Хлеб-то непропеченный...

На следующий день он всё же вышел на работу, но, войдя в ледяную воду, — мы вязали плоты, — затрясся в смертельном ознобе, потянул мокрую веревку и, напрягая всю силу воли, попытался закрепить узел. Сведенные судорогой пальцы не повиновались. Мы не могли не смотреть на него, хотя каждый из нас знал, что не нужно смотреть. Нилыч обвел нас ответным взглядом и понял то, во что не хотело верить всё его естество. Понял и вдруг улыбнулся хитроватой и ласковой улыбкой, той, с которой он завершал обычно какое-нибудь мудреное дело или раскрывал перед слушателями неожиданную развязку затейливой сказки.

— Вишь ты как... Вот оно, значит, отходил свои дни. Господь призывает. — Вышел из пены прибоя и разом обмяк, ослабел, присел на валун, тяжело и порывисто дыша.

Идти один он уже не мог. Сила жизни как-то разом угасла. Охранники, любившие веселого и говорливого старика, разрешили довести его до лазаретных бараков. Провожали Нилыча царь и я. Стоял конец мая; мелкие соловецкие березки лишь окутались нежною паутиной бледно-зеленых душистых листьев. Нилыч сорвал лепесток, растер его в пальцах, долго нюхал, еще помял на ладони и пожевал беззубым ртом, потом нагнулся, колупнул парную придорожную землю, помял, пожевал и ее, но не выплюнул. Словно причастился телом и кровью своей Великой мужицкой Матери...

— Полеток-то нонче грибной будет. Земелька сладостный скус содержит — это к урожаю. Примета верная.

У дверей барака, из которого никто не выходил живым, мы передали Нилыча санитару из уголовников. Старик виновато и заискивающе заглянул ему в глаза:

— Рубаху вот они и порты чистые передадут, так ты уж соблюди, Христа ради, чтобы в целости... — Потом поклонился нам в пояс: — Простите, в чем согрешил... Живите с Богом...

Вечером, когда мы принесли его смертный убор, санитар сказал нам, что Ни-

лыч уже в беспамятстве и в бреду беспрерывно поет веселые песни... Много он их знал.

Петра Алексеевича тиф захватил, когда все уренчане уже покрылись черным саваном соловецкой земли. Утром на работе, как всегда неторопливо и размеренно, выполнил обычный урок, но, войдя в ворота кремля, не завернул в свой корпус, а пройдя шумный в эту пору дня двор, стукнул дверью в шестую роту, где концентрировалось православное и католическое духовенство.

— К отцу Сергею...

Самый старый из всех ссыльных священников отец Сергей Садовский приоткрыл дверь кельи.

— Ко мне? Чем могу... — и удивленно огладил свою седую бороду, разглядев выцветшими глазами знакомую всем фигуру посетителя.

— Исповедуйте, батюшка, и допустите к Причастию...

— Да ведь ты... вы как будто старой веры придерживаетесь?

— У Господа все веры равны. Помирать буду.

— Вступите, — приоткрыл дверь священник, и лишь спустя долгий час вышел из кельи уренский царь Петр, дав там ответ Богу в своих великих и малых мужицких грехах и приняв из круглой некрашенной мужицкой ложки сок клюквы и тяжкий арестантский хлеб, претворенные Таинством Подвига и Страдания в Тело и Кровь Искупителя.

Зайдя к себе, он вынул что-то из мешка, бережно завернул в расшитое петухами полотенце и позвал ротного.

— Всё, что есть, — ткнул он рукой в мешки, — отдать сирым и нагим. На помин души.

— Да ты что? Спятил? Здоров, как бугай!

Петр Алексеевич молча поднял руку и засучил полотно рубахи.

— Высыпало?! А тебя на ногах еще черт держит, — изумился чекист, — ну, топай в лазарет, прощевай, царь уренский! Аминь тебе!

Петра Алексеевича никто не провожал в его последнем земном пути. Ухаживавшая за обреченными и вскоре умершая сама баронесса Фредерикс рассказывала потом, что, раздевшись и улегшись на покрытый соломою пол барака, Петр Алексеевич перекрестился и вытянулся во весь свой огромный рост, словно готовясь к давно желанному отдыху.

В лазарете он не сказал ни слова. Молчал и в беспамятстве. Агонии никто не видал, и смерть его была замечена лишь на утреннем обходе.

Старая фрейлина трех венчанных русских цариц закрыла глаза невенчанному последнему на Руси царю, несшему на своих мужицких плечах осколок великого бремени подвига державного служения.

* * *

С тех пор прошла четверть века. Темная ночь висит над многострадальною Русью и не размыкает своих черных покровов, лишь немногие яркие искры вспыхивают и гаснут в беспросветной мгле, и в их трепетном свете я вижу лицо уренского царя, его широкие кряжистые плечи и прикрытые разметом нависших бровей никогда не улыбавшиеся глаза.

Он встает в моей памяти таким, каким я видел его, когда мы работали на вязке плотов предназначенного для Англии экспортного леса. Плоты шли буксиром на Кемь и Мурманск, и там лес перегружался на корабли. Плохо связанный плот мог быть разбит волной, и поэтому хорошими вязчиками дорожили: их прикармливали, давали вволю хлеба и даже мяса. Но работа на плотах считалась самой тяжелой даже на Соловецкой каторге, и немногие могли вынести шестичасовое стояние по пояс в воде Белого моря, где и летом температура не поднималась выше шести-семи градусов.

Мы с Нилычем вязали «на пáру», а у царя, кроме вязки, была своя, особая работа в нашей артели. Когда грузовик подвозил очередную партию бревен и сваливал их перед грядой валунов, окаймлявших берег, нужно было быстро перебросить эти бревна через вал в пену прибоя. Мы работали урочно, и темп работы был в наших интересах. А перетаскивание через сплошную, метров пять высоты, гряду отнимало много времени.

Когда гудок автомобильной сирены показывал нам, что бревна сброшены, Петр Алексеевич не спеша (он никогда не торопился) уходил за гряду.

— Берегись!

Мы разбегались в стороны, а из-за гряды, как из кратера вулкана, летела непрерывная череда десятипудовых обрубков. Поблескивая смолистой корой, гигантские стрелы взвивались над валунами и падали в пену прибоя, втыкаясь в прибрежную гальку. Переброска двух тонн никогда не занимала более пяти минут.

— Готово!

Из-за гряды медленной, осанистой поступью выходит Петр Алексеевич и подлинным русским богатырем плавною, величавою стопою идет к берегу. Ни капли пота не блестит на его широком, оправленном в посеребренную чернь лбу. Мерно вздымается богатырская грудь под расстегнутой в вороте рубахой. На темной жилистой шее — медный старинный крест. Узкую и долгую, как у апостола Павла на древних иконах, бороду чуть относит ветром к плечу.

Страстотерпцем-трудником русским ступает он по святой соловецкой земле, идет сквозь дикие, темные дебри к студеному покою полуночного Белого моря.

Часть четвертая

СИХ ДНЕЙ ПРАВЕДНИКИ

Глава 20

ПРЕДДВЕРИЕ

Это было в первый год моей соловецкой жизни. Я томился еще на общих работах, рубил в лесу укутанные в снежные шубы стройные и строгие ели, очищал их от сучьев и выволакивал на дорогу. Последнее было самым трудным: нести вдвоем на плечах десятипудовый балан, пробиваться иногда по пояс в снегу, то роняя проклятое бревно, то падая вместе с ним, и совершать в день по двадцать таких переходов длиной в полкилометра каждый было под силу далеко не всем из лесорубов, а слабым старикам и непривычным к физическому труду — совсем невозможно. Но мы с моим партнером, мичманом Г-ским, были молоды, тренированы спортом и службоой, он — во флоте, я — в кавалерии. Мы были здоровы и, научившись владеть топором, урок выполняли. Страдать нам приходилось только от голода, так как оба были бедны, как церковные крысы, и от вшей при ночевках на третьем этаже нар общежития в руинах Преображенского собора.

Но свет не без добрых людей. Даже на Соловках. Правдами и неправдами нас перетащили в десятую роту, состоявшую из учрежденцев и спецов. Я попал шестым постояльцем в просторную келью.

Сожители были славными людьми, и жили мы дружно, верили друг другу, говорили свободно и единодушно боролись с тяготами режима, то посильно протестуя, то обходя их, ловчась и хитря.

Но все мы были различны в своих «вчера» и «сегодня».

Старшим по камере был Миша Егоров, «Парижанин», здесь и завязалась моя с ним дружба. Он, как и полагалось старшему, занимал стоявший около печки непомерный и столь же неуклюжий «бегемот» — оставшийся от монахов широкий деревянный диван, жесткий, но со спинкой. На другом таком же диване — в нашей келье в монастырское время жили два монаха — помещался его друг еще по коммерческому училищу — Вася Овчинников, тоже московский купец, но с Рогожской, старообрядец, воспитанный в строгой, еще хранившей вековой уклад семье и в столь же строгих правилах древнего русского благочестия. Приятели любили друг друга, но это не мешало им постоянно пикироваться.

Третьим был турок Решад-Седад, их сверстник по годам, но с иным, пестрым

и экзотическим даже для Соловков прошлым. Во время гражданской войны Решад занимался коммерческими, а быть может, и контрабандными операциями между Турцией и Грузией. При захвате Тифлиса попал к большевикам и разом приспособился к новой обстановке. Он вступил в партию, куда как иностранец был принят в те времена с распростертыми объятиями, и начал делать карьеру, спекулируя на самоопределении наций. Сначала все шло блестяще, и коммерсант-контрабандист Решад-Седад стал ни мало ни много, как наркомом просвещения автономной Аджарской республики. Но потом стряслось что-то, о чем Решад говорил коротко:

— Очень хорошо жил, как жантильон жил... только маленькая ошибка вышла...

Из Батума — на Соловки.

Политическая беспринципность Решада происходила от полной чуждости его политике вообще. Он понимал и расценивал ее только с коммерческой точки зрения. Но это поклонение маммоне не мешало ему быть в личной жизни вполне порядочным, очень отзывчивым человеком и добрым, верным товарищем. Малых талантов и умения ими пользоваться у Решада было хоть отбавляй. Он был и графиком, и рисовальщиком, умел делать игрушки, музыкальные инструменты, варить сыр и мыло, коптить рыбу, приготовлять конфеты из картошки... чего только он не умел! С такими знаниями на Соловках не пропадали: Решад стал заведующим мастерской экспортных художественно-кустарных игрушек и поставил дело неплохо, пользуясь всем разнообразием профессий соловецкой каторги.

Рядом с ним спал на едва прикрытом какой-то тоненькой тряпочкой топчане старый барон Иоганн-Ульрих Риттер фон Рикперт дер Гельбензандт — его полная противоположность, который абсолютно ничего не умел делать, даже сколько-нибудь сносно приспособиться к соловецкому быту. Остзеец, просидевший всю жизнь в своем рыцарском замке, читая Готский альманах и лютеранский молитвенник, он был начисто обобран шпаной в дороге, всадил себе топор в колено в первый же день работы и, лишившись коленной чашки, как полный инвалид попал в ночные сторожа какого-то склада. Это и спасло его от гибели. Земляки-остзейцы, которым уже удалось пробраться к мизерному каторжному счастью, вытащили старика в привилегированную роту. Свободный днем, он педантично следил за чистотой и порядком в келье, работая за своих беспорядочных соседей, а убрав и буквально выскоблив ее, садился у окна и читал свой молитвенник. Готский альманах отобрали при выгрузке. Как он ухитрялся проделывать всю процедуру уборки на своем костыле, — для меня до сих пор непонятно.

Его соседом по койке и соперником по древности рода был шляхтич вольный Стась Свида-Свидерский, герба Яцута, тоже хранитель феодальных традиций, но иного порядка. Пан Свидерский был молод, силен, красив и неглуп, но делом, достойным его древнего, от самого Казимира Велькего, происхождения, он признавал тольку войну и охоту. Сколь доблестны были его подвиги на войне, мы знали только по его заставлявшим вспоминать пана Заглобу рассказам, но во всем, что касалось охоты, он был действительно большой и глубокий знаток. Распознавание следов зверя, обкладка его, дрессировка собак, пристрелка ружьей — весь обширный и сложный комплекс охотничьих наук не имел от него тайн.

Право на жизнь в десятой роте ему давала очень приятная для него и небезвыгодная служба. Он был егерем Эйхманса и проводил все дни, скитаясь по острову, выслеживая дичь и тренируя собак. Сожитель он был приятный, веселый, покладистый и забавный собеседник.

— Пан, спать еще рано, читать не хочется, поври чего-нибудь, — просил его по вечерам бесцеремонный и простоватый Овчинников.

— Лайдак! — беззлобно огрызался Свида.— Поучись гонору. Врут только хлопы и хамы, а шляхтич, если и мовит неправо, то фантастикует,— однако тотчас же начинал красочный рассказ о какой-нибудь необыкновенной охоте или о роскоши «палаца» князей Любомирских.

Шестым в келье был я. По странной случайности мы все были не только разных вероисповеданий, но и религиозного воспитания. Вася Овчинников — истовый старообрядец, Решад — правоверный мусульманин, барон — умеренный, как и во всем, добропорядочный лютеранин, пан Стась — фанатичный католик, я — православный и убежденный атеист-эпикуреец.

* * *

Однажды в декабрьский вечер случилось так, что мы все шестеро собрались в келью довольно рано. Так бывало редко. Пан обычно поздно возвращался из леса, я репетировал или выступал в театре, Миша Егоров засиживался у своих многочисленных приятелей, и лишь барон в одиночестве перебирал в памяти своих предков — магистров и комтуров — перед уходом на сторожевку.

— А знаете, ведь сегодня пятнадцатое декабря, — изрек Миша. Он всегда начинал речь с сентенций.

— А завтра — шестнадцатое, — в тон ему ответил Овчинников.

— Через десять дней — Рождество,— пояснил Миша, оглядывая всех нас.

— Тебе-то, атеисту, до этого какое дело? — возразил Овчинников, не прощавший безверия другу и однокашнику.

— Как — какое? — искренно изумился Миша, — а елка?

— Елка? А Секирку знаешь?. Елки, брат, у вас в Париже устраивают, а социалистическая пенитенциария им другое назначение определила,— кольнули мы Мишу его партийным прошлым.

— А мы и здесь свой Париж организуем! Собственное рю Дарю! Замечательно будет,— одушевился Миша.— После поверки в келью никто не заглянет... Дверь забаррикадируем, окна на третьем этаже... хоть молебен служи!

Идея была заманчива. Вернуться хоть на час в безвозвратно ушедшее, пожить в том, что бережно хранится у каждого в сокровенном уголке памяти... Даже барон вышел из своего обычного оцепенения и в его тусклых оловянных глазах блеснул какой-то теплый свет.

— Елка? Tannenbaum? Да, это есть очень хорошо. В моем доме я всегда сам заряжал, нет, как это будет по-русски? Надряжал семейную елку... И было много гости.

Мы верили друг другу и знали, что «стукачей» меж нас нет. Предложение Миши было осуществимо, и мы тотчас приступили к выработке плана.

— Елочку, небольшую, конечно, срубишь ты, — говорил мне Миша,—через ворота нести нельзя — возбудит подозрение. А мы вот что сделаем: я на угловую башню залезу и бечевку спущу. Ты, возвращаясь, привяжи елку, а я вздерну. В темноте никто не заметит.

—Украшения изготовит, конечно, Решад. Он мастер великий. А свечи?

— Склеим трубочки из бумаги, вставим фитили и топленой ворванью зальем, — отозвался Овчинников. — У нас в моленных фабричных не приемлют. Сами делают, и я мальчишкой делал. Умею.

— Есть, капитан! Но еще вопрос: угощение? Без кутьи какой же сочельник...

— Ша, киндер! — властно распорядился Миша. — Это мое дело. Я торгпред! Парижские штаны реализую, лучших уркаганов мобилизую, а угощение будет! Ручаюсь!

— Но ведь еще надо один священник... Это Рождество, Heilige Nacht... Надо молиться... Я, конечно, могу читать молитвы, но по-немецки. Вам будет, как это? Непонимаемо?

— Да, попа надо, — раздумчиво согласился Миша, — мне-то, конечно, это безразлично, но у нас всегда в сочельник попа звали... Без попа как-то куцо будет. Не то!..

— Вопрос в том — какого? Мы-то, как на подбор, все разноверцы.

— Россия есть православный Империя, — барон строго обвел всех своими оловянными глазами и для убедительности даже поднял вверх высохший, как у скелета, указательный палец,— Россия имеет православный религион. Мой батюшка ходил в русски Kirche на Пасх, на Рождество и на каждый царский день. Он был российски генерал!

— Ты, пан, как полагаешь? Ты, адамант истинный?

— Пан ксендз Иероним, конечно, не сможет. Он будет занят... Пусть служит русский.

— Далековато от нас Рогожское-то,— улыбнулся Вася Овчинников,— пожалуй, не поспеем оттуда нашего привезти!

— Решено. Вопрос лишь, кого из священников,—резюмировал я. — Никодима Утешителя?

— Ясно, его! По всем статьям,— отозвался Миша.— Во-первых, он замечательный парень, а во-вторых, голодный. Подкормим его для праздника!

«Замечательному парню», как назвал его Миша, отцу Никодиму было уже лет под восемьдесят и парнем он вряд ли был, но замечательным он был действительно, о чем рассказ впереди. Его знали все заговорщики, и кандидатура была принята единогласно.

* * *

Подготовка к запрещенной тогда и на материке и на Соловках рождественской елке прошла как по маслу. Решад задумал изумить всех своим искусством и, оставаясь до глубокой ночи в своей мастерской, никому не показывал изготовленного.

— Всё будет, как первый сорт,— твердил он в ответ на вопросы,— живой товар! Я всё знает, что тэбэ нада... Всякий хурда-мурда! И рыбка, и ангел...

— А у вас, у басурманов, разве ангелы есть? — с сомнением спросил Вася.

— Совсэм ишак ты! — возмутился турок.— Как мошет Аллах быть без ангел? Один Бог, один ангел для всех! И фамилия та же самая: Габариил, Исмаил, Азараил... Совсем одинаково!..

Миша также держал в тайне свои приготовления, и лишь Вася Овчинников с бароном открыто производили свои химические опыты, стараясь отбить у ворвани ее неприятный запах. Химики они были плохие, и по коридору нестерпимо несло прелой тюлениной. Выручил тот же ловкий Решад, добыв у сапожника кусок темного воска, каким натирают дратву.

В сочельник я срубил елочку и, отстав от возвращавшихся лесорубов, привязал ее к бечеве в условленном месте, дернул, и деревце поползло вверх по заснеженной стене.

* * *

Когда, обогнув кремль и сдав топор дежурному, я вошел в свою келью, елочку уже обряжали. Хлопотали все. Решад стоял в позе триумфатора, вынимая из мешка рыбок, домики, хлопушки, слонов... Он действительно превзошел себя и в мастерстве и в изобретательности. Непостижимо, как он смог изготовить все это, но его триумф был полным. Каждую вещь встречали то шепотом, то кликами восторга. Трогательную детскую сказку рассказывали нам его изделия...

Теснились к елке, к мешку, толкались, спорили. Миша, стремившийся всегда к модернизму, упорно хотел одеть в бумажную юбочку пляшущего слона, уверяя, что в Париже это произвело бы шумный эффект.

— Дура ты монпарнасская,— вразумлял его степенный Овчинников,— зеленые слоны еще бывают, допиваются до них некоторые, но до слона в юбке и допиться никому не удавалось... хотя бы и в Париже!

На вершине елки сиял... нет, конечно, не советская звезда, а венец творчества Решада — сусальный вызолоченный ангел.

Украсив елку, мы привели в порядок себя, оделись во все лучшее, что у нас было, выбрились, вымылись. Трудновато пришлось с бароном, имевшим лишь нечто, покрытое латками всех цветов, бывшее когда-то пиджаком, но Миша пришел на помощь, вытащив из своего чемодана яркий до ослепительности клетчатый пиджак.

— Облачайтесь, барон! Последний крик моды! Даже не Париж, а Лондон... Модель!

Рукава были несколько коротки, в плечах жало, но барон сиял, даже как будто перестал хромать на лишенную чашечки ногу.

— Сервируем стол,—провозгласил Миша, и теперь настал час его торжества.— Становись конвейером!

Сам он поместился около своего необъятного дивана, и из скрытого под ним ящика начал появляться и взноситься в Мишиных руках унаследованные от монахов приземистые оловянные мисы и деревянные блюда.

— Salade des pommes de terre. Etoile du Nord,— торжественно, как заправский метрдотель, объявлял Егоров.— Sautè de тюленья печенка, черт ее знает, как она по-французски будет!

— Ну, это, брат, сам лопай, — буркнул Овчинников.

— Действительно ты — адамант рогожский! Столб, и только! Дубина! Я пробовал, лучше телячьей! Поверь! Ragou soviètique. Пальчики оближете! Frit de селедка avec луком! Riz russe... кутья... Вот что даже достал! С изюмом!

— Подлинно изобилие плодов земных и благорастворение воздухов!

В азарте сервировки мы не заметили, как в келью вошел отец Никодим. Он стоял уже среди нас, и морщинки его улыбки то собирались под глазами, то разбегались к седой, сегодня тщательно расчесанной бороде. Он потирал смерзшиеся руки и ласково оглядывал нас.

— Ишь ты, как прифрантились для праздника! Герои!.. А сиятельного барона и узнать невозможно: жених, прямо жених! Ну, а меня уж простите, ряска моя основательных дополнений требует, — оглядел он свои отрезанные полы, — однако материал добрый... В Киеве купил, в году — дайте вспомнить... в девятьсот десятом! Знаменито тогда вырабатывали...

— Дверь! Дверь! — страшным голосом зашептал Миша. — Забыли припереть, анафемы! Чуть-чуть не влопались. Придвигай «бегемота»... Живее да потише!

Приказание было мгновенно исполнено.

— Ну, пора и начинать. Ставь свою икону, адамант! Бери требник, отче Никодимче!

На угольном иноческом шкапчике-налое, служившем нам обычно для дележки хлебных порций, были разостланы чистые носовые платки, а на них стал темный древний образ Нерукотворного Спаса, сохраненный десятком поколений непоколебимого в своей вере рода Овчинниковых. Но лишь только отец Никодим стал перед аналоем и привычно кашлянул... вдруг «бегемот», припиравший дверь, заскрипел и медленно пополз по полу. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова дежурного по роте охранника, старого еврея Шапиро, бывшего хозяйственника ГПУ, неизвестно за что сосланного на Соловки.

«Попались! Секирка неизбежна, а зимой там верная смерть», — пронеслось в мозгах у всех, кроме разве барона, продолжавшего стоять в позе каменной статуи.

— Ай-ай!.. Это-таки настоящее Рождество! И елка! И батюшка! И свечечки! Не хватает только детишек... Ну, и что? Будем сами себе детишками!

Мы продолжали стоять истуканами, не угадывая, что сулит этот визит. Но по мере развития монолога болтливого Шапиро возрастала и надежда на благополучный исход.

— Да. Что же тут такого? Старый Аарон Шапиро тоже будет себе внучком. Отчего нет? Но о дежурном вы все-таки позабыли. Это плохо. Он тоже человек и тоже хочет себе праздника. Я сейчас принесу свой пай, и мы будем делать себе Рождество, о котором будем знать только мы... одни мы...

Голова Шапиро исчезла, но через пару минут он протиснулся в келью целиком, бережно держа накрытую листком бумажки тарелку.

— Очень вкусная рыба, по-еврейски, фиш, хотя не щука, а треска... Сам готовил! Я не ем трефного. Я тоже верующий и знаю закон. Все евреи верующие, даже и Лейба Троцкий... Но, конечно, про себя. Это можно. В Талмуде все сказано, и ученые ребби знают... Батюшка, давайте молиться Богу!

— Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков! Аминь.

— Amen, — повторил деревянным голосом барон.

— Amen, — шепотом произнес пан Стась.

Отец Никодим служил вполголоса. Звучали простые слова о Рожденном в вертепе, об искавших истины мудрецах и о только жаждавших ее простых, немудреных пастухах, приведенных к пещере дивной звездой...

Электричество в келье было потушено. Горела лишь одна свечка перед ликом Спаса, и в окнах играли радужные искры величавого сполоха, окаймлявшего торжественной многоцветной бахромой темную ризу усыпанного звездами неба. Они казались нам отблесками звезды, воссиявшей в мире Высшим Разумом, перед которым нет ни эллина, ни иудея.

Отец Никодим читал Евангелие по-славянски. Методичный барон шепотом повторял его по-немецки, заглядывая в свой молитвенник. Со стороны стоявшего сзади всех шляхтича порой слышалась латынь... На лице атеиста Миши блуждала радостная детская улыбка.

— С наступающим праздником,— поздравил нас отец Никодим. И потом совсем по-другому, по-домашнему. — Скажите на милость, даже кутью изготовили! Подлинное чудо!

Все тихо, чинно и как-то робея, словно стыдясь охватившего их чувства, сели за стол, не зная, с чего начать.

— О главном-то и забыл с вашими молитвами! — хлопнул себя по лбу Миша, метнулся к кровати, пошарил под матрацем и победно взмахнул такой знакомой всем бутылкой. — Вот она, родимая! Полных 42 градуса и печать... Из закрытого распределителя достал! На парижскую шелковую рубаху выменял...

Ликование превысило все меры. Никто из нас никогда в жизни — ни прежде, ни потом — не ел такого вкусного салата, как Etoile du Nord из промерзшей картошки; рыба-фиш была подлинным кулинарным чудом, а тюленья печенка — экзотическим изыском...

Выпили по первой и повторили. Разом зарумянившийся барон фон-Риккерт, встав и держа в руке рюмку, затянул Stille Nacht, Heilige Nacht, а Решад стал уверять всех, что:

— По-турецки тоже эта песня есть, только слова другие...

Потом все вместе тихо пропели «Елочку», дополняя и импровизируя забытые слова, взялись за руки и покружились вокруг зажженной елки. Ведь в ту ночь мы были детьми, только детьми, каких Он звал в свое царство Духа, где нет ни эллина, ни иудея...

* * *

Когда свечи догорели и хозяйственный Вася собрал со стола остатки пира, отец Никодим оглядел все изделия Решада своими лучистыми глазами и даже потрогал некоторые.

— Хороша елка, слов нет, а только у нас на Полтавщине обычай лучше. У нас в этот день вертеп носят. Теперь, конечно, мало, а раньше, когда я в семинарии был, и мы, бурсаки, со звездою ходили. Особые вирши пели для этого случая. А вертепы-то какие выстраивали — чудо механики! Так устроят бурсаки, что звезда по небу ходит, волхвы на коленки становятся, а скоты вертепные, разные там — и овцы, и ослята, и верблюды — главы свои пред Младенцем преклоняют... а мы про то поем...

— Скоты-то чего же кланяются? — удивился Миша.— Они что понимают?

— А как же, — всем лицом засветился отец Никодим, — понимать не понимают, а сочувствуют. Потому и они — твари Божие. Даже и древо безгласное и то Радость Господню приемлет. Апокрифическое предание о том свидетельствует... Как же скотам-то не поклониться Ему в вертепе?

— Поклонился же Ему сегодня ты... скот в вертепе...

—Ты иногда не так уж глуп, как кажешься, адамант, — не то раздумчиво, не то удивленно ответил Миша своему другу.

Продолжение следует

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Панорама мнений

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У СОЦИАЛИЗМА?

Под аккомпанемент лукавых заверений наших перестроечных лидеров о приверженности идеалам социализма на наших глазах рушится все, что было создано самоотверженным и тяжким трудом народа на протяжении семи десятилетий, разворовывается народное достояние, унижается народная честь. В условиях государственного кризиса и хозяйственной разрухи, когда страну всеми правдами и неправдами буквально загоняют в «светлое капиталистическое завтра», наш журнал еще раз возвращается к проблемам социализма, к его прошлому, настоящему, а может быть, все-таки и будущему. И не вина редакции, что на вопросы нашей анкеты опять отвечают люди, имена которых прочно ассоциируются с патриотическим движением. Мы обращались не только к ним. Мы обращались и к теоретику перестройки Льву Абалкину, и к бизнесмену Артему Тарасову, и даже к дирекции коммерческого банка «Менатеп», и ко многим другим. Но они нам ответить не пожелали. Видимо, о социализме им сказать нечего.

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ

1. Что такое, по-Вашему, социализм? Теоретическая схема? Идеология? Политический строй? Система хозяйствования?

2. Считается, что капитализм — общество для «сильных», социализм — для «слабых». Общество «сильных» развивается по законам материальной природы («социальный дарвинизм»), общество «слабых» по своей идее должно развиваться на духовных основах, на принципах социальной защиты всех. Что, по-Вашему, более справедливо, если учесть, что «слабых» — абсолютное большинство в любом обществе?

3. Из мировой практики известно, что государственный социализм показал свое преимущество перед капитализмом и частным хозяйством в условиях кризисных ситуаций. Как, по-Вашему мнению, мы сможем преодолеть наш нынешний кризис?

4. Видите ли Вы исторические корни социализма в прошлом нашего Отечества (социализм и православие, социализм и государственность, социализм и традиции народной жизни)?

АПОЛЛОН КУЗЬМИН,

доктор исторических наук

1. Социализм для меня — осуществление принципа социальной справедливости, то есть принципа, за который всю историю человечества борются социально приниженные слои населения, включая целые народы, и который неистребим, пока существует социальное неравенство. Научный социализм — это прежде всего реализация принципа социальной справедливости, исходя из точного знания всех социально-экономических и идейно-психологических процессов, происходящих в обществе.

Естественно, что принцип социальной справедливости недостижим без научного регулирования социальных отношений. Регулирование вообще присуще всякому организованному обществу, начиная с родового. Государственность — это так или иначе регулирование. Современная западная цивилизация дошла практически до всеохватного регулирования жизни общества. Недостаток этого регулирования, с точки зрения социальной справедливости, в том, что действует сугубо иерархический принцип соподчинения высших и низших звеньев, с тенденцией подчинения этой иерархии всего земного шара. В тоталитарном режиме Запада, где каждый сверчок должен знать свой шесток, как это недавно весьма убедительно показал Александр Зиновьев, обязательна также иерархия стран и народов. Благополучие одних там обязательно строится на обнищании других, что мы уже и начинаем испытывать на себе.

Сейчас социальные эмоции «прорабами перестройки» направлены против планового ведения хозяйства. Как будто можно построить дом, не имея ни плана, ни расчета! Целеполагание — специфика человеческой деятельности с самого зарождения человечества. И речь идет о согласованности планирования в государственном масштабе. Сама эта идея не просчет, а величайшее достижение, которое использовано практически всеми странами Запада. Говорить надо о том, почему планирование у нас так и не стало научным. А это подводит к вопросу о сущности деформаций системы, о причинах ее тотального кризиса и стремительного развала.

У нас традиционно неверно, причем с противоположных сторон, представляется содержание и значение Октября 1917 года. Залп «Авроры» застилает глаза и апологетам, и критикам. Ни ту, ни другую сторону почему-то не устраивает самый главный факт: погибло всего несколько человек (в Петрограде), и то случайно. А что произошло? Аналогия с нашим временем помогает это понять. Стремительное падение авторитета Горбачева и его «кабинета» — результат не столько их деятельности (о ней ничего почти не знают), сколько бездеятельности, неспособности (или нежелания) остановить всеобщую разруху.

В свое время под впечатлением размышлений В. А. Солоухина «Читая Ленина» я тоже перечитал давно не читанные ленинские статьи, в частности «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» и «Удержат ли большевики государственную власть?». Первая написана в середине, вторая — в конце сентября, за месяц до «десяти дней, которые потрясли мир». Думаю, было бы всем полезно перечитать их, сопоставляя с нашим временем и с нашими проблемами, часто совпадающими один к одному. Более всего меня поразил факт, лежащий на поверхности: осенью 1917 года практически все общественные слои и организации понимали, что без чрезвычайных мер остановить дальнейший развал и предотвратить голод не удастся, а чрезвычайные меры могли ввести лишь крайне левые — большевики, и крайне правые — монархисты, причем характер этих мер во многом мыслился одинаково. Либералы потому и отдавали власть, что не имели никакой программы предотвращения катастрофы. Но они надеялись вскоре вернуться после провала большевиков. Что-то они недооценили, что-то переоценили большевики, в результате получилось то, что получилось.

Почему идеи социализма были деформированы? Что недооценил Ленин? Еще в 1915 году Ленин отметил (для себя), что никто из русских марксистов, в том числе из его сподвижников, не понимает диалектики как метода познания. На практике это означало, что никто не сможет верно оценивать действительность. И это многократно подтверждалось. Достаточно вспомнить спор о монополии внешней торговли в 1922 году, когда Ленин оставался в одиночестве против всего ЦК, согласившегося отдать страну на разграбление международным спекулянтам (ныне полки магазинов опустошила прежде всего именно отмена монополии внешней торговли). Достаточно вспомнить те примеры, которые привел Бухарин в письме, опубликованном Британом. На что же Ленин рассчитывал? На новые кадры? На рост старых кадров? На практику, которая поправит? Или просто не было выбора?

А выбора и в самом деле не было, и расчеты не оправдались. Приходилось опираться на тех, кто принимал саму социалистическую идею. Но идеи принимаются не всегда продуманно и нередко спекулятивно. Одно противоречие обнаружилось изначально: чрезвычайные меры являлись, по сути, государственной идеей, а осуществляли их люди, глубоко чуждые идее русской государственности. Возник совершенно противоестественный симбиоз: почти половина офицерства старой России в Красной Армии с космополитическим, антипатриотическим руководством во главе.

Другое противоречие — стремительное отделение партийной верхушки от тех, интересы кого она вроде бы обязалась отражать. (Об этом тоже искренне сказано в упомянутом письме Бухарина.) Статья Ленина о трех источниках и трех составных

частях марксизма не была принята его коллегами. Ведь «третий источник» — это утопический социализм, главное содержание которого — самоуправление трудовых коллективов. А власть, отрывающаяся от народа, рано или поздно становится антинародной.

2. Во втором вопросе уже заложен и ответ: не только приведет, но уже и привело. «Рынок», которому наши вожди не видят альтернативы, на практике уже стал «Рижским рынком». «Рынок» и «социальная справедливость» — противоположные понятия. Вот уже несколько лет мы вообще перестали говорить о моральных стимулах труда, а в итоге нравственность исчезает и из сферы человеческих взаимоотношений вообще. Одичание общества — закономерный результат всей проводимой политики, названной бессодержательным термином «перестройка». Разрушение общества и разрушение личности — один и тот же процесс, поскольку личность в своей сущности именно «совокупность общественных отношений». При всех пороках нашего недостроенного социализма, всем правителям приходилось говорить о социальных гарантиях и что-то делать реальное в этом направлении. Даже в странах Восточной Европы, куда не слишком качественный социализм привносился извне, контрреволюции привели не только к резкому падению жизненного уровня, но — что не менее важно — и к потере уверенности в завтрашнем дне. А эта ценность подороже многих материальных. Поистине, «что имеем не храним, потерявши — плачем».

3. Ответ на этот вопрос частично дан в общей характеристике социализма. Конечно, только на путях государственного регулирования, на путях самого жесткого исполнения законов. Это понимали всегда и везде. Важно только, чтобы такое регулирование твердо ориентировалось на принцип социальной справедливости. В нашей стране обязательно также скрупулезнейшее соблюдение принципа национального равноправия. Нынешние власти — и центральные, и республиканские, и «демократические» городские — вывести из кризиса не могут, да и не слишком к этому стремятся: нужны более ответственные и более компетентные государственные мужи, ни прямо, ни косвенно не связанные с транснациональными корпорациями и отечественной компрадорской буржуазией. Кризис — вовсе не стихийный процесс. Он хорошо спланирован и четко осуществляется. Достаточно было отменить монополию внешней торговли, чтобы случилось именно то, о чем в 1922 г. предупреждал Ленин: товары из страны исчезли, хозяйство разрушено и народу остается бежать за рубежи в погоне за своим утраченным богатством.

4. Это безусловно так — и в положительном и в отрицательном значении. В 1917 г. подавляющее большинство народа принимало социалистическую перспективу. Выборы в Учредительное собрание отразили это настроение общества. Как это ни парадоксально с точки зрения «научного социализма», Россия более, нежели любая другая европейская страна, была готова к принятию социализма в силу традиционного коллективистского образа жизни и мышления. Трагедия заключалась в том, что в 20—30-е годы, да и позднее, растаптывались те самые традиции, на которые следовало опираться. Об этом в последнее время интересно писали, подходя с разных сторон, Г. Куницын и О. Платонов. Хотел бы подчеркнуть, что действительный научный социализм должен был бы начинаться с изучения традиций страны и ее народов, чтобы поддержать их естественные здоровые тенденции и опереться на них. У нас же приняли идеи, рожденные совсем другими условиями, не подумав даже о приложимости их к тем или иным реальным жизненным обстоятельствам. К сожалению, даже идеологи наши не поняли, что именно Ленин и Плеханов в самой резкой форме отвергали у Богданова и других русских махистов. А речь шла о принципиальном вопросе: идти ли от жизни или от в чьей-то голове родившейся идеи. Практически все наше партийное руководство пошло (и продолжает идти) вторым путем. Отсюда всевозможные «волюнтаризмы» и «субъективизмы»: субъективна сама принимаемая философия.

Некоторые традиции несут и негативную нагрузку. Так, отрыв аппарата от народа характерен и для России XVI—XIX вв. и даже ранее. Но тогда это было менее опасно, поскольку самоуправляющиеся общины имели возможность основные свои проблемы решать независимо от государственной бюрократии. После 1917 г. сфера самоуправления не только не расширилась, а, напротив, резко сузилась. Традиционно население не участвовало в формировании высших органов власти и сейчас политически совершенно не готово к такому участию, требующему определенной политической культуры и сознательного отношения к государственным и общественным проблемам. Традиционная отдаленность от высших правящих инстанций рождает чувство собственной неполноценности, выражением которой является слепая вера в «доброго царя» или «вождя», неспособность и даже нежелание анализировать деятельность правителей и их советников, нежелание разбираться в самом механизме властвования.

Собственно православие особого влияния на события не оказало. К 1917 г. авторитет церкви, по крайней мере в городе, стоял невысоко. Не только большевики, но и все партии центра были либо атеистическими, либо неправославными (партии от меньшевиков до октябристов ориентировались на организации масонского типа). Не отказываясь от участия в политической борьбе, церковь не предложила ни социальной, ни политической программы. Сам идеал социальной справедливости, заложенный в христианском вероучении, не был своевременно задействован церковью. Это облегчило компрометацию ее новой волной фанатиков религиозного типа — вульгарными атеистами. Обновленческое движение несколько запоздало: маховик

агрессивного неприятия уже был запущен на полную мощь. Между тем объективно православие вполне могло работать на социалистические идеалы, прежде всего именно русское (а не византийское) православие, связанное с именами Илариона, Алексия, Сергия Радонежского, Нила Сорского. Христианская диалектика способна существенно обогатить и теорию познания диалектического материализма, поскольку последний принимает диалектику слишком «по Гегелю», вне нравственных ценностей.

ВЛАДИМИР ОСИПОВ,

глава союза «Христианское Возрождение»

1. Социализм, как я его понимаю,— это теория и практика создания такого общества, при котором предполагается всеобщее равенство всех, кроме правителей, и обобществление (огосударствление) собственности. Впервые идея социалистического общежития предложена Платоном, затем подхвачена Кампанеллой, Фурье, Марксом, Лениным, Мао Цзедуном. При этом понятие о социализме выступает в двояком плане: максимальный, полный, «подлинный» или «научный» социализм в форме коммунизма и собственно социализм как незавершенное, не до конца осуществленное равенство. Словом, социализм — это полукоммунизм. Большевики, взяв власть в октябре 1917 года, немедленно взялись за построение коммунистического общества. Об этом говорилось и писалось открыто. Повсеместно создавались коммуны, все «обобществлялось», активно готовились к отмене денег. Когда коммунизация, опиравшаяся на голое насилие, провалилась, большевики отступили и занялись построением социализма, а попытку немедленной реализации утопии назвали «военным коммунизмом». Эпитет «военный» был добавлен задним числом. Непосредственно в первые послеоктябрьские годы речь шла просто о коммунизме, без добавочных эпитетов.

Правда, еще существуют социал-демократы и социалисты, тоже выступающие за социализм. По их понятиям, социалистическим обществом считается, например, Швеция, где доминирует частная собственность, но капиталисты обложены огромными налогами в пользу остального населения.

Клемансо однажды сказал: «Тот, кто не является социалистом в 20 лет, у того нет сердца, но тот, кто продолжает оставаться социалистом в 40 лет, у того нет ума». То доброе и справедливое, что вкладывают в понятие социализма субъективно честные люди, вовсе не обязательно называть социализмом. Тем более это иноземное двусмысленное закодированное заклинание не нужно нам, русским. Христианские основы русской жизни всегда включали в себя идею взаимопомощи и взаимовыручки, решение проблем миром, общиной. Русский человек не именовал себя социалистом, но считал долгом и обязанностью помогать сирым и бедным. Если у крестьянина случался пожар, вся деревня общими силами строила ему дом задаром.

Социализм — это решение об устройстве человеческого общества БЕЗ Бога. И это главное. В этом пункте сходятся и правые, и левые социалисты, кровожадный Пол Пот и либеральный Вилли Брандт. Одна и та же цель — построение безбожного и бездуховного «социума» — достигается либо террором, либо демагогией, апелляцией к желудку, к самым меркантильным интересам. Советский социализм если и имел какие-то позитивные моменты, то только ВОПРЕКИ социалистическим «принципам». Были допущены, скажем, приусадебные участки, значительная часть колхозов была ликвидирована и превращена в совхозы, что перевело колхозников из крепостного состояния (разумеется, более зависимого, чем до 1861 года) в разряд социально защищенных (пусть по минимуму) наемных рабочих и т. д.

2. Я не совсем согласен относительно «пока еще существующей социальной защищенности». Минимальные пенсии повышены с 30 рублей до 70 рублей совсем недавно, немногим более года назад. Государственные дотации на продукты питания существовали, и это, конечно, было существенной поддержкой для малоимущих слоев. Но самих-то продуктов систематически не хватало. Более-менее обеспечивались Москва, Ленинград, так называемые «закрытые» города, а в целом по стране на полках магазинов отсутствовала не только колбаса и сыр, но и многое другое. Жители Курска, Смоленска, Брянска постоянно ездили в Москву за продуктами. Миллионы людей десятилетиями недоедали. Прежде всего это относится к русскому народу и к другим народам Российской Федерации. В результате генофонд нашей нации подорван не только большим террором, но и хроническим недоеданием.

Тем не менее «постперестроечное общество» может оказаться еще более худшей «альтернативой». Когда-то, вопреки логике, совершенно безотчетно верили в коммунизм, в коммунистический рай на земле. С тем же самым восторгом сегодня верят в капитализм швейцарского или западногерманского типа. Почему? Откуда эта беспочвенная уверенность? Почему, предполагая переход к капитализму, мы не предполагаем, что у нас будет колумбийский или бангладешский капитализм? А ведь при нашем нищенском уровне общей культуры, и технологической в том числе, глубоком нравственном кризисе (воровство с предприятий, халтурная рабо-

та и т. п.) и, самое главное, при наличии вседовлеющей и всеохватывающей мафии у нас и не может быть в настоящее время швейцарского варианта капитализма. Если капиталист-лютеранин, капиталист-кальвинист худо-бедно пытался совместить свое стремление к прибыли с требованиями Евангелия, с общественным служением, то наш сегодняшний буржуй, наворовавший свои капиталы, не просто безбожник, а воинствующий хапуга-циник, откровенный грабитель, которому абсолютно наплевать на слабых и нищих. Уже во времена Брежнева эта мафия захватила, например, в свои руки снабжение запасными частями для автомобилей, строительными материалами, сантехникой и многим другим. С наступлением перестройки мафия (включая коррумпированную часть аппарата) захватила практически всю советскую торговлю. Миллионы простых людей стоят в диких очередях за дефицитом, в который превратились даже спички, а мафия набивает карманы, не имея и капли сострадания к народу. Перестроечное государство, само полузахваченное мафией, обнаружило свое полное бессилие.

Трагизм усугубляется еще и тем, что так называемые демократы рассчитывают при переходе к рынку именно на эти криминогенные капиталы, на эту безбожную мафию. Часть демократов без стеснения сотрудничает с дельцами теневой экономики, другая часть, брезгливо затыкая нос, полагает, что просто нет иного выхода и надо-де дать полную свободу этим воровским капиталам, чтобы заработал механизм капиталистического хозяйства. То есть речь идет о прямом и полном господстве миллионеров-грабителей, буржуазии уголовного происхождения. При этом балаган демократии станет ширмой для одурачивания народа, разочаровавшегося в социализме. Когда-то большевики окарикатуривали буржуазию начала века. Но та буржуазия, повторяю, имела веру в Бога и страх Божий. Сегодняшняя плутократия ничего этого не имеет, и вот она-то и есть та воровская шайка, какую рисовали революционеры 80—90 лет назад. Карикатура превратилась в реальность. Из этого логично следует, что постперестроечное общество неизбежно приведет к крушению даже существующей пока (пусть скромной) социальной защищенности. За чертой бедности окажется подавляющая часть населения. Мы уже увидели это на примере Прибалтики, лидирующей на пути к «рынку». В январе 1990 г. цены на питание в Литве, а затем и в Латвии подскочили в 2—3 и даже в 4 раза. Известные события начались как раз с демонстраций протеста против этого бесчеловечного повышения цен. В рабочих столовых обед подорожал до 4—5 рублей. При таких ценах социальные надбавки к зарплате и пенсиям превращаются в фикцию. Прямое обнищание при капитализме бангладешского типа (а иного у нас и не будет) грозит десяткам миллионов трудящихся, не говоря уже о несчастных пенсионерах. Уже сегодня подземные переходы забиты нищими. Завтра... Страшно подумать, что будет завтра.

3. Чтобы преодолеть нынешний кризис, необходима, во-первых, политическая стабильность. Никаких политических забастовок, никаких призывов к насилию, к раскачиванию пусть далеко не симпатичной власти.

Необходимо сохранение единого и неделимого Отечества. Как бы ни рвалась Литва (точнее, «Саюдис») из ненавистного ей Союза, пусть подождет. Только в условиях сохранения территориальной целостности страны, сохранения единой хозяйственной системы возможен чрезвычайно сложный, сопряженный с риском путь выхода из кризиса. Союзное правительство совершило серьезную ошибку, поспешив с либерализацией поставок готовой продукции предприятиями, минуя Госплан, в том числе за рубеж и в южные республики, сплошь коррумпированные.

Нельзя было допускать преждевременный разрыв укоренившихся экономических связей, сложившейся системы снабжения и сбыта. Конечно, при нашей системе материально-технического обеспечения даже нормированное сырье и материалы, даже то, что поступало «законно», по фондам, даже это сплошь и рядом приходилось «выбивать» за взятки. Но теперь, когда порушена вся система централизованного и планового обеспечения (пусть скрипучего и во многом бестолкового), буквально все надо «доставать», «подмазывая» и «подпитывая» дающих. Перестройка, таким образом, создала идеальную почву для коррупции. Во-вторых, для выхода из кризиса необходим кардинальный пересмотр идеологических приоритетов. Необходимо начисто отбросить идею мировой революции, идею помощи так называемым прогрессивным движениям и режимам.

Во главу угла следует поставить исключительно национальные цели. Благо собственного народа превыше всего. Вопиют безлюдные нищие деревни средней полосы России. Топит людей и комбайны сплошное бездорожье. Удручает никуда не годная медицина и отсутствие лекарств. Хронический продовольственный кризис. Умышленное спаивание народа. Мы так далеко спустились по нисходящей безответственного и преступного «интернационализма», что немного национальной озабоченности не повредит. Отечество важнее марксистской догматики.

Пора, наконец, правительству стать национальным правительством и думать об интересах своего народа, а не об интересах утопической идеологии. В-третьих, власть, руководствуясь национальными интересами, должна предложить программу постепенного и поэтапного перехода к рынку. Постоянно держа руку на пульте управления, ликвидировать организованную преступность. Твердой рукой обезвредить теневиков. Пока мы не избавимся от чудовища, впившегося в ткань экономики, пока мы не одолеем мафию, какой не знала не только Сицилия, но и весь мир Божий, все реформы будут заведомо обречены. Конечно, существует опасение, что власть, проявляя твердость по отношению к мафии и организованной преступности, при этом сама превратится в диктатуру над

всеми. Мы не привыкли к политической культуре. У нас либо деспотия, либо анархия. Искусство настоящей политики — это, по выражению Наполеона, искусство игры на скрипке. Власть должна научиться допускать полную гласность, например в отношении социально-политических проблем, и одновременно установить предел разнузданной пропаганде порнографии, бесстыдства и порока. Давать свободу политическим течениям и решительно пресекать разворовывание заводов и фабрик. Итак, претворение в жизнь программы ступенчатого перехода к рынку должна одновременно сопровождаться радикальным искоренением мафии. Ибо пока она существует, пока ее представители сидят в Госплане, Совмине, главках и ведомствах, она непременно переведет стрелки на путях в нужном ей направлении.

О «социалистическом выборе». Те элементы планово-государственного «социализма», которые носят объективно позитивный характер, можно и должно использовать для национальных целей. Ведь и в экономике Запада, скажем во Франции, Австрии, ФРГ, государственный сектор довольно обширен. Нужно уметь историческую данность обратить во благо. Например, важно сохранить бесплатное медицинское обслуживание, резко улучшив это обслуживание и существенно повысив зарплату медицинским работникам. Сохранить в интересах малоимущих и пенсионеров государственные дотации на продукты питания. Не надо кидаться из крайности в крайность. То положительное, что хотя бы в принципе дал так называемый «реальный социализм», следует сохранить и в условиях частного предпринимательства. Оговорюсь: «реальный социализм» — это все-таки нечто иное, нежели рецептура первого поколения большевиков. Бухарин мечтал об общей варке пищи, Троцкий — о трудовых армиях из безропотных пролетариев, Крупская и Коллонтай — о ликвидации семьи и т. д. Весь это бред, слава Богу, преодолен сознанием следующих поколений советских коммунистов. Окажись брежневский ЦК КПСС перенесенным в эпоху первоначального коммунизма, то есть в 1918—1920 годы, он был бы полностью расстрелян, подобно командарму Миронову, за оппортунизм. Я хорошо помню, как, скажем, в 60-е или в 70-е годы старые каторжане в лагере говорили молодым: «Что вы? Сейчас жить можно. Сейчас лафа. Пожили бы вы в 20-е годы — вот ужас!»

Нужна государственная программа развития сельского хозяйства, строительства дорог, жилья, меры по преодолению катастрофического спада рождаемости славян и т. д. Все это должно заработать через сложившийся социально-экономический механизм.

Наконец, последнее по счету, но отнюдь не последнее по значению условие выхода из кризиса. Это подъем нравственного состояния народа. Все говорят, что наши изделия неконкурентноспособны на мировом рынке, что они, как правило, все плохого качества. Перестреляли священников, порушили храмы, порубили и пожгли иконы, заменили христианскую мораль классовой (Ленин: «нравственно то, что выгодно пролетариату»), внушили всем «пролетарскую» ненависть — и хотят, чтобы испорченные ими люди заботились о качестве изготовляемой продукции! Каждый начальник лагеря знает, что самые добросовестные, самые честные работяги в зоне — это всегда верующие. Сталин и Рыков отменили сухой закон императора Николая Второго. В 70-е годы число хронических алкоголиков и пьяниц в стране достигло 40 миллионов человек. Горбачев сначала принялся было за искоренение алкоголизма, но потом, под влиянием перестроечной общественности («Огонек», Евтушенко и т. д), полностью капитулировал. Между тем алкогольная чума ничуть не пошла на убыль. Люди снова стали пить на работе, у станка и письменного стола. Горько смотреть на толпы несчастных, штурмующих винные магазины. Мафии нужны рабы. Покорные и бессловесные пьяницы. Русофобам понадобилось окончательно подорвать генофонд русского народа. Той же цели служит массированное растление молодежи средствами порнобизнеса. Так в конце концов социально-политическая проблематика упирается в решение духовных вопросов. Без возрождения Православия и национального самосознания народа выход из нынешнего кризиса немыслим.

4. Еще раз напомню: мне как православному человеку не по душе само слово «социализм». Но если не смущаться словом, то надо признать, что русский народ, воспитанный Православием, в течение столетий был близок по взглядам к «социализму» (спаси, Господи!). Если, повторяю, вкладывать в это понятие не безбожие, демагогию и насилие, а такие вещи, как артельность, заботу о сиротах и калеках, неизменное чувство социальной справедливости. У нас еще недостаточно знают русскую крестьянскую общину. Земля была Божья и перераспределялась по справедливости на мирском сходе. Община несла на себе бремя заботы о вдовах и сиротах. Подать милостыню погорельцам в русской деревне считалось делом чести и долга. Каждый мог прийти в монастырь и питаться задаром в трапезной. Великая Транссибирская магистраль, как об этом недавно напомнил В. В. Кожинов, была построена артельным способом в немыслимо краткий срок. Всегда можно четко определить дореволюционную кирпичную кладку от халтурной «социалистической». Ибо в первом случае работала артель, а во втором — винтики псевдопролетарского государства. Большевики сделали все возможное, чтобы отвратить людей от идеи социализма. Хорошо, если это касается того питекантропа, которого холили садисты от философии в течение столетий. Плохо, если мы отшатнемся теперь даже и от духа товарищества и соборности, сделав эгоизм и личную наживу своим кумиром. К сожалению, перестроечная печать и так называемые демократы толкают нас из огня да в полымя. Опорочиваются вечные нравственные ценности, и прежде всего патриотизм, чувство единения со своим народом, идея соборности. Самое торжественное богослужение

в православной церкви недаром называется «ЛИТУРГИЯ», то есть «общее дело».

Нас хотят отринуть от ОБЩЕГО ДЕЛА. Разъединить, раздробить, превратить в разрозненные молекулы. На всех киосках торчат плакаты с изображениями суперменов. Молодежи внушают: будьте только физически сильными и бейте всех, пробивая кулаками свой путь в толпе. А патриотизм, дескать, это «убежище подлецов» — буквально так кощунствуют демократические витии. Эгоизм демократов ярче всего проявился в кухонной политике Моссовета, Ленсовета и других захваченных ими органов власти. Пользуясь привилегированным положением Москвы и Ленинграда, введенным партократией, «друзья народа» установили систему визиток и талонов для москвичей и ленинградцев, преградив тем самым доступ к своим магазинам значительной части обездоленного народа в радиусе до 300 км от столиц. Голодайте, дескать, нам на вас наплевать.

Мне хочется выразить сомнение в приверженности демократии тех участников демократических митингов на Манежной площади, которые с пеной у рта проклинают номенклатуру, а сами благосклонно пользуются установленным этой же партократией уровнем снабжения Москвы. Только номенклатура при этом стыдилась вводить купонную систему для избранных, а демократы — не стыдятся.

ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ,

член-корреспондент АН СССР

1. Социализм именно потому и представляет собой для нашего общества особенно запутанную, болезненную проблему, что с ним связывается несколько разнородных концепций — причем обычно они не различаются.

Мне кажется, что прежде всего социализм является духовным (хотелось бы сказать — мистическим) течением. Это ожидание грядущего грандиозного мирового катаклизма, который уничтожит весь «старый мир», т. е. мир, в котором мы сейчас живем, и создаст некий «иной мир», лишенный большинства проблем, отягчающих нашу жизнь. Такой миф об очистительном мировом пожаре возникал в истории под разными обличьями много раз — особенно начиная с раннего средневековья в Западной Европе. Течения, опирающиеся на эту мифологию, были связаны с большим эмоциональным подъемом, жертвенностью, заразительностью, благодаря которой охватывали большие массы людей. Участники испытывают чувство энтузиазма, полной отдачи себя некоторой высшей цели. Человеческая индивидуальность растворяется, сливается с другими, «каплей льется с массами», превращается в «винтик грандиозной машины». Но это слияние множества личностей и беспрекословное подчинение высшему авторитету дает ощущение необычайной, сверхъестественной мощи и снимает с человека бремя личной ответственности.

Иногда подобные течения носят чисто анархический, разрушительный характер. Если же они выливаются в некоторую сравнительно стабильную форму, то реализуются в виде жизненного уклада, где человеческая личность жестко подчинена дисциплине господствующей власти, выступающей от имени все той же «высшей цели». Это относится как к экономической, так и к идеологической стороне жизни. Таким образом, социализм как следствие приводит к централизованной государственной экономике и идеологическому диктату. Но это лишь некоторые его последствия, и, например, централизованная экономика может осуществиться и без социализма как духовной основы.

Особенно важно разделить эти аспекты социализма сейчас, чтобы понять, какую роль он играет и может играть дальше в жизни нашей страны. Как мне представляется, основной духовный порыв, составляющий движущую силу каждого социалистического движения, сейчас у нас полностью выдохся. В гражданскую войну, во время коллективизации он был главным генератором энергии. Ведь не компания же болтунов, темных личностей и полууголовных авантюристов вроде Троцкого, Радека или Крыленко вытянула на себе, например, гражданскую войну. Успех определили тысячи и десятки тысяч бескорыстных, в большинстве своем оставшихся неизвестными жертвенных подвижников, безоглядно отдавшихся черному ветру разрушения «старого мира». Они готовы были голодать, рисковать, быть расстрелянными или умереть от тифа — и уж конечно безжалостно и без тени сомнений обрекали народ на голод и расстрелы — в борьбе «за дело это». Но сейчас представляется совершенно фантастическим, чтобы кто-то жертвовал хоть некоторой частью своего материального благополучия — не говоря уже о жизни — ради разжигания мировой революции или построения бесклассового государства, невиданного в истории.

Что же в нашей стране сейчас реально осталось от социализма? В основном это грандиозная государственная централизованная, неэффективная экономика и проблема преобразования ее в нечто жизнеспособное — желательно без прохождения через стадии полной разрухи и хаоса. Но также еще — инерция лозунгов вроде «социалистический выбор», «отсутствие эксплуатации человека человеком» и т. д. Так что в первую очередь перед нами стоит задача хоть и исключительно трудная, но не идеологическая, а более конкретная — экономическая и социальная.

Термин «социалистический выбор» не поможет в ней ориентироваться. Прежде всего потому, что такого «выбора» никогда не было — наш общественный строй был установлен путем переворота, к которому готовились с начала века, и 4-летней гражданской войны, запланированной еще с 1914 г. («превратить войну империалистическую в беспощадную гражданскую войну»). А также потому, что этот термин не дает никакого ориентира в том, как же менять экономику — разве что сообщает смутный импульс по возможности упираться и ничего не менять. А запугивание «эксплуатацией человека человеком» просто не имеет смысла. Неужели не эксплуатируются наши горняки, живущие в отравленной атмосфере, работающие с полным забвением техники безопасности? Или крестьяне, почти начисто лишенные медицинской помощи, отрезанные от образования? Не эксплуатировались зеки на Беломорско-Балтийском канале? А Френкель или Берман, распоряжавшиеся их жизнями, не были людьми их эксплуатировавшими? Реальными сейчас являются вопросы вроде продажи земли: продавать ли ее совершенно свободно? запретить всякую продажу? разрешить ее только через крестьянский банк? Две линии развития экономики — одна, допускающая безработицу в размере 40—60 миллионов, и другая, предусматривающая ограничение их числа 4—6 миллионами, расходятся куда больше, чем позиции республиканской и демократической партий США. Вот такие проблемы и составляют нашу реальность, а реликтовая социалистическая фразеология с ними просто никак не связывается. Наша жизнь уже ушла от вопроса — быть или не быть социализму? Он в наших условиях не привязывается к реальности. Пытаться их искусственно связывать — значит нагружать нашу и так до предела трагическую ситуацию ненужным балластом.

И в заключение мне представляется особенно важным не то, что я или другой автор понимаем под термином «социализм», а какой смысл вкладывает в него, часто не раздумывая, большинство читателей. Здесь, думаю, ответ может быть только один: слово ассоциируется с тем строем, который сам себя обозначал этим термином — в нашей стране, Китае, Вьетнаме, Камбодже, восточноевропейских «народных демократиях», многих странах 3-го мира. Ссылка на то, что это были «извращения», неудачные попытки воплощения светлого идеала, вряд ли сейчас многих убедят. Ведь если идеал так систематически воплощается неудачно, то какова же вероятность того, что следующее воплощение окажется удачнее? И сколько народов не жалко загубить, чтобы дождаться «неизвращенного» социализма? Таким образом, даже чисто прагматически любое течение, использующее социалистическую терминологию, ставится сейчас в проигрышное положение. Да и любой автор почти наверняка будет неверно понят, если он применяет термин «социализм», не разъяснив тщательно, что он под этим подразумевает. Мне приходилось, например, встречать тезис о сильных социалистических тенденциях в современной экономике. В качестве аргумента приводились яркие факты государственного финансирования ряда сторон жизни в США — культуры, сельского хозяйства. Но тогда и следовало бы разъяснить, что термин «социализм» понимается столь широко, что подразумевает строй, существующий сейчас в США. Уверен, что без такого разъяснения этот термин будет восприниматься большинством из нас совсем иначе.

2. Предсказать, конечно, ничего нельзя, но представляется вполне вероятным, что большинство из нас скоро будет отброшено не только за черту бедности, а — в голод, и вообще произойдет полный крах жизни. Представим себе только, что в результате нехватки топлива или забастовок зимой остановились московские ТЭЦ. Через неделю начнут умирать от пневмонии старики и грудные дети, а затем население бросится в соседние области, неся туда хаос. А ведь сейчас вся экономика так связана, что выпадение лишь одной части — энергетики, транспорта, металлургии и т. д. — остановит всю ее.

Но это, мне кажется, не имеет никакого отношения к социализму. Это проявление общего принципа: далеко идущие реформы имеют шанс на успех, только если их осуществляет сильная власть, иначе они приводят к хаотическому развалу. Столыпин, проводя свои радикальные реформы, одновременно ввел военно-полевые суды и подавил терроризм. Но то был Столыпин! — да и он не смог предотвратить собственной гибели. У нас же сейчас слабость власти напоминает послефевральские месяцы 1917 г.: двоевластие, призывы к армии не выполнять приказы, череда неисполняемых законов — и поток речей. И на этой основе происходят попытки реформ...

С социализмом вся эта ситуация связана разве лишь тем, что возникла в результате продолжавшейся 70 лет попытки навязать нашей стране социалистическую утопию.

3. Основной путь к их современному состоянию был проделан ведущими капиталистическими странами, когда никакого «реального социализма» не было в помине. И какой его опыт можно было бы использовать позже? Разваливающаяся экономика? Разрушенная деревня? Падение рождаемости? Преследования любой независимой мысли? Главной гордостью нашей пропаганды был «плановый характер экономики». Но мы знаем теперь, что наша экономика на самом деле оказалась менее управляемой, более хаотичной, чем во многих других странах. Пятилетки выполнялись за счет обманных заявлений. Продовольственная программа привела на грань голода. Господство плана в сельском хозяйстве привело к тому, что посевная кампания в целой республике начиналась по приказу в один день!

Не понятно также, что означает выход из «кризисных ситуаций» для ведущих капиталистических стран? У них ведь не было «реального социализма», а наша ситуация как раз и заключается в том, что мы не

знаем, как избавиться от его последствий. У них же никогда не было столь централизованной экономики, где даже сельское хозяйство управляется из одного центра. Существующие у них рыночные отношения и формы организации производства складывались (как и в дореволюционной России) в течение столетий.

Драматизм нашей ситуации как раз в том и заключается, что подобных ситуаций в истории, кажется, вообще не было. Переход от предельно централизованной экономики к более свободному экономическому укладу, да еще в громадной стране, да в сравнительно короткий срок (а долгого мы не вынесем) и без полного разрушения всего хозяйства,— мне, по крайней мере, неизвестны такие исторические прецеденты. Поэтому мы и не можем воспользоваться ничьим опытом, а вынуждены искать выход сами.

4. Я долго думал о том: каким образом социализм в нашей стране опирался на православие? Может быть, на труд арестованных священников в Соловках? О какой другой опоре можно говорить, если вспомнить письмо Ленина, декретирующее расстрелы «реакционного духовенства» или «безбожную пятилетку», планировавшую закрытие последнего храма, чтобы к концу ее имя Бога больше не произносилось в нашей стране? Впрочем, возможно, вопрос относится к области «черного юмора», который я вообще плохо воспринимаю.

И уж совсем теряюсь — как связать опору на национальные (русские?) ценности и центростремительные государственные тенденции с безудержным экспортом мировой революции, где России была отведена лишь роль горючего, которое ради хорошей цели истратить не жаль? Когда вся предшествующая история России зачеркивалась, объявлялась «проклятым прошлым», сводилась к тому, что «ее непрерывно били».

Когда же в связи с поставленным вопросом речь идет об «общине, помочах и т. д.», то это понятнее — подразумевается, видимо, что на эти ценности «опирались» колхозы. Здесь было бы над чем подумать, если бы какой-то исследователь доказал, что на помочи загоняли плеткой (как на работу в реально известных мне колхозах), в общину — пулеметами и танками, работали там за «палочки», посевная начиналась по приказу в один день по всей губернии.

Но пока никто ничего подобного не установил, нет оснований совершившийся в нашей стране кошмар валить на «национальные ценности». Вся эта система со всеми ее милыми подробностями была в деталях описана Платоном, Томасом Мором, Кампанеллой. А в «Коммунистическом Манифесте» авторы предлагают начинать построение новой жизни с введения обязательной трудовой повинности и создания трудовых армий. И осуществилась система совершенно единообразно не только в нашей стране,— так же и в Китае, на Кубе, в Камбодже и других странах. Как раз весь опыт XX века показывает, что социализм не опирается на национальные ценности никакого народа, но может осуществиться только вопреки им и за счет их полного искоренения.

ЮРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ,

кандидат исторических наук

1—2. Оценивая социализм преимущественно как реальный опыт экономического, социального, внутриполитического и международного развития ряда стран Европы, Азии, Америки, мне не кажется необходимым противопоставлять идейно-теоретическое воплощение социализма практике. Часто сопоставление социализма как теории и идеологии с негативными проявлениями реального социализма в политической и хозяйственной сферах приводит к прямо противоположным выводам: либо порочная схема изначально противоречила реальной жизни общества, интересам народов, национальным традициям и оказалась бесплодной, либо прекрасная теория была применена на «неудачной» национальной почве, а поэтому дала негодные плоды. Как бы ни были оторваны от жизни многие схемы социалистического устройства, идейно-теоретическая предпосылка социализма — поиск антикапиталистической альтернативы — исходит из реального противоречия между интересами народов и отдельных людей негативным сторонам капитализма и направлена на защиту этих интересов. Очевидно, что на определенном этапе, и в ряде стран в большей степени, антикапиталистическая направленность социализма проявлялась прежде всего в разрушительных действиях в ходе ниспровержения старого уклада и в активном стремлении распространить революционный пожар на другие страны мира. По мере же того, как новый строй приступал к решению созидательных задач, он почти неизбежно перерастал в способ защиты независимого положения страны или союза стран в мире капиталистического окружения и поэтому обращался к резервам народной энергии и национальным традициям. А это приводило к тому, что социализм из универсальной и абстрактной формулы для всех стран и народов на практике обретал своеобразные национальные черты, характерные для каждой страны.

2. В этом не может быть ни малейших

сомнений. в том случае, если «постперестроечное общество» превратится в общество, где будет бесконтрольно властвовать рыночная стихия. Хотя очевидно, что выигрывать от изменчивой конъюнктуры рынка будут подвижные, предприимчивые и энергичные, а ленивые и нерадивые пострадают, в числе проигравших будут не только бездельники. Поддержание привычного образа жизни, довольно скромного у подавляющей части населения нашей страны, будет требовать от людей не только значительных трудовых усилий, но и основательных мер социальной защиты со стороны государства. Следует учесть, что создание системы социальной помощи на Западе, отвечающей условиям рыночного хозяйства, было результатом многих десятилетий борьбы непривилегированной части общества и достигнуто на высоком уровне экономического развития лишь в сравнительно недавнее время. В США, например, миллионы людей охвачены различными формами государственного вспомоществования (около 30 миллионов человек имеют право на субсидии в оказании им медицинской помощи, около 20 миллионов имеют возможность приобретать питание на бесплатные «продовольственные» купоны).

И хотя у нас рискованно оспорить широко распространенное убеждение в том, что «их» безработный живет лучше, чем «наш» министр, фактом остается наличие миллионов людей, лишенных постоянного крова и не способных удовлетворить самые элементарные потребности в питании, одежде, бытовых условиях даже в самых развитых странах мира, где достигнут высокий уровень экономического процветания и давно налажен механизм социальной защиты.

Поражение будут терпеть все, чьи доходы не смогут успевать за ростом стоимости жизни, особенно за резким повышением оплаты общественных услуг, и кто будет страдать от исчезновения многих привычных форм прямой и косвенной материальной поддержки и появления невиданных ранее социальных бедствий. Переход к рынку в нашей стране вызовет кризис сложившихся отношений в поселениях и трудовых коллективах, даже между друзьями и членами семей, провоцируя и перенапряжение сил в попытках поддержать привычный уровень потребления, и внезапное прекращение привычных способов неформальной взаимопомощи.

Однако все многообразные последствия такого поворота даже трудно предвидеть, особенно в связи с тем, что открытость нашего общества мировому рынку сможет раздавить нашу экономику, превратив подавляющую часть населения в безработных, уничтожив любые формы социальной помощи и сделав недоступными товары первой необходимости.

3. Благодаря обращению к опыту Советского Союза в государственном контроле над экономикой ведущие государства мира смогли преодолеть беспрецедентные кризисы 30-х годов, осуществлять руководство оборонной промышленностью в годы второй мировой войны, создавать принципиально новые отрасли хозяйства. Очевидно, это связано с тем, что преодоление ситуаций спада и застоя в производстве или необходимость хозяйственного рывка вперед требует общенациональной мобилизации, а не поощрения центростремительных движений в хозяйстве. Ограничения с рыночной стихии в капиталистических странах обычно снимали лишь в условиях стабилизации экономики и на определенном уровне хозяйственного развития, достигнутого под защитой общенационального государства. Капитализм вырос и поднялся под скипетром абсолютизма и периодически возвращался под защиту различных форм централизованного государственного регулирования. Крепкое государство во многих странах оберегало национальную экономику от вторжения капитала более развитых других стран.

Справедливо отмечая те беды, которые приносит политика, исходящая из беспрекословного приоритета государственных задач над потребностями большинства населения, жесткий контроль неповоротливого бюрократического аппарата над хозяйственным развитием, сторонники всемерного «раскрепощения» рыночной инициативы часто игнорируют исторический опыт, свидетельствующий о том, что достижение страной экономических успехов в условиях неограниченной рыночной стихии случалось крайне редко и в особых условиях. Романтическое представление о независимом предпринимателе, способном без активной помощи государства создать развитую экономику, на основе вольной интерпретации раннего этапа развития капитализма в США в уникальных условиях американского континента.

4. Позитивное отношение к идеалам социализма во многих странах мира, в том числе и капиталистических, связано с их созвучием представлениям о равенстве, братстве, счастье людей. Соединение идеалов мировой религии с социализмом закреплено в многочисленных доктринах «христианского», «исламского» и других «социализмов». Проповедь откровенного индивидуализма, антиколлективизма, примата корыстных помыслов глубоко чужда моральным установкам в любой народной традиции.

По этой же причине идеи социализма находили отклик и в народной традиции России. Каковы бы ни были субъективные намерения пропагандистов социализма или основателей социалистического общества в их взгляде на подчиненное место России задачам мировой революции, практика строительства нового общества неизбежно требовала опоры на народный уклад. Это проявлялось и на ранней стадии развития социалистической мысли в России, когда многие революционеры исходили из необходимости опираться на общинный уклад. При всех известных пороках коллективизации устойчивость колхозов в нынешнее смутное время может быть объяснена отчасти и традицией общинного труда в русском крестьянстве.

Реальный социализм неизбежно отрывался от теоретических схем, чуждых российской реальности. Характерно, что любые

действия в политике руководства, которые свидетельствовали о нежелании ставить Советскую Россию в полное подчинение задачам мировой революции, вызывали обвинения в «национализме» или в «уступках мужику». Так, выступая против заключения Брестского мира, Л. Б. Рязанов в своей речи на VII съезде РКП(б) обвинял Ленина в намерении «устроить Россию... по-мужицки, по-солдатски». В поражении «ленинградской оппозиции» на XIV съезде ВКП(б) Л. Д. Троцкий увидел победу «национально-крестьянского уклона», «мужицкого термидора». В теории социализма в одной стране Троцкий, Зиновьев и их сторонники видели уступку «крестьянской стихии» и «национализму».

В этих обвинениях было много преувеличенного. В то же время очевидно, что лозунг построения социализма в одной стране, особенно в его противостоянии курсу на приоритет мировой революции, соединялся в сознании многих людей 20—30-х годов с желанием мирной и справедливой жизни в нашей стране. Этот лозунг отвечал и патриотическим настроениям тех, кто выступал за экономическую и политическую независимость Советской страны.

Реальная жизнь отбрасывала многое из первоначального схематизма основателей революционного строя, в том числе планы переустройства семьи и быта, создания «пролетарской культуры», экспериментов в образовании. Жизнь требовала восстановления народных традиций, сочетавших коллективизм в труде с заботой о семейном укладе, бережного отношения к культурному достоянию страны, уважения к ее духовным ценностям. Жизнь привела к тому, что государственные интересы страны, а не химерические планы мировой революции все в большей степени определяли действия Советского правительства и по укреплению Союза, и по его защите от внешней угрозы. Справедливо критикуя разрушительные последствия революционного схематизма, не следует забывать о том, что реальный социализм в СССР давно соединился с народной традицией, и альтернативой ему может быть не расцвет национальной культуры, а импортированный образ жизни, глубоко чуждый духовным основам нашей страны.

МИХАИЛ АНТОНОВ,

председатель Союза духовного возрождения Отечества

1. Лично я поздно пришел к убеждению в том, что вера моих предков — православное христианство — это единственно правильное миро- и жизнепонимание. И мне казалось, что большую часть жизни я, прошедший обычный для многих моих соотечественников путь (октябренок — пионер — комсомолец — коммунист), прожил напрасно. Но один мудрый человек разъяснил мне, что в этом — одно из моих преимуществ перед теми, кто всегда был «чистым», «не запятнал себя» марксизмом (тем более что я еще и был в 1968 году репрессирован за выступления против Маркса и в защиту православия). Преимущество это заключалось в том, что я мог равно понимать и верующего русского человека, и убежденного соотечественника-коммуниста. И социализм я вижу, так сказать, стереоскопически, как бы обоими глазами сразу.

С точки зрения православного человека, социализм (и коммунизм) — это утопия, попытка, как говорил Достоевский, устроиться окончательно на земле, построить земной рай, но в безрелигиозном обществе вообще, а в нашем — особенно, идея социализма как общества социальной справедливости неискоренима, а в скором времени, когда «рыночная экономика» покажет свое истинное лицо, она обретет еще миллионы новых сторонников. Социализм в этих условиях становится не просто теоретической схемой или идеологией, а своего рода заменой религии для безрелигиозного общества, под которую складываются и отвечающие ей политический строй и система хозяйства. С точки зрения чистой логики, православие и социализм несоединимы, но жизнь народа, История развивается не по законам логики, а по своим собственным законам. Эти две идеологии и системы (я говорю о православии, но это же относится и к другим традиционным для России вероисповеданиям) совместились в жизни нашей страны не логически, а исторически, и должны сосуществовать еще долгое время; попытки насильственного искоренения «религиозных пережитков» со стороны атеистического государства ныне привели бы страну к катастрофе.

Обсуждая вопрос о сущности социализма, так сказать «в чистом виде», мы часто забываем добавить, что социализм в СССР — это особая хозяйственно-политическая система, превратившая страну в колонию Запада, в источник сырьевых и энергетических ресурсов и в рынок сбыта для транснациональных корпораций. Без восстановления экономической независимости страны нам не удастся преодолеть нищету народа, какие бы решительные преобразования мы во внутренней жизни Отечества ни проводили. Между тем ни правительство (я так называю все высшие властные структуры СССР и РСФСР), ни так называемая демократическая (да и патриотическая) оппозиция этой задачи как бы не замечают. Думаю, что отношение партий, движений и политических лидеров к этой стороне советского социализма может слу-

жить критерием для практической проверки искренности их стремления служить благу России.

2. Пока создается впечатление, что инициаторы и «прорабы» перестройки стремятся осуществить ее в интересах богатого слоя советского общества, переложив все связанные с нею тяготы на плечи основной толщи народа. Показательно, что как правительство, так и демократическая оппозиция, при всей кажущейся остроте противоречий между ними, единодушны в своем намерении привлечь в СССР иностранный капитал и создать здесь наиболее благоприятные условия для его функционирования. Не менее показательно и то, что по прошествии многих месяцев после создания охватывающей всю страну сети временных комитетов по борьбе с организованной преступностью мы так и не слышим ровным счетом ничего об итогах их деятельности. Между тем известно, что львиная доля производимых в стране продовольственных и промышленных товаров массового потребления в торговую сеть вообще не поступает, а попадает в лапы спекулянтов, наживающихся на народной нужде. При продолжении такой политики подавляющее большинство населения страны в скором времени впадет в подлинное обнищание. Однако есть возможность направить стихийные порывы трудящихся масс, отстаивающих социальную справедливость, в единое русло и заставить «малый народ» (не в этническом, а в социальном смысле, как это разъясняет И. Р. Шафаревич) на деле повернуться лицом к интересам «большого народа». Главное условие успеха заключается здесь в наличии положительной программы спасения и возрождения страны. Наш Союз духовного возрождения Отечества готов предложить такую программу.

3. На сегодня (на день заполнения анкеты) кризиса в стране еще нет, а есть искусственно созданные (разными силами и по разным причинам) трудности. Выйти из нынешнего трудного положения можно в сравнительно короткий срок (полтора — два года), но для этого надо осуществить переориентацию политики страны, поставив в центр не внешнеполитические, а внутриполитические проблемы. Подъем хозяйства в Рязанской или Вологодской области ныне для нас важнее судеб режимов на Кубе и в Эфиопии. Главное — сделать несколько пусть и небольших, но реальных шагов, которые народ в массе своей, сердцем своим воспринял бы как шаги в его подлинных интересах, и это пробудит тот духовный подъем, без которого ныне невозможно добиться подъема экономического. Как ни парадоксальным может это многим показаться, примером в этом отношении может служить деятельность правительства СССР в годы Великой Отечественной войны, когда оно осуществило поворот от идеологии безнационального интернационализма к идеологии национально-патриотической. Ныне в СССР имеют будущее только те партии, движения и политические лидеры, которые будут осознанно и твердо опираться на национально-патриотические силы. Равнение на опыт других стран, которые в свое время выходили из трудностей, опираясь на опыт реального социализма, на мой взгляд, в современных условиях вряд ли приведет к успеху, ибо у нас сложилось совершенно неповторимое внутриполитическое положение.

4. Наш народ (в первую очередь русский народ) — это народ-государственник. Он строил великую державу на протяжении более тысячи лет и принес на алтарь Отечества неисчислимые жертвы. Как бы ни менялись условия существования народа, его характер,— психический склад и сверхидея, постигаемая не умом, а душой, остаются. Поэтому в нашей стране не имеют никакого будущего планы установления демократии западного типа, правового государства в западном понимании и другие абстрактные построения, которыми заняты съезды народных депутатов и Верховные Советы СССР и РСФСР. Если угодно, можно понимать это и так, что русский народ привержен социалистическому выбору, но не безнационально-интернациональному социализму, а народно-социалистическому строю, опирающемуся на православное понимание братства, традиции общинной жизни, устремленность к величию Родины и ощущение личной к этому пристрастности каждого. У народа-государственника и государственный строй будет, вероятно, сохранять в том или ином виде облик командно-административной системы, при правильном ее понимании сочетающейся с широким общинным самоуправлением. Но сытое благополучие и погруженность в делание денег нашему народу не грозят ни в наши дни, ни в обозримом будущем. Думается, что всех тех, кто строит свои расчеты на идее постепенного преобразования России на западный лад, ждет горькое разочарование.

Дискуссионная трибуна

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ

СОЮЗ РАВНЫХ НАРОДОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В СССР

Еще недавно — во всяком случае на памяти старшего поколения перед войной — мы едва ли не все жили идеалами космополитической утопии: вот-вот все народы мира сольются в одно неразличимое целое, для коего и язык был заранее придуман — эсперанто, и группы эсперантистов старательно множились чуть ли не во всех европейских странах, а у нас особенно (и конгрессы собирали, и переписывались на выдуманном языке, и ничегошеньки не видели из того, что реально происходило в мире). Ну, а руководители наши, руководители первого в мире государства трудящихся,— так те и в послевоенные десятилетия стояли на тех же не то дурашливых, не то наивных, не то подлых позициях: всех перемешать, переселить, переженить, и будет «новая советская общность» (цитирую Брежнева), и восторженный Маяковский писал о том же: «Жить единым человечьим общежитием!»

Любопытно, как бы он — доживи — декламировал это сейчас. В той же Латвии?

У нас в Новгороде бывший «первый» Антонов, славный тем, что построил завод «Азот», от коего городу пришла ныне сущая погибель, воздвиг истинно марсианский драмтеатр, а ныне, на пенсии будучи, первый пришел за немецкой посылкой по линии «гуманитарной помощи». Так вот. Антонов специально совхоз «Ташкентский» соорудил близ Ильменя, куда навезли узбеков, и с умилением рассказывал о смешанных узбеко-русских семьях, видя в них, по всей вероятности, искомое осуществление коммунистической утопии. И все мы радовались, и всюду протягивали руку помощи — даже и туда, где об этом вовсе не просили. Выкормили Гитлера, Мао Цзедуна, Саддама Хусейна и массу подобных им «демократических» деятелей, и — продолжали ничего не видеть и ничего не понимать.

А между тем всюду в мире происходил один-единственный, одновекторный, так сказать, процесс, а именно процесс выделения наций (скажем по-ученому — этносов) в самостоятельные государственные организмы.

Африка, которая перед войной была континентом колоний, стала за эти полвека континентом независимых национальных государств, и все возмущения, происходящие там, имеют опять же один и тот же характер — нарезанные грубым колониальным ножом территории выясняют свои подлинные (соответствующие племенным и историческим) границы, находят удобную форму социального существования или выясняют старые, еще доколониальные обиды и споры.

Освободилась Индия. Стал независимым Индокитай. Из праха, из небытия возникла огромная страна — Индонезия. Бурлит центральная и южная Америка, и тоже проблема одна — национальная, государственная и экономическая независимость от иноземного капитала, от тех же Штатов. Вот что волнует и поднимает на борьбу людей. Все проблемы социального, классового характера подчинены основной — национальной.

В старушке Европе, где, казалось бы, все давно делено-переделено, идет и продолжается тот же процесс. Норвегия отделяется от Швеции, Исландия от Дании, возникает Финляндия, получает независимость Ирландия, и не надо быть пророком, чтобы предсказать, что и Белфаст не успокоится, пока не добьется независимости от Англии. На пороге нового времени объединилась Италия. После первой мировой войны Австро-Венгерская монархия

БАЛАШОВ Дмитрий Михайлович родился в 1927 году. Окончил Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского и аспирантуру при Институте русской литературы АН СССР. Кандидат филологических наук. Автор повести «Господин Великий Новгород», романа «Марфа-посадница» и цикла книг «Государи московские», а также ряда научных работ в области русского фольклора. Живет в Новгороде.

развалилась на национальные организмы. В Бельгии ссорятся валлоны и валлийцы. Франкоязычный Квебек грозит отделением от англоязычной Канады. В Югославии нынче перессорились все. Ежели добавить к тому, что за истекшие два, даже с половиной столетия ни одно из мелких и мельчайших государств (Люксембург, Андорра, Монако и проч.) не было поглощено или завоевано, легко увидеть, что перед нами не хаотический процесс какого-то броунова движения народных масс, а, повторяю, процесс целенаправленный, одновекторный, идущий в одну-единственную сторону — национального высвобождения.

Тем наивнее и глупее выглядят на этом фоне наши упорные космополитические амбиции. Надо быть воистину слепым, чтобы не видеть происходящего в мире.

Ну что ж! — скажет читатель определенного направления, читатель-«демократ» (не совсем, впрочем, понимаю, в чем заключается «демократизм» господ Ландсбергиса или Гамсахурдиа). Что ж! Пришел черед и России, пришел черед развалиться этой тюрьме народов, этой русской колониальной империи и проч. и проч.

Спокойнее! Россия никогда не была колониальной империей. В России никогда не было национального угнетения кого бы то ни было. И потом, Россия отнюдь не единственное и не последнее многонациональное государство на Земле. Было таких в истории много — это и Монгольская держава, и Римская империя, и Османская Турция, и монархия Габсбургов. Ныне на Земле можно назвать три сверхкрупных многонациональных государства. Это древняя Индия, которая многонациональна настолько, что вынуждена административное производство до сих пор вершить на английском языке. Внутри этой больной Индии была тысячелетия назад найдена такая форма существования, как кастовая система, позволявшая представителям разных наций и социальных групп иметь свои экономические и хозяйственные ниши, а потому они по крайней мере не очень ссорятся друг с другом. Из этой системы выделились сикхи (вот основа одного из нынешних конфликтов!) и мусульмане, пришедшие сюда как завоеватели (что и разделило страну на собственно Индию и Пакистан).

Второе крупное многонациональное государство — Америка (США). Разных национальных групп там не меньше, чем у нас. Но территория там разделена по географическим регионам (на штаты), а не по национальным, и это в значительной мере снижает остроту возможных национальных конфликтов.

Третья великая многонациональная страна, о распаде которой ныне хлопочут и у нас, и на Западе,— это Россия (я намеренно не говорю СССР). О ней-то и пойдет речь.

Повторяя (и гордясь), что наша страна занимает шестую часть населенной суши, мы, как кажется, постоянно забываем подумать: какой суши? Спросить: а нет ли в самом характере страны, в ее природных факторах каких-либо оснований появления именно такого, расширившегося почти на половину земного круга государственного феномена? Так же, как мы не спрашиваем, отчего это на одной шестой части населенной суши живет до сих пор не миллиард, а менее трехсот миллионов жителей? Нет ли и тут какой-то природной закономерности?

Так вот! При таком подходе к делу обнаруживается, что между нашим государством и государствами Западной Европы есть природная граница (это климатическая разница), которая называется отрицательной изотермой января. Западная Европа — хорошо орошаемая земля, представляющая собой ряд долин, отгороженных горными цепями друг от друга и от полярного холода, омываемая к тому же теплым Гольфстримом. В этих долинах и располагаются в основном европейские государства.

Но на востоке Европы картина резко меняется. Ни одной горной преграды, защищающей от холода (ибо горы Урала и Енисейские хребты вытянуты с севера на юг). Сравнительно (на единицу площади) мало воды. Гольфстрим уже «не работает», и от холода и промерзания почвы спасают только леса и болота. Земледелие здесь возможно в основном пойменное. Поля должны находиться под защитой леса. Отрицательная изотерма января, резко падая с севера к югу, приблизительно по Висле отрезает гигантским языком Восточную Европу от Западной. Здесь, на востоке, все не так. Суровые зимы, затяжная осень и весна, бурные ливневые потоки в момент таяния снегов, короткий вегетационный цикл.

Жить в этих условиях было далеко не просто. Требовалось найти набор подходящих злаков и овощей, приспособиться к долгой зиме и короткому лету, в течение которого надо запасти одного сена на семь месяцев стойлового содержания скота. То есть должен был сложиться определенный национальный характер и определенный тип, чтобы выжить в этих условиях. Потому-то русичи, сумевшие приспособиться к такой географической среде, и распространились затем по ней вплоть до той невидимой границы, за которой начинается уже Западная Европа.

Далее к востоку географические условия становятся еще труднее. Почти вся Сибирь — это тундра и тайга. И ежели в тундре еще можно жить, то в тайге сумели приспособиться одни тунгусы, которых было не более ста тысяч на гигантских просторах Западной и Восточной Сибири.

Естественно, во всей зоне каких-либо достаточно высоких цивилизаций возникнуть попросту не могло. Исторически жизнь развивалась по южному краю тайги, там, где условия для скотоводства и земледелия становились достаточно благоприятными. Заметим, что как раз по южному краю этого сплошного массива лесов, прорезанного великими реками, тянется череда степей, переходящих друг в друга — маньчжурские степи, степи Монголии, Турфан, Джунгарские ворота — «ворота народов»; за ними — равнины Средней Азии, приаральские и прикаспийские, переходящие в южные русские причерноморские степи, а те — в Пештскую (Венгерскую)

равнину. По всей этой цепочке степей, как по морям, соединенным проливами, кочевали степные народы, шел Великий шелковый путь, ибо на концах, на ответвлениях этой дороги, располагались великие цивилизации Китая, Индии, Ирана, Малой Азии, Византии и, наконец, Западной Европы. Было с кем торговать, было что возить купеческим караванам. Путь этот, как бы пронзающий всю Азию, был столь удобен, что все исторические попытки его перерезать, прекратить кончались ничем. Двигались племена, проходили конные орды и как бы протыкали, прочищали эту постоянную тысячелетнюю дорогу народов, в которую с юга вливались плоды труда высокоразвитых цивилизаций, а с севера — те редкости, которые только и могли сохраняться в почти безлюдных таежных просторах — ценные меха, рыбий зуб, моржовые клыки, мамонтовая кость и проч.

На рубеже III и II тысячелетий до н. э. по всему этому степному простору, от центральной Монголии и до современной Эстонии, распространился народ арийской (ирано-арийской) группы, т. е. наши прямые старшие родичи — скифы. Скифы объединили в единый союз десятки народов как кочевой, так и земледельческой культуры и впервые наметили, как бы эскизно начертили прообраз позднейшего русского государства.

В этом государственном симбиозе, разумеется, не обходилось без борьбы, споров, задавленных амбиций, однако подчиненные племена «царские скифы» рассматривали как своих младших союзников (народ — войско), а отнюдь не как рабов.

В дальнейшем этот сложный союз народов постоянно возобновлялся, причем первенство иногда переходило к кочевникам (скифы, гунны, монголы), иногда к земледельцам (готское государство Германариха, славянский и киевский каганаты, империя Рюриковичей, наконец московское государство, образованное в 14-м столетии). Борьба тут никогда не велась на уничтожение, только за преобладание. Так, гунны включили славян в свое войско, защищали их от натиска готов. В свою очередь, подчинивши Казань — последний оплот Орды, русское правительство тотчас включило татар в государственный организм Руси на равных (ханы стали князьями, беки — дворянами). Наши дворянские фамилии, например, лишь на треть славянского происхождения, на треть — татарского и на треть — литовского. В каждом случае, в каждом из исторических столкновений дело все-таки заканчивалось симбиозом и слиянием, а не подчинением или уничтожением.

Это исторически слагавшееся равенство народов было в новейшую эпоху закреплено законами Российской империи, по которым за всеми народами страны сохранялось право на свою национальную культуру, выражающееся в уважении к национальным церквам, в единстве законов, защищающих равно всех без изъятий по национальным признакам, в равной оплате за равный труд и в справедливой процентной норме (каждый народ, населяющий Россию, в согласии со своей численностью имел право на такое же количество мест в высших учебных заведениях России, а окончившие высшие учебные заведения становились членами правящих классов страны).

Если прибавить к этому исторически воспитанное в русских полное отсутствие национального чванства или национальной замкнутости (межнациональные браки не были у нас в диковинку никогда — и один уже акт крещения в православие полностью уравнивал русского с любым инородцем, прекращая все дальнейшие возможные, в том числе и семейные, недоразумения), то приходится признать, что тот тип союза разных народов, который был выработан в России, являлся одним из самых удачных, может быть, даже и самым удачным на Земле.

Ну, а территориально наша страна — это, ежели хотите, улус Джучи (отца Батыя, коему Чингисханом были подарены Сибирь и еще не завоеванная Русь), смыкающийся в Азии с улусом потомка Хулагу, а на Кавказе с областью постоянных интересов Персии и Турции.

На Западе же наши границы после многовековой борьбы — это отбитая у поляков территория Киевской Руси и отбитая у тевтонов Прибалтика, народы которой, оказавшись неожиданно между молотом и наковальней, постоянно попадали под власть то западных соседей (шведов, датчан, немцев), то своего восточного соседа — России.

Нельзя не увидеть также, что весь этот огромный регион составляет некое природное единство, за которым тянутся и торговое, и хозяйственное единства, так что можно считать, что промышленно развивающаяся Россия, построив железную дорогу на Дальний Восток, восстановила (несколько сдвинув его на север) древний торговый путь, традиционно соединявший Европу с Дальним Востоком ниточкой караванных дорог.

Оптимальный характер межнациональных отношений, достигнутый в нашей стране, привел к тому, что народы России территориально очень легко перемешивались. Татары, например, живут не только под Казанью, но и по всей Сибири. Треть населения Украины — русские, с другой стороны множество украинцев населяют русские города. То же относится к белорусам, к азиатам, к кавказцам, прибалтам, молдаванам.

Откуда же, спросим себя, теперь возникли национальные конфликты в нашей стране? И ответ будет обезоруживающе прост. Все национальные конфликты в СССР порождены целиком и полностью советской коммунистической властью.

Каким образом? Во-первых, были образованы национальные территории. В стране, где едва ли не все народы живут чересполосно, это значило, что в эти выдуманные территориальные организмы попадут люди разных национальностей. Так, в Казахстане — 18% казахов, в Латвии — половина русских, к Литве были прирезаны белорусские земли, населенные белорусами, на Украине 11 миллионов русских, в России еще больше украинцев. Про татар и говорить нечего: царская власть в каждом новом сибирском городе (города

росли вдоль линии железной дороги) специально строила мечети и заводила духовные мусульманские школы для умножающегося татарского населения. Абхазия и Осетия попали в Грузию, изрядный кусок Армении (горный Карабах) — в Азербайджан. Возвратив после войны отторгнутую от России в 1918 году Бессарабию, сотворили Молдавскую республику, присоединив к ней населенные русскими и украинцами левобережье Днестра. Территория районов Нарва — Кохтла-Ярве, где 80—90 процентов русского населения, была включена в Эстонию [в составе буржуазной Эстонии, образованной в 1918 году, находился к тому же чисто русский древний Печорский район, где русское (псковское) население существовало искони. Район с городом Изборском и Псково-Печорским монастырем — земля, которую наши предки мужественно обороняли от постоянных набегов немецких рыцарей и на которую сейчас нагло претендуют эстонские сепаратисты]. Что — уже сдохла Русь и пришел черед делить ризы ее?

Точно также Финляндия в период войны претендовала на всю территорию Карело-Финской АССР (теперь — Карелия), где русские живут с незапамятных времен и на 70 тысяч карел приходится 1 млн. 100 тысяч русских! Впрочем, преобладающее русское население имеется едва ли не в большинстве автономий, выкормленных из тела России!

По крайней мере треть населения страны живет, таким образом, не на своей территории. И не потому, что действительно так, а потому, что того захотели коммунисты. Не говорю уже о том, что Хрущев незастенчиво отрезает от России Крым и присоединяет его к Украине, что из тела Великой Руси каких только и для кого только не вырезают кусков и доднесь. Один Биробиджан чего стоит — еврейская автономия, населенная русскими.

Но все эти границы, оказавшиеся миной замедленного действия, подложенной под национальное согласие народов нашей страны, были только лишь первым злом.

Вторым оказалось то, что нации, равноправные в пределах России, оказались принципиально законоположно неравноправными в пределах СССР, ибо были разделены на союзные и автономные. Последние должны почему-то во всем уступать и подчиняться первым. Это, кстати, послужило основой резни в Карабахе, Осетии, Абхазии, Молдавии и т. д.

Третье — это переселения целых народов, предпринятые Сталиным, иные из которых были потом возвращены на свою родину, другие — нет.

Сверх того, все 73 года Советской власти методически проводился геноцид коренной русской национальности страны. Были уничтожены дворяне, купцы, военное и духовное сословия, интеллигенция всех мастей, наконец крестьянство! Число убитых, заморенных голодом, погибших на каторгах и в ссылках, приближается к 120 миллионам человек. Подобных потерь Русь не испытала за все предшествующие тысячелетия своей истории, даже ежели собрать всех погибших не только в войнах, но и во всех моровых поветриях, во всех казнях и разорениях за две тысячи лет (ориентировочные цифры имеются, и их можно посчитать).

Иссушение центра, естественно, должно было привести к падению окраин, куда гнали и гнали средства и технику, подчас неизвестно зачем (средства, заметим, в основном оседали в карманах рашидовых). При этом проводилась целенаправленная идеологическая обработка. В школе детям объясняли, что царская Россия была тюрьмой народов, и тут же закрывали мечети, издевались над местами поклонения, могилами, памятью народов мусульманской культуры. Причем все эти действия, которые не знала и не могла себе представить царская Россия, приписывались русским, как нации рабов, обожающих тиранию, а отнюдь не космополитическому коммунистическому режиму, завоевавшему Россию в 1917 году и продолжающему грабить и истреблять ее вот уже 73 года.

И час пробил. Случилось то, что и должно было произойти. Мина, заложенная всеми этими действиями Советской власти, наконец взорвалась. Всем надоело. Все хотят свободы. Стоп! Хотят ли? И кто — все?

Под шелухою большевистского изуверства продолжают существовать природные экологические факторы, когда-то позволившие создать эту страну. Под всею грудой идеологической лжи продолжают оставаться три круга связей, определяющих политическую устойчивость нашей державы. Первый круг — единство народов Великороссии, независимо от религиозной ориентации, связанных единством исторической судьбы, вековыми хозяйственными связями, наконец, психологическим стереотипом, сживаемостью, позволяющей, к примеру, русским и татарам создавать совместные семьи, в которых никогда не бывает конфликтов национального характера (за этой сживаемостью — три тысячелетия исторического опыта!).

Второй круг — единство по вере, по православию, доставшемуся нам в наследство от Византии, по которому народы, принадлежащие к восточной православной Церкви, являются естественными союзниками нашей страны. Опять же: этот круг связей деятельно и упорно разрушался коммунистами.

Третий круг связей — это связь славянских народов Восточной Европы, когда-то проявлявшаяся в плодотворных культурных обменах. Чего стоит, например, одно лишь влияние болгарской культуры на русскую во времена средневековья или помощь русской культуры культуре Чехии, освобождающейся от трехсотлетнего немецкого ига, и т. д. В конце прошлого столетия мы освобождали болгар от турецкого ига и стояли во главе союза славянских государств. В советское время ухитрились оттолкнуть от себя решительно все славянские народы, не исключая даже Болгарию.

В сохранении гигантского симбиоза, который представляла собой царская Россия, все народы, в нее входящие, имели свой интерес (кроме, может быть, пришлых с Запада евреев, для которых Россия была территорией, но не родиной). В самом

деле! Население Азии было избавлено от постоянной резни и смут. Народы Кавказа и Закавказья были спасены от разорительных нашествий Персии и Турции. Армения так и вовсе спасена от полной гибели. Да, впрочем, и христианская Грузия при ином повороте исторической судьбы, завоеванная турками, потеряла бы свое национальное лицо. Прибалтийским народам, включенным в состав России, а не Германии, также представлялись многие национальные выгоды.

Россия гораздо бережнее относилась к национальному своеобразию и национальным интересам малых по численности народов, чем Германия, полностью ассимилировавшая тех же пруссов или сорбов, как и поморских славян.

Разумеется, в текучем и вечно меняющемся мире ничто не стоит на месте. Когда-то окончилась Римская империя, распалась и была завоевана Византия! Все это так!

Однако даже ученые, глубоко изучившие вопрос этнических изменений (тот же Л. Н. Гумилев), утверждают, что Московская Русь, созданная в XIV веке, стадиально отнюдь еще не созрела для умирания. Что настоящий момент характеризуется преходящим состоянием надлома, после которого может наступить «золотая осень» — три-четыре столетия спокойной и благополучной жизни в имеющихся исторических границах, ежели мы сейчас, именно в эти вот не десятилетия, а годы, сумеем остановить раскрутившийся маховик национального самоуничтожения и распада страны.

Меж тем то, что происходит сейчас, наводит на самые горькие размышления. Разумеется, никого насильно держать в составе России нельзя. Раздел Польши при Екатерине был явной исторической ошибкой, позднее исправленной. Католическое государство, всею культурой связанное с западноевропейским миром, не годилось в партнеры православной России, хотя сами по себе поляки перемешиваются с русскими очень хорошо — сказывается близость крови. Финляндии не было бы, ежели бы ее не отвоевали у Швеции русские. Уже в составе русского государства стало возможным финское национальное движение, которому Россия, по существу, помогала, признав и сейм, и таможенную границу, признав и националистическое финское движение. Было ли благодетельным отъединение Финляндии от России? Несомненно. Трудно представить себе, во что бы превратили землю Суоми наши лесхозы.

Возможно ли такое же отделение Эстонии, Латвии и Литвы? И да, и нет. Вопрос национального размежевания для Эстонии и Латвии почти неразрешим. Литва обязана во всяком случае поступиться теми районами, которые были щедро «прирезаны» к ней из белорусских земель (с белорусским же населением!). После революции, когда в Германии был голод, продукты Прибалтики, имеющие высокую себестоимость, находили устойчивый сбыт на европейском рынке. Сейчас европейское сообщество само не ведает, куда девать избыток продуктов питания. Прибалтам к тому же придется покупать нефть за границей и платить валютой по ценам международного рынка, будут нарушены все хозяйственные связи с Россией, и скоро окажется, что самостоятельно существовать эти республики не могут, а потому... а потому на их территории возникнут американские военные базы. Проиграем и мы, и прибалты. А кто выиграет?

Отец Ландсбергиса, помнится, уже продавал Литву немцам. Не ту же ли операцию жаждет совершить сын?

Да, конечно, коммунистическая бюрократия надоела всем. Страна уже накануне революции. Но, как мы знаем по печальному опыту 1917 года, определенная партийная организация вполне в силах, применяя демагогические лозунги, овладеть положением и, опираясь на возмущение народных масс, захватить власть, чтобы в дальнейшем с этими же массами и расправиться.

Необходимое отступление. Мы построили коммунизм еще в 30-х годах и уже более полувека живем в коммунистическом обществе. Напомню, это общество, где есть рядовые исполнители, работающие бесплатно и бесплатно (по необходимому для сохранения жизни минимуму) получающие товары и продукты. Над ними находится совет вождей, или старейшины. Есть силы принуждения, заставляющие работать, есть тюрьма, смертная казнь, обращение в рабство. Живут все в городе, в одинаковых, лишенных украшений домах, носят одинаковую одежду-униформу. Браки заключаются по приказу, совету старейшины или (у Кампанеллы) браков вообще нет, а есть случка — опять же по приказу совета старейшин, в согласии с генетическими потребностями (чтобы выводилась хорошая порода — как с племенным скотом). Деревни нет — поля засеваются и убираются бригадами, присланными из города. Искусства нет, есть только наглядная агитация. Не предусмотрено никакое решительное изменение общеизвестных структур. Зафиксировано даже количество людей, раз и навсегда заданное.

В этом обществе есть рабы, но нет нищих, нет неустроенных людей, нет зависти, ибо нет собственности. Старейшины, снабжаемые значительно лучше рядовых коммунистов, опять же получают обеспечение из общественных складов.

Когда Ленин предлагал после победы коммунизма сделать в крупных городах общественные туалеты из золота, дабы надругаться над этим благородным металлом, он только лишь повторял Томаса Мора, у которого его утописты ходят в одежде из некрашенной ткани, а из золота делают ночные горшки...

Нетрудно увидеть, что мы повторили все, до запятой, не сумев лишь до конца уничтожить семью. Природные устремления людей оказались тут труднопреодолимы. Хотя и поставили памятник Павлику Морозову, хотя и насаждаем в обществе сексуальную разнузданность, неуважение к родителям и вообще к старшим, т. е. пытаемся и тут осуществить коммунистический идеал. Ну, а наши «Черемушки», наша коробочная архитектура, наши посылки на сельхозработы являются дослов-

ным, так сказать, воплощением коммунистической утопии.

Не нужно объяснять также, что наша зарплата — это меньше всего плата за труд. Она является выражением того самого распределительного принципа, и не следует обижаться на то, что вожди получают больше других — так было задумано. И лагеря — способ внеэкономического принуждения — были задуманы тоже!

Замечу тут: коммунистическая система была бы самой устойчивой на земле, ежели бы не одно-единственное обстоятельство. Этот строй, неизбежно поощряющий потребительство и всяческое тунеядство, ибо любой человек, не получающий платы, адекватной его усилиям, рано или поздно перестает хорошо трудиться и начинает ловчить, решительно не способен себя прокормить. Пока он паразитирует на еще живом организме, он может имитировать некоторое внешнее благополучие. Но вот уничтожена мыслящая сила страны и тем подрезаны возможности экономического роста. Но вот уничтожена, разорена, высосана деревня, и потребовалось покупать продовольствие за рубежом. Вот и возможность продажи сырья, т. е. дешевой распродажи природных богатств страны, которых на горе себе и нам наши предки оставили безмерное количество, подходит к концу. И осталось для продолжения существования этого строя начинать распродажу самой страны по кускам, начиная с окраин, к чему мы, кажется, уже и приступаем, раз речь зашла о Курильских островах.

Партия, приходящая к власти, перестает быть партией. Коммунистическая элита «номенклатуры», образовавшая новый эксплуататорский класс, по-прежнему хлопочет о «принципах и идеалах коммунизма», т. е. о возможности бесконтрольного грабежа и распродажи России. Масса же тех, кому приходится работать на производстве, выполнять невыполняемые планы, бороться за урожай и т. п.,— уже начинают видеть всю ненормальность происходящего. Многие из них теперь в передовых рядах борцов с этой системою. Поэтому, говоря «коммунизм», «большевизм», «коммунистическая диктатура», всегда надобно понимать отнюдь не всевластие всех восемнадцати миллионов, в значительной мере обманутых людей, составляющих партию, а только лишь паразитирующую верхушку, номенклатуру, правительственный аппарат, без ликвидации которой никакие реформы в нашей стране, как выясняется, решительно невозможны.

Вернемся, однако, к современному состоянию страны, к распаду нашей державы, распаду, уже грозно и ясно обозначенному событиями в Прибалтике, Молдавии и на Кавказе. Западные экономисты уже подсчитали, что экономически выжить самостоятельно способны только четыре наши республики — Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан.

Вопрос: какая участь уготована тем же прибалтам, или Молдавии, или республикам Кавказа? Чьими рабами будут они после того, как отделятся от России?

Я почти уверен, что нынешние сепаратисты работают отнюдь не на свои народы, а на какого-то третьего «дядю», которому очень нужно, чтобы Россия оставалась колониальной страной, поставляющей сырье развитым странам, и свалкой радиоактивных и химических отходов.

И тут надобно очень и очень приглядеться к тому, что происходило и происходит в нашей стране за время пресловутой перестройки. Прибалтийские республики первоначально отнюдь не собирались отделяться от СССР. Они просили право на хозяйственные реформы, указывали, что их опыт может помочь другим, и т. д. Нормальное царское правительство не затруднилось бы наверняка эти права им предоставить. Но наше — уперлось намертво! Нельзя! И в урезанном виде все равно нельзя. И только тогда встал вопрос об отделении от СССР, и это, как ни странно, сразу оказалось можно. Будто того и ждали! Причем во всех трех республиках поощряются крайние националистические профашистские группировки. В той же Литве и Латвии совершенно открыто действуют американские разведчики, посланные ЦРУ — и... никого из наших правителей это не колышет!

В Молдавии кровь пролилась тогда, когда Горбачев назвал русское население левобережья Днестра (повторю, никогда не входившее даже в границы довоенной Румынии) сепаратистами. С этой точки зрения и я сепаратист, ибо тоже русский, и тоже живу по сию сторону Днестра. И — не пора ли нашей верховной власти дать отчет народу о своих действиях?!

Шесть лет идет непрестанное издевательство над армянами Карабаха и вообще над Арменией, начиная от позорного армянского погрома в Сумгаите, устроенного Советской властью (погромщикам были заранее выданы списки и адреса армян, милиция разоружена, а партийные власти накануне резни покинули город), так же, как и погромы в Баку. Причем о том, что резня распространилась и на местное русское население, мы знаем только от очевидцев. Все печатные органы позорно молчали и молчат о том геноциде, которому едва ли не всюду подвергаются россияне! Карабах в составе Азербайджана оказался в результате междоусобной войны в начале 20-х годов. Было решение ЦК вернуть Карабах Армении, но не исполненное по воле Сталина. Хотя ужиться христианам-армянам с мусульманами Азербайджана в одном социальном организме довольно трудно. Геноцид армян был налицо. И предложены были два возможных исхода этого конфликта — это вернуть Карабах Армении или взять под юрисдикцию центрального правительства. Жителей Карабаха устраивали оба решения. Вместо того началось упорное стремление поставить все с ног на голову, объявить армян агрессивной стороной, даже демаркационная линия была проведена по территории Армении, но не Азербайджана.

И сейчас правительственные военные формирования фактически осуществляют антиармянский геноцид в Карабахе. И только потому, что Армения всем обязана России, что это — христианская страна, сдерживавшая многовековую агрессию мусуль-

манского Востока (той же Османской Турции), и уже по тому одному постоянный союзник России. Не странно ли, что усилия центрального правительства страны опять, как магнитная стрелка, обращаемая к северу, направлена и тут вопреки вековым интересам России и даже вопреки естественному понятию справедливости?

Включив и с помощью союзов, и с помощью завоеваний в состав нашей державы целый ряд народов, мы обязаны, подчеркиваю: обязаны! — заботиться о них. Эта забота в царской России существовала всегда (в частности, помимо процентной нормы, для тех же армян был открыт Лазаревский институт в Москве и т. д.).

Быть в составе великой страны, ежели исключено национальное угнетение (геноцид), для маленького народа небезвыгодно. Это и возможность прикосновения к большой культуре, возможность поехать учиться в ту же Москву, это и возможность пользоваться широким общесоюзным рынком и т. д.

Но, повторяю, на нас, на русских, лежит ответственность. Раз народ согласился быть в составе России, он именно на это и рассчитывает. Что же мы творим на деле?

Абхазцы, осетины в свое время вошли в состав России. Мы же их «уступаем» современной Грузии, желающей отделиться от нас. Уже своими погромами в Осетии, убийствами, уничтожением сел грузины ясно доказали, что хозяевами Осетии они быть не могут. Осетины почти полностью (95—97%) проголосовали за включение Осетии в состав России (на правах автономии). Что же делаем мы (наше центральное правительство и лично М. Горбачев, имеющий в отличие от Б. Ельцина и президентские права, и армию)? Спокойно глядим на бесчинства грузинских боевиков в Южной Осетии, не вмешиваясь, хотя давно пора бы нашим войскам закрыть границу и прекратить это безобразие. Более того, отделившаяся Грузия безбедно продолжает получать от нас нефть, газ, электроэнергию за те же рубли. Возникает законный вопрос: почему центральное правительство Союза изо всех сил поощряет сепаратизм и фашистские завоевательные устремления крайних экстремистских групп; т. е. почему оно стремится к намеренному, целенаправленному развалу нашего государства? (Далеко не уверен, например, что все грузины, помимо господина Гамсахурдиа, так уж хотели бы торговать с нами на доллары по ценам мирового рынка! Я, во всяком случае, вздохнул бы с облегчением, ежели бы меня заставили вместо плохого грузинского пить хороший краснодарский или индийский чай и не умер бы от горя, получив взамен грузинских вин, коих все равно нет, венгерские, например.)

Хочешь не хочешь, но приходится сделать однозначное заключение: центральный правительственный аппарат Советского Союза деятельно разваливает страну.

Обратимся к экономике. В самом деле, кто мешал уже шесть лет назад вернуть землю труженику, стимулировать свободный рост производительности труда, естественно, сопровождаемый ростом зарплаты (при современном росте цен труженик не получает ничего, а потому работать и не хочет!)? Кто мешал единым росчерком пера погасить безобразия в нашей торговле и хранении продуктов? Не секрет, что 70—80% тех же овощей сгнивает на наших складах лишь потому, что зато удается 7—8% украсть. Давайте эти 8% по закону, а всю массу овощей пусть директор склада купит, и та же картошка волшебно перестанет гнить. Просто? Но тогда завскладом перестанет давать взятки партийной номенклатуре. Так пусть пропадает страна, но зато — дачка в Северной Италии, счетец в швейцарском банке. Дешево продаете Россию, господа! Бездарно дешево!

Страна, вывозящая необработанное сырье, разоряется сразу в двух направлениях: беднеет полезными ископаемыми и беднеет квалификацией граждан. С тех пор, как мы оголтело гоним за границу круглый лес, на Руси почти исчезли дельные плотники, не добыть столяра, творцы роскошной дворянской мебели XIX века поминаются только в сказках. Изнасиловав Азию монокультурой хлопка, мы бездарно, за гроши гоним этот никому не нужный хлопок за рубеж. И продолжаем городить ненужные плотины (одна погубленная волжская рыба в тысячу раз дороже тех якобы выгод, которые дает это тупое строительство, единый смысл коего — залить Русь водой, погубив разом и Север, и Юг страны, где закисают черноземы и засаливаются почвы в низовьях Волги и в Азии). Мы продолжаем сооружать атомные станции (хотя после Чернобыля их надо было немедленно уничтожить все), распространяя сказки, что нам якобы нужна энергия. Нам или нашим трупам? Когда на плохих трансформаторных передачах пропадает 35% энергии, а все АЭС и ГЭС в совокупности дают ее 25%. И нужна?! Да хватит дурака валять, господа хорошие!

И непрестанное промышленное строительство, разнесчастная Марксова группа «А», уже разорившая страну, и мелиорация и химия. Мой Новгород, например, отравлен настолько, что у наших детей внуков уже не будет. И — ничего! И зубами держать будут, а не закроют завод «Азот», отравляющий город и половину области в придачу.

Сколько усилий затрачено властями, чтобы обесценить рубль, довести страну до инфляции! Сколько искусственных, провокационных мер было принято для этого! Хотя, по сравнению с реальными ценами на продукты, рубль и посейчас (во всяком случае, до последнего повышения цен) мало уступал доллару. А соотношения 1 доллар : 18 рублей — этого надо было воистину добиться.

Почему вместо раздачи земли во владение была измыслена правительством Горбачева загадочная аренда, оставляющая крестьянина рабом соседнего колхоза или совхоза? Почему всякое дельное кооперативное предприятие в нашей стране, которое что-то производит, тотчас грабится, а спекулянты и мафиози благоденствуют?

Нужна реформа армии. Нелепо в мирное время держать 4—5 миллионов под

ружьем. Сокращать ее надо по крайней мере вчетверо. Но за счет чего? За счет стройбатов, необязательных пехотных формирований, поставив в центр офицерский и сержантский корпус, технические войска и пр. Почему-то все делается прямо наоборот. Армия ослабляется, но не делается ни меньше, ни дешевле. И тут закрадывается сомнение: да не нарочно ли все это происходит? Да не готовят ли из нас потихоньку второй Ирак?

Вопросов масса: почему, почему и почему?.. Выбор — единственный. И он горек. Правительство Горбачева не только не стремится вывести страну из кризиса, но в угоду партократии и международным капиталистическим фирмам загоняет ее все дальше и дальше в катастрофу. Выясняется, например, что и средства от продажи всего на свете за границу не идут в дело. Валюта оседает в западных банках — не ясно, на чьих счетах.

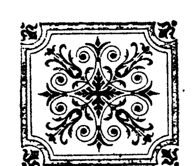
Рискуя оказаться на месте Артема Тарасова, я все-таки хочу коснуться курильской эпопеи (впрочем, не удивлюсь, ежели Курилы будут переданы Японии еще до того, как эта статья выйдет в свет). Сообщения газет диковинны. В наличии, оказывается, план продажи за гроши Курил с последующим разрешением японцам влезть в нашу экономику. Воистину: даже продажа Аляски была умнее!

Между тем, получив Курилы, Япония — давайте уж усилимся и представим себе возможное будущее! — во-первых, прекращает доступ в Охотское море красной рыбе; во-вторых, прекращает выход наших кораблей из Охотского моря в океан, т. е. на корню убивает всю нашу дальневосточную торговлю. Неотвратимо встает вопрос о передаче той же Японии Сахалина, Камчатки, Чукотки и всего Дальнего Востока. Япония на этом мало выиграет, ибо ей придется создавать сильную армию, следовательно, сокращать жизненный уровень населения и урезывать демократические права граждан, т. е. превращаться в военно-полицейское государство.

Вслед за тем или наряду с тем Китай, также вооружаясь и милитаризируясь, захватывает Монголию и всю Сибирь. Возможно, вторгается в Среднюю Азию. Турция оккупирует Кавказ. Германия (и тоже — пушки вместо масла, очереди, цикорное кофе, карточки и Гельмут Коль за решеткою) идет в новый крестовый «дранг нах остен», захватывая Пруссию, Прибалтику, по дороге Чехословакию и Польшу. Кольский полуостров партократия в стремлении оттянуть смертельный конец кому-нибудь продаст. Отпадает Украина с Белоруссией. Россия съеживается до размеров государства Ивана III в конце XV — начале XVI веков. Но увы! При Иване не было ни химии, ни атомных станций, ни партаппарата. А в этой урезанной России все это останется. И сей кусок Земли станет свалкою химических радиоактивных и прочих отходов. И «хозяева» этого куска будут мыслить дальше — что бы еще и кого бы еще продать на валюту, чтобы, наворовав, в свою очередь драпануть в ту же Швейцарию.

Ну, а над телом поверженной России начнется битва вооруженных гигантов, сопровождаемая такими разрушениями и такими катастрофами, что неясной станет и судьба всего остального мира.

Все это будет, все это ожидает нас, ежели, повторю, мы дадим событиям течь своим чередом и ежели народ немедленно не вмешается, не укрепит финансы, не вернет труженику собственность, ибо без собственности нет гражданина, и не изберет действительно народное патриотическое правительство, способное и — главное — желающее вытянуть страну из затянувшегося кризиса.



Летопись России: история в лицах

Продолжая новую рубрику, предлагаем вашему вниманию очерк Льва Николаевича Гумилева, посвященный личности одного из выдающихся князей Киевской Руси — Святослава Игоревича. Л. Н. Гумилев широко известен своими трудами по истории народов нашего Отечества. Все работы этого автора отмечает своеобразный, панорамный взгляд на историю России. И это не удивительно, ведь Лев Николаевич Гумилев — автор уникальной теории пассионарности, трактующей о причинах возникновения и исчезновения народов. Публикуемый ниже очерк подготовлен Л. Н. Гумилевым на основе материалов его книг «Этногенез и биосфера Земли», «Древняя Русь и Великая степь», а также авторского диалога с А. Н. Панченко «Чтобы свеча не погасла».

ЛЕВ ГУМИЛЕВ

Князь Святослав Игоревич

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Сегодня день нашего Отечества явил небывалый всплеск интереса самых разных людей к истории. Однако вполне естественный интерес читателей к истории своего народа часто ведет и по дороге искреннего заблуждения. Желая понять свою историю, люди подсознательно переносят на исторический процесс закономерности, свойственные жизни индивида. Зачастую начинается поиск прародины прародителей по принципу: чем древнее и экзотичнее, тем лучше. Но, увы, историческая жизнь народов неизмеримо сложнее, а значит, ярче и красочнее, чем представляется любителям древности, далеким от проблем науки. Ведь все ныне живущие народы произошли от питекантропов, так можно ли среди последних найти предков или казахов, или французов, или любого другого из ныне живущих этносов? Наверняка нет. А значит, и сама постановка проблемы — отыскание прямых предков этноса задолго до момента его сложения и появления на арене истории — бесплодна. Поскольку подобный подход не только не исчезает, а, напротив, распространяется все шире и шире, обсуждение вопроса об отношении к предкам, своим и чужим, сегодня вряд ли бесполезно. Стимулирует к разговору и еще одно обстоятельство. История, наука о событиях в их связи и последовательности, несмотря на несомненные успехи, своих возможностей не исчерпала. Отметим, что бóльшая часть исторических трудов за последние два века была посвящена развитию социальных институтов, но социальная история — это далеко не единственная история человечества. Ведь само человечество мозаично, люди и организмы живут в коллективах, возникающих и исчезающих в историческом времени. Эти коллективы — **этносы**, а процесс от их возникновения до распада — **этногенез.** У всякого этноса есть начало и конец, как есть рождение и смерть и в жизни человека. Этнос рождается, мужает, стареет и умирает. Так этногенез порождает свою, этническую, историю. Принцип этнической истории прост. Каждый этнос отличает себя от других народов ясным противопоставлением — мы такие, а они совсем другие. Так, например, русские отличают себя от украинцев; точно так же, как украинцы считают себя отличными от русских и белорусов. Так же поступают представители любых этносов, французы и папуасы, немцы и американцы. Что дает почву для такого противопоставления, со-

храняющегося даже при единстве языка и культуры? Вероятно, этносы различаются между собой не социальными установлениями, а своим поведением, образом жизни. Вся совокупность привычек, вкусов, предпочтений — все, что научным языком принято именовать стереотипом поведения, разделяет людей на представителей разных народов. А откуда появляется этнос? Этногенез — процесс биосферный и имеет свои естественные причины. В истории мы иногда наблюдаем эпохи коренных изменений в человеческом поведении, когда старые традиции жизни сменяются новыми. Но ведь для того, чтобы изменить что-то даже на бытовом уровне, необходимо иметь силы. И действительно, моменты создания новых этносов связаны с появлением энергичных, очень активных людей, обладающих органической способностью к жертвенной деятельности ради своей высокой, порой иллюзорной цели. Таких людей автор этих строк предложил называть **пассионариями**, от латинского слова «passio» — «страсть», а их удивительные поведенческие качества — **пассионарностью**. Не касаясь вопроса о природе самой пассионарности, он далек от нашего сюжета, скажем лишь, что пассионарность — явление вполне материальное, ведь человек живет благодаря особой форме энергии — энергии живого вещества, открытой нашим замечательным соотечественником В. И. Вернадским.

Избыток энергии живого вещества у пассионариев порождает их специфическое поведение.

Поскольку признак пассионарности, вместе со многими другими, передается по наследству, то начало любого этногенеза можно представить себе как пассионарный толчок — внезапное появление такого признака среди множества особей, живущих на данной территории. Деятельность пассионариев довольно быстро изменяет стереотип поведения этноса, его образ жизни, он по-новому приспосабливается к родному ландшафту, обретает непривычные формы внутреннего устройства и строит новую систему взаимоотношений с соседями. Группы этносов, возникших в близком ландшафте, всегда тяготеют друг к другу, объединяются в систему высшего порядка—**суперэтнос**. В истории суперэтносы существуют как своеобразные этнические миры, цементируемые общностью культуры или вероисповеданием. Таковы христианский мир в средневековой Западной Европе, мусульманский мир, срединное царство Китай или наше Отечество — Россия.

Но учесть надо и другое. Никто, ни один человек, ни один народ, не живет одиноко. Видимая этническая история — это непрерывные этнические контакты. Контакты этносов всегда проходят по-разному и кончаются с разными результатами. Иногда этносы живут порознь, не соприкасаясь и не конфликтуя друг с другом. Иногда разные народы устанавливают приемлемую систему общения, не претендуя на изменения в образе жизни друг друга и довольствуясь обменом, к взаимному удовольствию. Негативные последствия этнических контактов возникают лишь тогда, когда представители иного этноса, проникая в чуждую им этническую среду, начинают ее деформировать. Не имея возможности вести полноценную жизнь в непривычном для них ландшафте, пришельцы начинают относиться к нему потребительски. Проще говоря — жить за его счет. Устанавливая свою систему взаимоотношений, они принудительно навязывают ее аборигенам и практически превращают их в угнетаемое большинство. К примеру, именно с такой формой контакта — **химерой** — оказалась связана этническая история Хазарии. Маленькому хазарскому этносу, находящемуся в реликтовом состоянии, довелось испытать мощное вторжение еврейских мигрантов, бежавших в Хазарию из Персии и Византии. Кроме того, возникший суперэтнос проходит фазы пассионарного подъема, перегрева и медленного спада за 1200—1500 лет, после чего либо рассыпается, либо сохраняется как реликт состояния, в котором саморазвитие уже неощутимо. И потому к этнической истории идея отсталости или дикости неприменима. В этом легко убедиться на примере. Ведь бессмысленно сравнивать в один момент времени профессора, студента и школьника по любому признаку—количеству волос на голове, физической силе или умению играть в бабки. Но если принять принцип счета по возрасту и сравнить шестилетнего ребенка со студентом и профессором, когда им тоже было по шесть лет, то сопоставление имеет смысл. Так, цивилизованные ныне европейцы стары и потому чванливы. Они гордятся накопленной культурой, как все этносы в старости. А ведь еще тысячу лет назад франки и норманны только начали учиться у византийцев и арабов богословию и мытью в бане, а какими они станут еще через тысячу лет, можно предположить путем сравнения их с эллинами или римлянами, уже исчезнувшими, но оставившими следы своей культуры.

Ознакомившись в той или иной мере с нужными нам терминами этнической истории, мы можем теперь бросить беглый взгляд на расстановку сил вокруг Киевского государства X века.

2. НАКАНУНЕ ПОЯВЛЕНИЯ СВЯТОСЛАВА

Коллизия древней истории Руси во многом определяется тем геополитическим окружением, в котором к середине X века оказалось строящееся Славяно-Русское государство. Было ли это окружение благоприятным для растущей державы? Пожалуй, нет. На западе императоры Саксонской династии осуществляли натиск на славян. Хотя Киевское государство было отделено от германских агрессоров лесными массивами Польши, угроза, пусть и далекая, существовала. О дружбе с императорами не могло быть и речи. В причерноморских степях с начала X века царил народ печенегов. Но уже с 920 года начались войны киевских князей со степняками. В Крыму стояли крепости державы, которой суждено было дать нашей Родине свет Христианства — Византии. Именно это государство, не преследуя непосредственно

военно-политических целей в славяно-русском ареале, могло оказаться надежным другом, но печенежский барьер плотно закрывал южно-русские пути к Черному морю. Был этот барьер практически непреодолим, ибо печенежскую орду поддерживала Хазария — злой гений Древней Руси IX—X веков.

Каганат, получивший в истории наименование Хазарского, представлял собой типичную этническую химеру. Исконное население, хазары, испытывали тяжелую эксплуатацию[1]. Сам Каганат возглавлялся иудейской верхушкой, а военные операции правители Хазарии осуществляли руками мусульманских наемников. Политикой этого государства стала эксплуатация природных богатств Восточной Европы и получение колоссальных прибылей с Великого шелкового пути. Каганату удалось не только обложить Киев данью, но и заставить славяно-руссов совершать походы на Византию, исконного врага иудео-хазар. Очевидно, успехам Хазарии способствовала и внутренняя ситуация в Киевской державе. С конца IX века политическая инициатива в Киеве была перехвачена варяжскими Конунгами; их политика, эгоистическая и недальновидная, противоречила интересам славяно-русской этнической общности, привела к военным поражениям и уплате дани рухлядью (т. е. мехами. — **Л. Г.**) и кровью. Итак, мы видим, что в канун выдвижения Святослава Игоревича перспективы Киевской державы были незавидны. Внутреннего единства государство не обрело (вспомним хотя бы гибель Игоря, убитого за сбором хазарской дани), ценности Руси и жизни ее богатырей высасывал военно-торговый спрут Хазария, а потенциальные друзья византийцы хитросплетениями одних и безрассудством других были превращены во врагов. Чтобы выжить, славяно-руссам нужно было менять не только правителей, но и противников. Наши предки нашли для этого силы и мудрость.

3. ПЕРЕВОРОТ В КИЕВЕ

По аутентичному источнику — летописанию — князь Святослав родился в 942 г. Его официальный отец Игорь в 879 г. был «дѣтескъ вельми», но даже в этом случае в 942 г. ему было более 66 лет, а его жене Ольге — 49—50. Святослав был их первенец, и он действительно был сын Ольги, а что касается Игоря Рюриковича, то это на совести автора аутентичного источника, так же как и возраст Ольги, которая вплоть до кончины в 969 г. вела себя куда более деятельно, чем это может старуха в 76 лет[2].

Интересно, что Ольга с сыном жили не в Киеве, а в Вышгороде, где «кормильцем» Святослава, т. е. учителем, был некто Асмуд, а воеводой его отца — Свенельд.

Свенельд имел на прокорм своей дружины дань с древлян и уличей. Игорева дружина считала, что это для него слишком роскошно. Игорю приходилось платить дань хазарам и кормить свою дружину. В 941 и 943 гг. киевский князь откупался от хазарского царя, участвуя в его походах, но в 944 г. «Игорь, побуждаемый дружиной», идет походом на Деревскую землю (чтобы собрать себе дань, причитающуюся Свенельду и его дружине), но Свенельд не отказывается от данных ему прав — происходит столкновение Игоревой дружины со Свенельдовой и с древлянами — подданными Свенельда; в этом столкновении Игорь убит Мстиславом Лютом, сыном Свенельда»[3].

Версия А. А. Шахматова устраняет одну из нелепостей версии Нестора, согласно которой корыстолюбие Игоря было сопряжено с легкомыслием. В самом деле, как отпустить дружину, оставаясь в разграбленной стране?! Другое дело, если Игорь и его советники были уверены в бессилии древлян и пали жертвой заговора, организованного в Вышгороде. Но и тогда остается неясным, почему киевская дружина не отомстила Мстиславу Лютому за измену и гибель пусть не князя, но своих соратников? И как на это решились в Вышгороде, когда силы Киева превосходили их силу вдвое? И, наконец, почему заговор удался, а месть Мстиславу Лютому свершилась лишь в 975 г., когда его убил Олег Святославич, точнее, его свита?

В обеих версиях чего-то не хватает: по нашему мнению, не учтено влияние хазарского царя Иосифа.

После похода Песаха киевский князь стал вассалом хазарского царя, а следовательно, был уверен в его поддержке. Поэтому он перестал считаться с договорами и условиями, которые он заключил со своими подданными, полагая, что они ценят свои жизни больше своего имущества. Это типично еврейская постановка вопроса, где не учитываются чужие эмоции. Свенельдичем и его дружиной овладела обида: они восприняли лишение их доли дани, без которой вполне можно было обойтись, как оскорбительное пренебрежение, на которое ответили убийством князя. Но так как Игорь и окружавшие его варяги после двух тяжелых поражений были на Руси непопулярны, то заговорщиков поддержали широкие массы древлян, благодаря чему переворот удался, ибо княжеская дружина оказалась в изоляции.

На этом не кончились неясности хронологии: возникли сомнения по поводу даты крещения Ольги и ее поездки в Константинополь. Б. А. Рыбаков отвергает версию «Повести временных лет» (см.: Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. М., 1987, с. 385—391), чем поддерживает мнение В. Н. Татищева, опиравшегося на утерянную Иоакимовскую летопись, и Г. Г.

---

[1] См.: Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений в Восточной Европе. В 2-х томах. Москва, 1962 год, стр. 144.

[2] Нестор погрешил против истины. В 946 г. князь Мал сватается к Ольге, которой 54 года. Нелепость, но это не описание династического брака, а вставная дидактическая новелла. В 955 г. на приеме у Константина Багрянородного она была, согласно Нестору, столь «красива лицом», что базилевс влюбился... в старуху 62 лет? Одно из двух: неверен или возраст Ольги, или все остальное (см.: Гумилев Л. Н. Сказание о хазарской дани).

[3] Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. с 338.

Литаврина, который, пересмотрев византийские источники, обосновал ранее отвергнутую дату—957 г.[4]. Е. Е. Голубинский, сверх того, полагает, что Ольга приехала в Царьград уже крещеной, со своим духовником Григорием, а крестилась еще в Киеве[5].

Для нашей проблемы эта дата была бы важна, так как в X в. смена религии означала поворот во внешней политике, т. е. в отношениях Руси с Хазарией, но, с другой стороны, всеми авторами отмечено, что Ольга хранила свое крещение в глубокой тайне... до 955 г., после которого, по свидетельству Иакова Мниха, она угождала Богу добрыми делами[6]. В число последних входила война с Хазарией. Но до этого княгиня Ольга держала себя осторожно, лишь разрешая русским удальцам служить в византийских войсках за достойную плату. Но даже это стало возможно после переворота, когда наступило короткое междукняжие[7], после которого князем стал малолетний Святослав, регентшей — его мать, псковитянка Ольга, а главой правительства — воевода Свенельд, отец Мстислава Лютого. Состав нового правительства говорит сам за себя. Отметим лишь, что старшее поколение носит скандинавские, а младшее — славянские имена. Короче говоря, вся фактическая власть сосредоточилась в руках либо славян, либо ославяненных россов.

Неясен и, вероятно, неразрешим только один вопрос: был ли Святослав сыном Игоря Старого? Летопись в этом не сомневается[8], у нас нет уверенности в этом[9]. Но в плане этнологическом это не так уж важно. Ольга и Свенельд восстановили славяно-русскую традицию и вернули Русь на тот путь, по которому она двигалась до варяжской узурпации. И последствия оказались самыми благоприятными для Русской земли и весьма тяжелыми для еврейской общины в Хазарии.

Но я не решаюсь следовать А. А. Шахматову в отождествлении древлянского князя Мала и Люта Свенельдича. Не получается!

После убийства Игоря повторным покорением древлян руководил Свенельд: вряд ли он выступил против своего сына! Люта Свенельдича в 975 г. убил Олег Святославич, которому еще не было 15 лет[10]. Значит, это сделали его приближенные, но репрессию проводил опять-таки Свенельд, первый советник Ярополка. Последний корил Свенельда за гибель Олега, ибо ясно, что мальчик был неповинен в грехах старших дружинников. Больше Свенельд в летописи не упомянут.

Но главное, Владимир, сын Малуши и племянник Добрыни, опирался на варягов, с их помощью погубил Рогволода и Ярополка и взял Киев. Но тут ему пришлось столкнуться с сопротивлением горожан, которые не хотели ни платить варягам по 2 гривны с человека, ни видеть их у себя в городе Киеве. И Владимир был вынужден отправить варягов в Константинополь без оплаты за труды.

Главой правительства при Владимире был Добрыня. Считать то, что он возглавил поход против своего деда, т. е. Свенельда, местью убийцам своего отца (т. е. Люта) — нелепо, а по этическим нормам X в. — невозможно. Логичнее летописная версия, где дети древлянского князя Мала выступают против угнетателей — Свенельда и его сына, блокируясь с их врагами — варяжской партией. Но враги наших врагов не всегда наши друзья. Как только надобность в варягах миновала, от них избавились, славянский элемент восторжествовал и над норманнским, и над россомонским, сохранив от последнего только само название: «поляне, яже ныне рекомая Русь». Смена веры в 988 г. позволила покончить с северными заморскими традициями, и Русь вступила в инерционный период этногенеза, при котором условия для накопления культурных ценностей оптимальны.

4. ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Русь, избавившись от варяжского руководства, восстанавливалась быстро, хотя и не без некоторых трудностей.

В 946 г. Свенельд усмирил древлян и возложил на них «дань тяжку», две трети которой шли в Киев, а остальное — в Вышгород, город, принадлежавший Ольге[11].

В 947 г. Ольга отправилась на север и обложила данью погосты по Мсте и Луге. Но левобережье Днепра осталось независимым от Киева[12] и, по-видимому, в союзе с хазарским правительством[13].

Вряд ли хазарский царь Иосиф был доволен переходом власти в Киеве из рук варяжского конунга к русскому князю, но похода Песаха он не повторил. За истекшие пять лет внешнее положение еврейской общины Итиля осложнилось. Прекратилась не только торговля с Багдадом вследствие победы Буидов, но и китайская торговля потерпела урон. В 946 г. кидани взяли Кайфын, столицу Китая и узел караванной торговли, потом отдали его тюркам-шато, а те оказались во вражде и с киданями, и с китайцами[14]. Тор-

[4] См.: Литаврин Г. Г. О датировке посольства Ольги в Константинополь. История СССР. 1981, № 5, с. 180—183.

[5] См.: Голубинский Е. Е. История русской церкви, с. 77; цит. по: Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси, с. 385—391.

[6] Б. А. Рыбаков (Язычество древней Руси, с. 391) отмечает ненадежность летописных дат, но это свидетельство принимает.

[7] См.: Шахматов А. А. Разыскания... с. 109.

[8] См.: Тексты Киевского свода 1039 г. и Новгородского свода 1050 г., восстановленные А. А. Шахматовым (Шахматов А. А. Разыскания .. с. 543, 613).

[9] Вымышленные генеалогии — слишком частое явление, чтобы придавать им большое значение. Например, подлинная фамилия русского царя Павла I — Готорп.

[10] Год рождения Святослава — 942; Олег — младший брат Ярополка. Значит, он мог родиться не ранее 961 г., а скорее всего позже.

[11] Повесть временных лет (далее — ПВЛ), ч. 1, с. 43.

[12] Это видно из того, что радимичей заново покорил воевода Владимира Волчий Хвост в 984 г.

[13] См.: Шевченко Ю. Ю. На рубеже двух этнических субстратов Восточной Европы VIII—X вв. // Этнография народов Восточной Европы. Л., 1977, с. 51—54.

[14] См.: Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства, с. 78—79.

говля от этих неурядиц пострадала сильно. А во Франции тоже шла ожесточенная война — между последними Каролингами и герцогами Иль-де-Франс. Как уже было сказано, Каролинги за деньги давали защиту французским евреям; поэтому их поражение и неминуемость падения Западной империи не сулили евреям ничего доброго.

Исходя из этих обстоятельств, хазарский царь Иосиф счел за благо воздержаться от похода на Русь, но отсрочка не пошла ему на пользу. Ольга отправилась в Константинополь и 9 сентября 957 г. приняла там крещение, что означало заключение тесного союза с Византией, естественным врагом иудейской Хазарии. Попытка перетянуть Ольгу в католичество, т. е. на сторону Германии, предпринятая епископом Адальбертом, по заданию императора Оттона I прибывшим в Киев в 961 г., успеха не имела[15]. С этого момента царь Иосиф потерял надежду на мир с Русью, и это было естественно. Война началась, видимо, сразу после крещения Ольги.

То, что война Хазарии с Русью шла в 50-х годах X в., определенно подтверждает письмо царя Иосифа к Хасдаи ибн-Шафруту, министру Абдаррахмана III — омейядского халифа Испании, написанное до 960 г.: «Я живу у входа в реку и не пускаю русов, прибывающих на кораблях, проникнуть к ним (мусульманам). Точно так же я не пускаю всех врагов их, приходящих сухим путем, проникать в их страну. Я веду с ними (врагами мусульман. — *Л. Г.*) упорную войну. Если бы я оставил их (в покое. — *Л. Г.*), они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада»[16].

Это, конечно, преувеличение. Буиды в Иране, Багдаде и Азербайджане держались крепко. По-видимому, Иосиф хотел расположить к себе халифа Испании, чтобы попытаться создать антивизантийский блок на Средиземном море, где как раз в это время греки при поддержке русов отвоевывали Крит, базу арабо-испанских пиратов. В 960 г. Никифор Фока одержал победу. Надежды царя Иосифа на помощь западных мусульман разбились вдребезги.

Тем не менее Византия не могла активно помочь обновленной Руси. Силы греков были скованы наступлением на Киликию и Сирию. В решающие 965—966 гг. Никифор Фока взял Мопсуестию, Тарс, завоевал Кипр и дошел до стен «великого града божьего» — Антиохии.

Эти победы стоили дорого. В Константинополе в 965—969 гг. царил голод, так как цена хлеба поднялась в 8 раз. Популярность правительства падала.

Однако дружба с Византией обеспечила Руси союз с печенегами, важный при войне с Хазарией. Печенеги, придя на западную окраину Степи, оказались в очень сложном положении: между греками, болгарами и русскими. Чтобы не быть раздавленными, печенеги заключили союзные договоры с русскими и греками, обеспечивали безопасность торговли между Киевом и Херсонесом, снабжали русов саблями взамен тяжелых мечей. Этот союз продолжался до 968 г.[17], т. е. до очередного русско-византийского конфликта. Но в решающий момент войны с Хазарией печенеги были на стороне киевского князя.

Сторонниками хазарского царя в это время были ясы (осетины) и касоги (черкесы), занимавшие в X в. степи Северного Кавказа. Однако преданность их иудейскому правительству была сомнительна, а усердие приближалось к нулю. Во время войны они вели себя очень вяло. Примерно так же держали себя вятичи — даннники хазар, а болгары вообще отказали хазарам в помощи и дружили с гузами, врагами хазарского царя. Последний мог надеяться только на помощь среднеазиатских мусульман.

5. ИСКРЕННОСТЬ И ВЫГОДА

Казалось бы, естественно, что на востоке союзником иудейской Хазарии было таджикское государство Саманидов, известное благодаря активной внешней торговле и блестящей культуре. Однако положение в этой державе было сложным. За 150 лет господства Аббасидов в Средней Азии и Иране потомки арабов, персов, согдийцев и части парфян сумели приспособиться к новым условиям и к X в. слились в монолитный таджикский этнос. Именно таджиков возглавила местная династия Саманидов, и созданная ими культура блистала, как алмаз, по сравнению с которой все прочие — оправа.

Здесь, в кратком очерке, нет возможности описать эту богатую эпоху, но... кристаллы появляются при остывании магмы. За одно только столетие доблесть дехкан, вознесших трон Исмаила Самани, растаяла в очаровании садов, веселом шуме базаров и благолепии суннитских мечетей. Потомки воинов стали веселыми и образованными обывателями.

Вскоре Саманиды, чтобы сохранить свою державу, стали покупать тюркских рабов (гулямов) и составлять из них войско. Те, оставаясь де-юре рабами, могли делать карьеру (порой головокружительную — вплоть до наместников провинций), поскольку фактически гулямы были куда сильнее свободных дехкан и купцов. Ведь в их руках были сабли, и все они были профессиональными вояками. Таким любое ополчение не страшно.

И за границей были тюрки, ставшие мусульманами. В 960 г. приняли ислам карлуки, вслед за ними — воинственные чигили и храбрые ягма. Это снискало им симпатии могущественной суннитской церкви, опасавшейся вольномыслия Саманидов. Шииты казались мусульманскому духовенству бо́льшими врагами, чем иноплеменники. К 999 г. Саманиды были преданы буквально всеми: тюркскими наемниками, духовенством, горожанами Бухары, но и до этого помочь хазарским евреям они не могли.

---

[15] См.: Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1949, с. 458—459.

[16] Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., 1932, с. 80, 97.

[17] ПВЛ, ч. II, с. 312; История Византии, т. II, с. 231—233.

В ином положении был одинокий оазис Хорезм, неподалеку от Аральского моря. Хорезм подобен зеленому острову среди желтой пустыни, и древнее население его — хорасмии, или хвалиссы, — избежало арабского погрома, преобразившего города Согдианы. Хорезмшах покорился арабам еще в 712 г., согласился на уплату дани и обязался оказывать военную помощь. Этим он спас свой народ, состарившийся и уставший [18].

В X в. в Хорезмском оазисе было два государства: старожилами в Кяте правил хорезмшах; осевшими в Ургенче тюрками — эмир. Они объединились в 996 г., и тогда Хорезм стал тюркоязычным оседлым самостоятельным этническим образованием.

Необходимую для этого традицию сберегли потомки хорасмиев, а пассионарность привнесли тюрки, главным образом туркмены. За X в. благодаря исключительно благоприятным условиям симбиоз превратился в системную целостность — этнос в мусульманском суперэтносе.

Можно задуматься над тем, откуда взялась пассионарность у приаральских кочевников. Эти потомки сарматов должны были растратить ее одновременно с хорасмиями, согдийцами и парфянами. Да, так, но в VI—VII вв., в эпоху Западно-Тюркютского каганата, с берегов Орхона шел генетический дрейф, разносящий признак на окраины ареала популяции [19]. Попросту говоря, степные богатыри во время походов на запад награждали местных красавиц своей благосклонностью, а появлявшиеся потомки наследовали пассионарность отцов.

Современники характеризовали хорезмийцев так: «Они храбро воюют с гузами и недоступны для них» (Истахри); «они люди гостеприимные, любители поесть, храбрые и крепкие в бою» (Макдиси); «люди его (города Кята) — борцы за веру и воинственны», «население его (Ургенча) славится воинственностью и искусством метать стрелы» (Худуд ал-Алям); «каждой осенью с наступлением холодов царь Хорезма выступал в поход против гузов» (Бируни) [20].

А так как гузы в X в. стали врагами Хазарского царства, то у царя Иосифа были все основания надеяться на помощь Хорезма. Ведь экономическое благополучие Ургенча и Кята в первой половине X в. было основано на торговле с Хазарией, шедшей через Устюрт и Мангышлак, в обход кочевий гузов [21]. Будь царь Иосиф или другой еврей владыкой Ургенча, он поддержал бы хазарскую иудейскую общину, потому что это было выгодно не только ему, но и его стране. Но в Ургенче правил тюрк, который ради веры пошел на менее выгодный союз с освободившимся от Хазарии Булгаром. Гузы, воюя с хорезмийцами, купцов через свои земли пропускали, взимая пошлину. Эта торговля была менее выгодна Хорезму, зато совесть тюрка была чиста.

Понятие «выгода» у разных этносов и в разные эпохи различно. Для эмира Ургенча деньги значили много, но не все. Он не мог на них купить расположение мулл и улемов, энтузиазм своих конных стрелков, симпатии соседних кочевников и даже любовь своих жен. В Азии не все продается, а многое дается даром, ради искренней симпатии, которую эмир должен приобрести, если не хочет сменить трон на могилу. Поскольку общественное мнение хорезмийцев X в. формировалось в постоянной войне за ислам, то и правитель их должен был поступать в согласии с установленным стереотипом поведения. Он так и делал.

Макдиси сообщает: «Городами Хазарии иногда завладевает владетель Джурджании» — и в другом месте: «Слышал я, что ал-Мамун нашествовал на них (хазар) из Джурджании, победил их и обратил к исламу. Затем слышал я, что племя из Рума, которое зовется Рус, нашествовало на них и овладело их страною» [22]. И Ибн-Мискавейх и Ибн ал-Асир сообщают о нападении в 965 г. на кагана Хазарии какого-то тюркского народа. Хорезм дал помощь при условии обращения хазар в ислам, а потом «обратился и сам каган» [23]. Сопоставим эти сведения с тем, что мы уже знаем.

В 943 г. хазарские иудеи и хорезмийцы, по свидетельству Масуди, были в союзе. В 965 г. Хазарская держава пала. Следовательно, колебания политики Хорезма имели место в промежутке между этими датами. Логично думать, что шансы царя Иосифа упали после поездки Ольги в Константинополь в 957 г. Значит, в эти годы (957—964) хорезмийцы под предлогом защиты хазар от гузов и русов обратили языческое население дельты Волги в ислам. Те пошли на это охотно, потому что не видели от своих правителей ничего доброго. Таким образом, Святославу была открыта дорога на Итиль, а подготовка к войне закончена [24].

6. ПЯТЫЙ АКТ ТРАГЕДИИ

964 год застал Святослава на Оке, в земле вятичей. Война русов с хазарскими иудеями уже была в полном разгаре, но вести наступление через Донские степи, контролируемые хазарской конницей, киев-

---

[18] Хорасмии — близкие родственники парфян; следовательно, начальная дата их этногенеза — IV—III вв. до н. э., но ему еще предшествовал инкубационный период, длительность коего определить пока трудно. Значит, к X в. н. э. хорасмии прошли все фазы этногенеза и находились в гомеостазе, что позволило им без сопротивления принять в свою среду пассионарных тюрок, стремившихся с ними ужиться. А это сделало возможной полную ассимиляцию на мирной основе.

[19] Н. И. Вавилов доказал, что рецессивные мутации постепенно оттесняются на окраины видовых и расовых ареалов (письмо к акад. В. И. Вернадскому, цит. по: Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры. М., 1971, с. 147—148).

[20] Цит. по: Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М., 1948. С. 229.

[21] См. там же, с. 242.

[22] Цит. по. Толстов С. П. Указ. соч., с. 252—253.

[23] См. там же.

[24] С. П. Толстов, вопреки Макдиси, полагает, что завоевание Хазарии русами предшествовало вступлению в Хазарию хорезмийцев; он пытается сопоставить вторжение русов с походом Владимира на Булгар в 985 г. (см.: Толстов С. П. Указ. соч., с. 255). Для такого мнения оснований нет.

ский князь не решился[25]. Сила русов X в. была в ладьях, а Волга широка. Без излишних столкновений с вятичами русы срубили и наладили ладьи, а весной 965 г. спустились по Оке и Волге к Итилю[26], в тыл хазарским регулярным войскам, ожидавшим врага между Доном и Днепром[27].

Поход был продуман безукоризненно. Русы, выбирая удобный момент, выходили на берег, пополняли запасы пищи, не брезгуя грабежами, возвращались на свои ладьи и плыли по Волге, не опасаясь внезапного нападения болгар, буртасов и хазар. Как было дальше, можно только догадываться.

При впадении в р. Сарысу Волга образует два протока: западный—собственно Волга и восточный—Ахтуба. Между ними лежит зеленый остров, на котором стоял Итиль, сердце иудейской Хазарии[28]. Правый берег Волги — суглинистая равнина, возможно, туда подошли печенеги. Левый берег Ахтубы — песчаные барханы, где хозяевами были гузы. Если часть русских ладей спустилась по Волге и Ахтубе ниже Итиля, то столица Хазарии превратилась в ловушку для обороняющихся без надежды на спасение.

Продвижение русов вниз по Волге шло самосплавом и поэтому настолько медленно, что местные жители (хазары) имели время убежать в непроходимые заросли дельты, где русы не смогли бы их найти, даже если бы вздумали искать. Но потомки иудеев и тюрков проявили древнюю храбрость. Сопротивление русам возглавил не царь Иосиф, а безымянный каган. Летописец лаконичен: «И бывши брани, одолѣ Святославъ козаромъ и градъ ихъ... взя»[29]. Вряд ли кто из побежденных остался в живых. А куда убежали еврейский царь и его приближенные-соплеменники— неизвестно.

Эта победа решила судьбу войны и судьбу Хазарии. Центр сложной системы исчез, и система распалась. Многочисленные хазары не стали подставлять головы под русские мечи. Это им было совсем не нужно. Они знали, что русам нечего делать в дельте Волги, а то, что русы избавили их от гнетущей власти, им было только приятно. Поэтому дальнейший поход Святослава — по наезженной дороге ежегодных перекочевок тюрко-хазарского хана, через «черные земли» к среднему Тереку, т. е. к Семендеру, затем через кубанские степи к Дону и, после взятия Саркела, в Киев — прошел беспрепятственно.

Предложение о перемещении русской рати с Волги на Терек, или, что то же, от Итиля к Семендеру, морем[30] абсолютно невероятно. Речные ладьи должны были сначала застрять на перекатах в дельте; затем, они не годились для плавания по бурному Каспийскому морю, и, наконец, подняться водой по Тереку до того места, где сейчас находится станица Гребенская[31], невозможно. Ведь прежние походы русов на Гилян и в Азербайджан совершались благодаря поддержке иудео-хазарского правительства, снабжавшего флот лоцманами и пригодными кораблями. В 965—966 гг. не было ни того, ни другого.

Поэтому следует предпочесть традиционную версию маршрута русской рати, подыскав реальное объяснение того, что разрушения, ею причиненные, были невелики: погибали здания и сады, но не люди.

Русские ратники, изголодавшиеся за долгий переход по полупустыне, разграбили роскошные сады и виноградники вокруг Семендера, но обитатели этих незащищенных поселений могли легко укрыться в густом лесу на берегу Терека. Жители Саркела, вероятно, разбежались заблаговременно, ибо сражаться стало не за что и не для чего. Гибель иудейской общины Итиля дала свободу хазарам и всем окрестным народам.

На западном берегу Каспия усилился эмир Дербента, а на восточном — эмир Хорезма, но и они не смогли удерживать в покорности степные народы, узнавшие вкус независимости. Для всей Великой степи наступил период этнической раздробленности, продолжавшийся 250 лет. За это время сложилась оригинальная средневековая вариация степной культуры, так как кочевникам никто не мешал жить.

Хазарский каганат исчез не только как государство, но и как важный элемент системы международных связей: политических, экономических, религиозных и даже этнических. Все партии, опиравшиеся на поддержку агрессивного иудаизма, утратили опору, крайне для них ценную. В результате во Франции потеряла позиции династия Каролингов, принужденная уступить гегемонию национальным князьям и феодалам; в Китае отдельные солдатские и антикочевнические мятежи переросли в агрессивность и национальную исключительность новорожденной династии Сун; халифат в Багдаде ослабел и потерял контроль даже над Египтом, не говоря о «прочей Африке» и Аравии; дезорганизация разъедала Саманидский эмират. Короче говоря, союзникам погибшей Хазарии стало плохо.

Как ни странно, не выиграли и те, кто попытался овладеть страной, лишенной за-

[25] Это ответ на сомнения А. А. Шахматова (см.: Шахматов А. А. Разыскания..., с. 118—119).

[26] См.: Артамонов М. И. История хазар, с. 426—429.

[27] С. П. Толстов (указ. соч., с. 256) полагает, что русы встретились с гузами около Верхнедонского волока (т. е. выше Итиля) и двинулись вверх по Волге. Однако течение на Волге настолько сильное, что подняться против течения можно было только при помощи бурлаков. В военных условиях это слишком опасно. Поэтому надо считать, что русы спускались по Оке и Волге самосплавом, при котором воины не устают и могут быть готовы к бою с противником.

[28] См.: Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии, с. 26.

[29] ПВЛ, ч. 1., с. 47. Там сказано: «И градъ их и Бѣлу Вежю взя». Значит, «градъ» не Белая Вежа (см.: Артамонов М. И. История хазар, с. 427, примеч. 9).

[30] См.: Артамонов М. И. История хазар, с. 427; Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968, с. 93.

[31] Местоположение Семендера между совр. станицами Гребенской и Шелковской доказано (см.: Гумилев Л. Н. Хазария и Терек // Вестн. ЛГУ, 1964, № 24, с. 78—88; Он же. Открытие Хазарии, с. 166—169; Он же. Где же тогда Семендер? // История СССР. 1969, № 3, с. 242—243), но не было замечено В. Т. Пашуто.

щиты. Хорезмийцы продержались на Волге лишь с 977 по 985 г., не смогли установить искреннего союза с болгарами и ушли, оставив Поволжье языческим гузам. Последние еще в XII в. составляли бо́льшую часть населения города Саксин[32], расположенного в дельте Волги, на протоке Табола[33].

Хазарские евреи, уцелевшие в 965 г., рассеялись по окраинам своей бывшей державы. Некоторые из них осели в Дагестане (горские евреи), другие — в Крыму (караимы). Потеряв связь с ведущей общиной, эти маленькие этносы превратились в реликты, уживавшиеся с многочисленными соседями. Распад иудео-хазарской химеры принес им, как и хазарам, покой. Но помимо них остались евреи, не потерявшие воли к борьбе и победе и нашедшие приют в Западной Европе.

7. РАСПАД ХИМЕРЫ

Итак, пути хазар и иудеев разошлись навсегда. Потомки древних хазар в долине Дона приняли наименование «бродники». Потомки бродников впоследствии сменили этноним: они стали называться казаками. Тесные связи с Черниговским княжеством, русский язык, ставший обиходным, и православие, принятое еще в IX в., позволили им войти в русский этнос в качестве одного из его субэтносов.

Хазарам не за что было любить иудеев и насажденную ими государственность. Экономическое процветание Итиля не дало им никаких благ, а культура господствовавшего этноса была хазарам чужда и, более того, противоестественна для них.

Иранская ветвь иудеев принесла хазарам принципы маздакизма, согласно которым злом была объявлена вся неразумная, т. е. стихийная, природа, включая эмоции самого человека. Добром был объявлен разум, хотя именно разуму свойственны заблуждения. Византийская ветвь иудеев принесла навыки экстерриториальности, т. е. отсутствия прямых контактов с природными ландшафтами. И обе они проявили нетерпимость к своему этническому окружению, с которым считались лишь постольку, поскольку это было практически необходимо. И тогда против них поднялись и люди и природа.

Судьбу господствовавшего класса Хазарии, читай — господствовавшего этноса, разделили аборигены страны, за исключением тех, кто успел выселиться за Дон или укрыться на «гребне» — горном хребте Дагестана, за Тереком. Волжские хазары оказались в наихудшем положении, так как кормивший их ландшафт опустился под волны Каспийского моря. Если в III в. уровень Каспия стоял на отметке — 36 м, то в конце XIII в. он достиг — 19 м, т. е. поднялся на 17 м. Для крутых берегов Кавказа и Ирана это большого значения не имело, но для пологого северного берега, где помещалась Хазария, эта трансгрессия стала катастрофой. «Нидерланды» превратились в «Атлантиду». Цветущие сады, пастбища — все было залито водой, из которой торчали только сухие вершины бэровских бугров, где ранее находились хазарские кладбища.

Хазарам пришлось покинуть затопленную страну, а без привычного, родного ландшафта обычный этнос рассыпается ровно. Так и рассыпались хазары в великом городе Сарае, «столице» всей Западной Евразии.

Однако не только этническую целостность потеряли хазары, но даже и то, что кажется неотъемлемым, — память, или, говоря строго научно, этническую традицию. Потомки хазар забыли о том, что они были хазарами, а потомки хазарских евреев забыли о той стране, где жили и действовали их предки. Последнее понятно: для иудеев низовья Волги были не родиной, а «стадионом» для пробы сил; поэтому вспоминать о трагичной неудаче для них не имело практического смысла. Вот по этим-то причинам Хазария стала страной без исторических источников: письменных, вещественных и этнографических, т. е. зафиксированных в обрядах и верованиях. А поскольку до XX в. любая история основывалась на сборе и критике источников, то история Хазарии на основе традиционной методики и не могла быть написана.

8. ПОЧЕМУ НЕ ВОЗНИКЛА ХИМЕРА НА РУСИ?

Казалось бы, на Руси в IX—X вв. были все условия для возникновения такой же этнической химеры, какая сложилась в Хазарии. Чужеземцы-варяги господствовали в Киевской земле свыше 60 лет — с 882 по 944 г. — да и после этого оставались там, пользуясь привилегиями военной касты. Наличие большого числа бастардов, появившихся в эту эпоху, не подлежит сомнению, хотя и не отмечено летописцем. Но известно, что каждый хронист описывает не то, что повседневно и известно его читателям, а то, что кажется ему достойным упоминания, ибо повествование — не статистический отчет. Поэтому отсутствие прямых указаний нарративного источника на метисацию не должно смущать исследователя. Смущает другое: куда девались потомки варягов и славянок, да еще бесследно, как будто их и не было? Ведь в Северной Англии и Нормандии потомки норвежцев живут до сих пор. Но с другой стороны, в Ирландии и Сицилии их так же не видно, как и в Поднепровье. Есть ли здесь какая-то закономерность?

Поскольку источники не дают ответа на вопрос, обратимся к теории и методике широких аналогий. Сравним положение, сложившееся на Руси, с тем, которое дважды возникало в Хазарии: в VII и в IX вв.

В VI—VII вв. хазарки сочетались с тюркскими богатырями, а те приняли к себе царевича из рода Ашина. Это была этническая «ксения», которая порождает «социальный организм», т. е. усложненную по-

[32] См.: Большаков О. Г., Монгайт А. А. Путешествие Абу Хамида ал-Парнати в Восточную и Центральную Европу (1131—1153). М., 1971, с. 27—30.

[33] См.: Гумилев Л. Н. Сказание о хазарской дани, с. 171.

литическую целостность. Тюрко-хазарские метисы заняли места военных вождей и жертвовали жизнью для новой родины, ибо старая уже была растерзана китайцами. Иными словами, они включились в этногенез хазар как компонент, а не как инородное тело.

Поэтому сохранение ханской фамилией навыков кочевой жизни не имело значения для социальных взаимоотношений внутри сложившегося этноса. Ну, коль скоро хан желает летом ехать с Волги на Терек и Дон, так и пусть катается! Это ничему не мешает.

Другое дело был режим Обадии и его потомков, сделавших свою общину господствующим классом в Хазарии. Работали они на себя, а не на своих подданных. Ассимиляции не возникало, так как ни хазар не принимали в общину, ни евреев не допускали снижаться до уровня массы. Два этноса, принадлежащие к разным суперэтносам, жили в одном ареале, как бы пронизывая друг друга. Вот это и есть химера.

Варяги в Киеве не похожи ни на тюркютов, ни на иудеев. С одной стороны, это захватчики, обиравшие население на «полюдьях», хищники, преследовавшие свои цели, ради которых они бросали своих, подданных в бессмысленные походы на Каспий и Понт. И принадлежали они к другому суперэтносу, исповедовали иную религию и имели особую культуру. Как будто все говорит об аналогии их с иудеями Хазарии.

Но с другой стороны, профессиональные варяги были полиэтничны. Их отряды состояли не только из скандинавов, но и из прибалтов: полабских славян, латышей, финнов. При этом скандинавы были не представителями своих этносов, а «свободными атомами» — людьми, выброшенными с родины взрывом пассионарности. Это значит, что со старыми традициями они порвали, а новые, создаваемые их детьми, наследовались у матерей. Следовательно, если не дети, то внуки варягов становились славяно-россами, подобно тюркютским отпрыскам в Хазарии. И этому весьма способствовало то, что сами варяги-отцы либо гибли в неудачных походах, либо меняли Киев на Константинополь, оставляя своим потомкам только генетическое наследство — пассионарность фазы подъема. Это было отнюдь не мало.

Вот если бы в Киев IX в. пришли не «варяги», а члены этносов: шведского, норвежского, датского, немецкого, как было в Померании и Бранденбурге в XII в., то аналогия их с хазарскими иудеями была бы правомочной. Евреи-рахдониты представляли суперэтнос, искусственно законсервированный на высокой фазе пассионарности. Рассеяние им не мешало, ибо их кормил антропогенный ландшафт — города. Благодаря «искусственности», т. е. повышению жесткости системы, не допускался пассионарный перегрев, но зато сама система становилась хрупкой. Потому она и сломалась от первого сильного удара в 965 г. А скандинавские этносы достигли фазы пассионарности, позволявшей им принять участие в создании суперэтноса только в XII в. Но тогда они были уже не опасны для Великого княжества Киевского.

Итак, варяги не создали в Киеве химеру не вследствие своих «благородных качеств», которых у них не было, а потому, что не смогли, как не смогли укрепиться в Ирландии. Только в выжженной Нормандии и обескровленном Нортумберленде колонии норманнов, викингов, но не варягов поселились на пустошах или руинах и выжили, имея с аборигенами минимальные контакты. Зато они перестали быть норвежцами, а стали субэтносами французов и англичан.

На Руси в IX в. шел надлом, переход от акматической к инерционной фазе. В это тяжелое время варяги и проникли на Русь, как бактерии в открытую рану. Но «белые кровяные шарики» — местные пассионарии — ликвидировали инфекцию, следом которой осталось только название династии князей-воинов — Рюриковичи. Это были метисы, инкорпорированные славяно-российским этносом. Концом этого процесса этнического выздоровления следует считать не политический переворот Ольги, а культурный сдвиг — возвращения к старой готско-россомонской традиции контакта с Византией — крещение Руси Владимиром Святославичем. Но был еще один феномен, не менее существенный, чем описанный выше.

Подъем пассионарности, охвативший в IX в. Западную Европу, повел к созданию там могучего и хищного суперэтноса, встреча с коим была неизбежна. Она могла быть дружественной или враждебной, но в любом случае влекла за собой необратимые последствия.

Окончание следует

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Отечественный архив

Вокруг Екатеринбургской Голгофы

> ***«...не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь».***
>
> *Из Книги пророка Амоса (2,1), которую Царская Семья читала за 3—4 часа до убийства.*

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге грянули выстрелы. Вся царская семья с оставшимися до конца ей верными людьми была умерщвлена без суда и следствия. За какие-то минуты, по существу, была прервана связь времен. Кто-то решил всерьез посчитаться с прошлым, порвать с многовековой историей; вырвать и развеять по ветру тысячи страниц, исписанных десятками поколений — вытравить о них всякую память и начать все с чистого листа... И пока мы не поймем к т о это решил за нас, вряд ли сумеем снять заклятие, а значит, и вернуться к себе домой, к нормальной жизни.

За истекшие со времени цареубийства 73 года о Екатеринбургской трагедии написаны десятки книг, сотни статей, даже созданы фильмы. Однако в этой лавине фактов и мнений правда — с редкой последовательностью и организованностью — не без успеха «забалтывается».

Лгать стали с самого начала. «Тело царя,— «сочувственно» писали «Известия» 22 сентября 1918 г., — похороненное в лесу, на том самом месте, где он был казнен, было выкопано по указанию сведущих лиц в присутствии высшего духовенства, депутатов от народной армии, казаков и чехословаков. Тело было положено в металлический гроб, заключенный в деревянный ящик из драгоценного сибирского кедра. Гроб, торжественно внесенный в кафедральный собор, охранялся солдатами народной армии. Тело будет временно погребено в Омске в особой гробнице».

Ровно через год, на этот раз уже «Правда», поведала о прошедшем задолго до этого суде в Перми над самовольными убийцами Николая II — 28 эсерами, в том числе двумя женщинами — Марией Апраксиной и Елизаветой Мироновой. На другой день этих абсолютно непричастных к цареубийству людей расстреляли. Председательствовал же на суде член «Следственного комитета об убийстве императора Николая Второго» Янкель Мовшевич Свердлов. Такого цинизма мир, наверное, еще не видывал.

Однако самое удивительное в этом запутанном деле — смычка наших советских лгунов с вралями зарубежными, буржуазными. Достаточно вспомнить некоторые кадры из нашумевшего в свое время американского гала-фильма «Николай и Александра»: толпа русских людей, пытающихся покончить самосудом с царскою семьей; цареубийцы с типично русскими лицами. Нет нужды полемизировать с этой грязной стряпней. Просто назовем ее авторов: С. Шпигель, Ж. Гольдштейн и др.

Оказывается, внешне можно исповедовать разные (и даже антагонистические) политические убеждения, но одинаково замазывать определяющую роль в цареубийстве революционного еврейства. Выходит, можно жить в совершенно разных (социально чуждых) странах, в разное время, и одинаково «не замечать» необъяснимый с точки зрения здравого смысла цинизм преступников (словно и не людей убивали они вовсе, а расчетливо забивали скот[1]). И получается: не до классового подхода там, где правят клановые интересы «избранного» народа.

Цель всех этих подтасовок одна — доказать, что царя, его семью и слуг убили сами русские. Доказать во что бы то ни стало, пусть даже вопреки фактам. Документы, однако, вещь упрямая. Известно, например, что уже 4 июля 1918 г. заправилы будущего цареубийства полностью заменили несший внутреннюю охрану отряд красногвардейцев (в основном русских), отправив их на фронт. В составе «новой охраны» под начальством Янкеля Юровского были исключительно работники органов

[1] См. Розанов В. В. Жертвенный убой. Париж, 1929.

ЧК и бывшие военнопленные из Интернациональной бригады. Среди цареубийц, кроме трех русских с ярко выраженными уголовными наклонностями (Петра Ермакова, Степана Ваганова и Григория Никулина), были еврей Янкель Юровский и венгерско-еврейские интернационалисты из 1-го Камышловского полка: Ласло Хорват, Анзелм Фишер, Изидор Эдельштейн, Эмил Фекете, Имре Надь[2], Виктор Гринфельд и Андреас Вергази. Кто-то из посвященных оставил надписи на стенах подвала Ипатьевского дома — одна из Гейне[3], другая — каббалистическая[4].

Появились в последнее время и у нас доморощенные интерпретаторы Екатеринбургской драмы — более изощренные, сумевшие не без пользы учесть опыт своих предшественников. Люди эти — либерально-радикальной ориентации. Цель их, раз уж не удается что-либо скрыть,— перехватить инициативу, прочно и окончательно завладеть материалом; незаметно изменив ракурс, представить картину в выгодном только им свете, одновременно отводя глаза доверчивых людей от всего, что может хоть как-то нарушить созданную ими иллюзию. Взять хотя бы кинодраматурга Гелия Рябова, в прошлом профессионального следователя, лауреата премии МВД СССР и Государственной. Воздавая должное высоким профессиональным качествам и упорству самого основательного следователя по делу об убийстве царской семьи Н. А. Соколова, Г. Рябов, по сути, выступает против основных положений, к которым тот пришел в результате кропотливой долголетней розыскной и аналитической работы.

Появившиеся за последние годы сочинения Рябова («Московские новости», 1989, № 16; «Родина», 1989, №№ 4—5, 12) сыграли свою роль в затеянной игре: читателю, испытывавшему жгучий интерес к «закрытой» еще недавно теме, теперь было не до вопросов, кто жертвы, кто палачи, зачем и как убивали, кто виноват,— его больше интересовало, как нашел Рябов останки царской семьи, куда их спрятал, где и как собираются их погребать. (Вряд ли случайно сразу же после сенсационных находок удачливого кинодраматурга в прессе и на телевидении появились сообщения о подготовленном еще Николаем II в Петропавловском соборе склепе для себя и своей семьи.) А Рябов, между тем, подогревал публику: обещал показать место лишь после того, как получит официальные гарантии, что останки будут преданы христианскому погребению. (По меньшей мере странные заявления для вчерашнего придворного драматурга Щелокова.)

Под все нарастающий гул скандала образовалась специальная комиссия, доверчивые доброхоты слали деньги на очередную экспедицию к царским останкам, однако дальше заявлений и открытых писем к европейским монархам дело как будто не пошло. Может быть, отчасти и потому, что знакомые с обстоятельствами Екатеринбургского убийства не понаслышке, стали недоумевать (часто — публично): что это — подлог? попытка под покровом сенсации скрыть характер убийства? И не будет ли погребение неизвестно чьих останков под именем царской семьи означать закрытие вопроса о надругательстве над телами новомучеников. Мягко говоря, странным выглядел ажиотаж, поднятый Рябовым вокруг найденных им черепов, якобы принадлежащих членам царской семьи. Это чрезмерное усердие невольно вызывает подозрение: а уж не намеренно ли все это сделано, чтобы отвлечь от совсем недавно ставшей достоянием нашей общественности версии об отделении «Царских Честных Глав» для предъявления их в Москве в качестве доказательства исполнения приговора. Не является ли вся эта шумиха косвенным тому подтверждением? Ответить на все поставленные вопросы в полной мере пока что невозможно, однако поставить их именно так дают нам основание подлинные документы тех лет, книги Н. А. Соколова, М. К. Дитерихса, Р. Вильтона.

Отрывок из труда генерала М. К. Дитерихса (о нем см. в комментариях), основанного на подлинном следственном деле, не оставляет камня на камне от лжи даже таких хитроумных манипуляторов, как Г. Рябов, выполняющих по сути дела социальный заказ хорошо скоординированных, понаторевших в искусстве дезинформации ненавистников России.

Говоря об активнейшем участии евреев в расправе над императором, его семьей и слугами, мы отнюдь не обвиняем еврейский народ. Речь идет о тех изуверах, которые в конечном счете являются врагами и своего народа. Об этом честно написал недавно Лев Сигал на страницах выходящей в Москве «Еврейской газеты» (12.3.1991, с. 4): «И трагедия наша, и наш грех — активное участие в революционном движении. ...Нам вновь ниспослано испытание: соблазны великой революции. В рядах ниспровергателей государственных и общественных устоев, увы, опять немало людей еврейской крови... Мы идем войной на «партократию», как штурмовали «царское самодержавие», забывая, что жертвами посеянной нами Великой Смуты станем мы сами... Вы гоните прочь образы окаянных дней?.. Вы говорите, что жаждете революции бархатной? А если все же вновь завертится Красное Колесо?.. И в случае всех перечисленных бед — к кому обратимся МЫ с мольбой о спасении? К демократам с их митингами?.. Нет, мы обратимся к государству, в отношении которого накопили так много обид. Давайте же не забывать наших мудрецов, указавших: «Закон государства, где мы живем,— для нас закон»... Для нас губительны Великие Потрясения, нам нужно сильное правовое государство»,

---

[2] Исследователи допускают, что это тот самый Имре Надь, казненный после известных венгерских событий 1956 г. премьер-министр, признанный нынешним демократическим правительством Венгрии национальным героем. Как известно, он тоже был среди венгерских интернационалистов в России в годы гражданской войны.

[3] «В эту самую ночь Валтасар был убит своими холопами».

[4] «Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения Государства. О сем извещаются все народы».

ГЕНЕРАЛ М. К. ДИТЕРИХС

УБИЙСТВО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

В ночь с 24 на 25 июля 1918 года наши войска, под начальством тогда полковника <С. Н.> Войцеховского, рассеяв красную армию товарища латыша Берзина, заняли Екатеринбург. Советские власти и деятели в большой растерянности, спешности и тревоге бежали на Пермь, побросав и позабыв в городе много своих бумаг и документов, но увозя под сильной и надежной охраной, специальным поездом, награбленное у жителей имущество и, в особенности, ценности и документы, принадлежащие Царской Семье.

Некоторые из комиссаров начали покидать город еще с 19-го числа, но тем не менее все они проявляли какое-то особое волнение, нервность и растерянность, доводившие их до панического состояния. Янкель Юровский (1)*, житель города Екатеринбурга, секретный председатель Чрезвычайной Следственной Комиссии и комиссар «дома особого назначения» (так назывался у большевиков дом Ипатьева(2), где содержалась Царская Семья), был в таком состоянии, что, уезжая из этого дома поздно вечером 19-го числа и увозя семь чемоданов, наполненных царскими вещами, забыл на столе своей комнаты в этом доме свой бумажник с 2000 рублей в нем.

Город встретил вступление наших войск как Светлый праздник: флаги, музыка, цветы, толпы ликующего народа, приветствия, церковный звон, и смех, и радостные слезы — все это создавало картину ликующего начала весны в новой жизни и настроение великого праздника Воскресения Христова.

А в природе было лето, и город едва очнулся от давившей его последние дни какой-то ужасной, мрачной обстановки смерти, похорон, погребального стона, как бы нависшей черной тучей над всем городом и его окрестностями. Так бывает в зачумленных городах: не видно этих несчастных чумных, не слышно их, неизвестно даже, что и где происходит, но чувствуется, что что-то совершается ужасное, что что-то совершилось уже; чувствуется веяние смерти вокруг. И страшно, и мрачно, и жутко на душе.

Таково было настроение в Екатеринбурге перед освобождением его нашими войсками. И потому весной и светлым праздником показался его обывателям день 25 июля.

Только на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка, за двумя рядами высоких, сплошных заборов, скрывавших окна от глаз улицы, в небольшом, но хорошеньком беленьком домике продолжали царить мрак, мертвая тишина и тени преступления.

Это дом Ипатьева, или, по-большевистски, «дом особого назначения», в котором содержалась в Екатеринбурге с 30 апреля 1918 года Августейшая Семья.

В этом доме, еще 14 июля, священник о. Сторожев, с диаконом Василием Буймировым, совершал обедницу для всей собравшейся в зале Царской Семьи; бедный наследник Цесаревич Алексей Николаевич страдал своей наследственной болезнью и сидел в кресле. Тут же присутствовали тогда доктор Боткин, девушка Демидова, повар Харитонов, камердинер Трупп и мальчик Седнев; поодаль у окна стоял комиссар Янкель Юровский и не спускал глаз с молившихся впереди русских христианских людей.

Все члены Царской Семьи имели вид утомленный и, против обыкновения, никто из них не пел во время службы, как было на предшествовавших пяти службах до появления в доме Янкеля Юровского. А когда во время этой службы 14 июля, по чину обедницы, отец диакон, вместо того, чтобы прочесть, по ошибке запел «со Святыми упокой», все члены семьи бывшего Императора Николая II опустились на колени.

«Знаете, о. протоиерей, — сказал диакон Буймиров, выйдя из дома, — у них там что-то случилось: они все какие-то другие точно, да и не поет никто».

Где же были теперь обитатели этого дома?

В доме царил невероятный хаос. Начиная от комнат нижнего полуподвального этажа, где при Янкеле Юровском жил внутренний караул из 10 человек, приведенных им с собой из Чрезвычайки, до угольной комнаты верхнего этажа, служившей спальней бывшему Государю Императору, Государыне Императрице и Наследнику Цесаревичу, почти во всех комнатах были разбросаны по полу, на столах, диванах, за шкафами и ящиками различные цельные, разломанные, помятые и скомканные вещи и вещицы, принадлежавшие Августейшей Семье и содержавшимся с ними в доме придворным людям. Больше всего валялось их в комнате комиссара Янкеля Юровского, первой налево из передней. Валялись порванные, мятые и обгорелые записки, обрывки писем, фотографий, картинок; валялись книжки, молитвенники, Евангелия; валялись образа, образки, крестики, четки, обрывки цепочек и ленточек, на которых они подвешивались, а икона Федоровской Божьей Матери, икона, с которой Государыня Императрица никогда, ни при каких обстоятельствах путешествия не расставалась, валялась на помойке, во дворе, со срезанным с нее, ее украшавшим, очень ценным венчиком из крупных бриллиантов.

* Примечания (1—8) см. на стр. 162—165.

Брошенными валялись пузырьки и флакончики со святой водой и миром, вывезенные, как значилось по надписям на них, еще из Ливадии, Царского Села и Костромских монастырей; разбросанными, изломанными валялись повсюду шкатулки, узорные коробки, рабочие ящички для рукоделий, дорожные сумки, саквояжи, сундуки, чемоданы, корзины и ящики и вокруг них вывороченные оттуда вещи, предметы домашнего обихода и туалета (3). Но... ничего ценного в смысле рыночной ценности и, наоборот, почти все только ценное и необходимое для бывших обитателей этого дома. <...>

27 июля утром, к военному коменданту 8-го городского района, капитану Гиршу, явился поручик Андрей Андреевич Шереметьевский и, предъявив целый ряд обгорелых вещей и предметов от различных частей одежды, белья и обуви, рассказал следующее:

Скрываясь от большевиков в период их власти в Екатеринбурге, он проживал в деревне Коптяках, в 18 верстах к северо-западу от города. 17 июля несколько крестьян этой деревни, направляясь утром по своим делам в город, были неожиданно задержаны на дороге в лесу, недалеко от так называемого «Урочища Четырех Братьев», вооруженными конными красноармейцами и возвращены обратно в деревню. При этом красноармейцы им объяснили, что лес оцеплен и туда не пускают по той причине, что у них происходят маневры и будут стрелять. И действительно, уже удалившись назад к деревне, крестьяне слышали вдалеке, со стороны так называемой «Ганиной ямы», глухие разрывы, как бы от двух-трех ручных гранат. <...>

«1919 года, февраля 7 дня, судебный следователь по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов, прибыв лично к бывшему главнокомандующему Западным фронтом генерал-лейтенанту Дитерихсу, предъявил ему ордер г-на министра юстиции от 7 сего февраля за № 2437 и просил его выдать находящееся у него дело об убийстве бывшего Императора Николая Александровича и Членов Его Семьи <...>»

Этим актом вновь назначенный судебный следователь Николай Алексеевич Соколов(4) вступил в дело, составляющее эру в истории России и русского народа <...>

Среднего роста, худощавый, даже просто худой, несколько сутулый, с нервно двигавшимися руками и нервным постоянным прикусыванием усов; редкие, темно-шатеновые волосы на голове, большой рот, черные, как уголь, глаза, большие губы, землистый цвет лица — вот внешний облик Соколова. Отличительной приметой его был вставной стеклянный глаз и некоторое кошение другого, что производило впечатление, что он всегда смотрит несколько в сторону.

Первое впечатление неприятное <...>

Многие в то время, сталкиваясь с ним, выносили по внешнему его облику сомнение в благонадежности передачи ему следственного производства по Царскому делу и высказывали это даже Верховному Правителю. А многие, вообще недоброжелательно настроенные к расследованию этого дела, пользовались внешностью Соколова, чтобы в глубоком тылу вперед подрывать доверие к работе Соколова и представлять постановку следствия и расследования как совершенно несерьезное предприятие некоторых досужих высших чинов.

Соколова надо было знать, во-первых, как следователя, а во-вторых, как человека. <...> Экспансивный, страстный, он отдавался всякому делу всей душой, всем существом. <...>

С детства природный охотник, привыкший к лишениям бродячей охотничьей жизни, к высиживанию по часам глухаря или тетерева на току, он развил в себе до максимального предела наблюдательность, угадывание примет и бесконечное терпение в достижении цели. Постоянное общение на охоте с деревней, с крестьянином родили в нем с детства привязанность к простому народу, любовь к своему русскому, патриархальному, и большое знание крестьянской души, достоинств и недостатков своего народа, своей среды. <...>

Поразительно, что преступники, выводившиеся им на свет Божий, почти никогда не питали к нему чувства злобы, чаще всего их отношение к нему выражалось словами: «ловко он меня поймал», с тоном удивления, а не злобы.

Скрываясь во время своего бегства из Пензы от большевиков и направляясь к нашим линиям, в одной деревне он натолкнулся на мужика, который года за три до этого был изобличен им в убийстве и ограблении своей жертвы. Мужик судился и был присужден к большому наказанию. Революция дала ему возможность вернуться к себе в разоренное за его отсутствие гнездо. Он узнал Соколова, и Соколов узнал его. Кругом были красноармейцы. Мужик мог легко отомстить. Но он не сделал этого, взял к себе в избу, накормил и дал переночевать. А наутро, отправляя Соколова, принес ему старую, продранную шапку и подал ее со словами: «одень эту, а то твоя хороша, догадаются». <...>

Ознакомление с материалами следственного дела Сергеева не оставили у Соколова ни малейшего сомнения в факте убийства в доме Ипатьева в ночь с 16-го на 17 июля 1918 года всей Царской Семьи, а не одного бывшего Государя Императора, как объявила советская власть. <...>

Безусловно известно, что непосредственно в сокрытии тел участвовали: Исаак Голощекин, Янкель Юровский, Петр Ермаков (5), Александр Костоусов, Степан Ваганов, Василий Леватных, Партин и шофер автомобиля Люханов и, может быть, еще 2 или 3 человека из особо близких Ермакову лиц его штаба, фами-

лии коих остались невыясненными. Предположительно принял участие какой-то доктор, но во всяком сучае число работавших было очень ограниченное. Ермаков, Костоусов, Ваганов, Леватных и Партин принадлежали как раз к тем известным местным большевистским разбойникам, насильникам и грабителям, которые, попадись в руки местных «белых», больше часа не прожили бы. Возможно, что на место сокрытия тел приезжали Белобородов, еврей Чуцкаев(6) и Никулин, но установить это точно не удалось, в виду прерыва следственных работ, вызванного оставлением нами 14 июля 1919 года района Екатеринбурга.

Произведенные в августе 1918 года поиски и розыски в районе Ганиной Ямы и шахт без тщательного технического руководства и должного внимания со стороны Сергеева и Наметкина затерли лишь на месте все следы, которые могли бы облегчить выяснение теперь, почти целый год спустя, того, что сделали Исаак Голощекин и Янкель Юровский с телами своих жертв, где точно на месте они их сокрыли и наконец какой именно избрали способ для сокрытия тел. <...>

Путем чрезвычайно многочисленных допросов, с доставкой на место в Коптяковский лес местных жителей и окрестных крестьян, прежде всего удалось вполне точно установить линии внешней и внутренней охраны, содержавшейся большевиками в этом лесу, и таким образом определить тот район в зоне внутренней охраны, куда Исаак Голощекин и Янкель Юровский привезли на грузовом автомобиле Люханова тела убитых в доме Ипатьева членов Августейшей Семьи. Далее опросом опять-таки на месте лиц, которые первыми попали в район Ганиной ямы, вслед за оставлением его Исааком Голощекиным и его компанией, была восстановлена та первоначальная картина всего района шахты, которая должна была запечатлеться на месте после двух с половиною суточной работы на ней сподвижников Исаака Голощекина по сокрытию тел убитых. Таких свидетелей все же оказалось немало, и при этом не простых крестьян деревни Коптяков и женщин Верх-Исетского завода, ходивших «по ягоды и грибы», а таких специалистов, как лесничие и объездчики этой лесной дачи, проникших в район шахты, к счастью, еще до наезда туда следственных властей и офицеров из Екатеринбурга. <...>

Нарисованная картина оставляла такое общее впечатление: тела всех членов Царской Семьи были привезены сюда и здесь, на небольшом пространстве между большой старой березой, открытой шахтой, глиняной площадкой и глубокой воронкой завалившегося шурфа, скрыты. Никуда отсюда их не вывозили. Ужасная кровавая трагедия закончилась именно здесь...

Но как? <...>

Многочисленные расспросы участников убийства, прямых и косвенных свидетелей и различных захватывавшихся большевистских деятелей, имевших соприкосновение с руководителями преступления в советской России, в общем дали чрезвычайно много разнообразных версий о том, как и где были сокрыты Исааком Голощекиным тела его жертв. За исключением таких фантастических фактов, как перенос тел на аэропланах куда-то за Верхотурье, все остальные, более или менее реально согласовавшиеся с остальными данными обстановки и расследования, были тщательно проверены на местах путем разведок, тщательных, обширных раскопок и дополнительных опросов новых свидетелей и местных жителей. <...> В конце концов установилось три наиболее основательных положения, как исходные теоремы для главных работ следствия и исследования по разрешению этого темного вопроса — что сделали Исаак Голощекин и Янкель Юровский с телами убитых ими членов Августейшей Семьи. <...>

1-е положение: была вырыта яма, в нее сложили тела, залили их цементом, чтобы образовалась общая глыба, а затем засыпали землей, замаскировав место дерном. <...>

Но чтобы похоронить таким образом в яме 11 тел, надо было вырыть могилу не менее кубической сажени по объему, и то засыпка будет иметь слой земли толщиною всего в полтора аршина. При этом большое количество земли должно было остаться выброшенным наружу, что сразу бросалось бы в глаза, как бросалась в глаза в описанной картине глиняная площадка, и легко нащупалась бы при простом хождении по разнице в плотности грунта, как бы ни маскировалась потом яма.

Кроме того, естественно возникает вопрос, зачем было при этом способе сокрытия совершенно раздевать тела, вплоть до снятия чулок и подвязок, обгорелые остатки коих находились в кострах.

2-е положение: тела были сброшены в одну из шахт, которую затем обвалили взрывом ручных гранат <...>

Такой способ, конечно, был наиболее легким и простым для быстрого и основательного сокрытия тел убитых. <...> Однако нельзя не отметить уже тут, что картина, описанная выше, определенно указывала, что все колесные следы сходились к глиняной площадке; следовательно, тела были брошены или в шурф справа от площадки, и шурф завалили, или в открытую шахту слева от площадки (но шахта не была завалена, хотя и носила следы разрыва в ней ручных гранат), или наконец их разносили на руках. Тогда это не могло быть произведено в очень удаленном районе, так как все следы потопок травы ограничивались районом, ближайшим к полянке, где была глиняная площадка. Кроме того и в этом случае, как и при первом положении, также возникает вопрос: зачем же раздевали тела до нага. Единственно, что можно предположить в этом случае — симуляцию способа и места действительного сокрытия убитых. Но и это допущение очень шатко, так как,

во-первых, костер, который был разложен убийцами на открытом месте у шахты, был ими же разбросан, а само место костра засыпано глиной, дабы не бросалось в глаза; другой же костер, под березой, был укрыт от взоров деревьями. Во-вторых, обгорелые остатки вещей, принадлежавших членам Царской Семьи, были разбросаны по всему району глиняной площадки вместе с остатками костра и с явным намерением скрыть их в высокой траве. В-третьих, едва ли Исаак Голощекин, Янкель Юровский и особенно Ермаков со своими товарищами решились бы ради симуляции пожертвовать бриллиантом, стоившим 20.000 рублей, жемчужными серьгами, изумрудным крестом и прочими драгоценностями, остатки коих были найдены в этом районе, или не заметили бы их зашитыми в лифчики Великих Княжен, снимая эти лифчики с них при раздевании тел.

3-е положение: тела убитых, после наружного осмотра в целях розыска драгоценностей, были изрублены на куски и сожжены на кострах. <...>

В самом начале апреля 1919 года в Екатеринбурге был задержан крупный член партии большевиков-коммунистов Антон Яковлевич Валек, пробиравшийся из Москвы в Сибирь с крупными деньгами для организации по всей Сибири ячеек «пятерок». Во время суждения его полевым судом выяснилось, что он был знаком и близок со многими советскими главарями Урала, что дало основание следователю Соколову допросить его по делу об убийстве бывшего Государя Императора. Давая свое показание, Валек между прочим рассказал следующее: «В последних числах ноября прошлого (1918) года я по партийным делам был в Перми. Не могу точно припомнить когда, где и с кем из большевиков я разговаривал об этом деле. Совершенно этого не могу припомнить. Был у меня по этому поводу разговор и с Белобородовым. Могу вам сказать, что у меня в результате сложилось мнение, что вся Семья убита и сожжена». <...>

* * *

Сами работы по сокрытию убийцами тел не могли продолжаться более 48 часов, причем из этого времени надо исключить не менее 8 часов перерывов, когда исполнители Ермаков, Костоусов, Леватных и Партин приезжали в город в рабочий клуб и обменивались здесь общими впечатлениями о текущих событиях и своем участии в убийстве Царской Семьи с председателем Верх-Исетского исполкома Сергеем Малышкиным и товарищем Александром Кривцовым. <...>

Сидя рано утром 19 июля в саду коммунистического клуба, компания Ермакова вела между собой беседу самого откровенного характера; скрываться было не перед кем и стесняться некого. Говорили обо всем, что делали и что видели, пересыпали ответы циничными замечаниями и сопровождали чуть не каждое слово трехэтажной руганью.

Противно и тяжело выносить на свет грубые и грязные речи этих людей-зверей но дело, к которому прикасаются руки Исааков Голощекиных, обставляется такой исключительной тайной, что, желая хоть немного подойти к истине, приходится цепляться за каждую соломинку, откуда бы такая ни протягивалась. Беседовали друзья между собою о многом; перечисляли, кто был среди убитых, отмечали, что в поясах костюмов были зашиты драгоценности; высказывали мнение, что «у мертвых красоты не видать». Кто-то из спрашивавших поинтересовался, «как одеты были?» — на что Партин ответил: «они все были в штанах».

По приведенным темам разговоров можно себе представить, каким потоком цинизма разразился бы разговор этих павших людей, если бы там, на глиняной площадке, они раздевали свои жертвы донага. Относительно одежды говорили, что у Царя шинелька совсем «некудашная», говорили про пояса; говорили про штаны у всех; говорили, что тела были еще теплые. Но про наготу не было сказано ни слова, ни намека, и подслушивавший их разговор Кухтенко, передававший их подлинные выражения, не преминул бы рассказать и об этом, если к тому мог быть какой-нибудь повод.

Не служит ли это ясным указанием, что тела в райне Ганиной ямы не раздевали, как это предполагалось с самого начала, и что если в кострах оказались остатки обгорелых частей одежды, белья, корсетов, чулок, подвязок и прочего, то попали они в костер не отдельно от тел, а вместе с телами.

Костоусов, Ермаков, Леватных, Партин, Ваганов — все это люди, ушедшие в политику, революцию, большевизм, разбой, грабеж от работы, лишь бы только не работать, а добывать средства к существованию каким угодно другим способом, но более легким, тунеядным. Здоровый, полезный, честный труд им отвратителен. Это люди в прямом смысле анти-работники, паразиты. Если бы советская власть была действительным выразителем власти рабочего, крестьянина, власти труда, то первые, с кем она должна была бы бороться, первых, кого должна была бы уничтожать, это этих паразитов, анти-работников по натуре: костоусовых, ермаковых, партиных и т. д. Между тем в действительности происходит обратное: именно эти тунеядцы, паразиты являются наиболее нужными ей элементами; их она выставляет как истинных работников, как трудовой пролетариат. Не достаточная ли, не злая ли это насмешка над проповедуемым Лениным и Бронштейном социализмом?

Что же эти паразиты—благодарны ли по крайней мере советской власти за дарованные им привилегии? Верны ли они ей? Нет. Они легко покидают ее, как скоро она им надоедает. Никакой внутренне-прочной связи между властью

и ее «народом» нет. Павлу Медведеву показалось, что его мало оценили за активное участие в Цареубийстве, и он ушел от них; Ермакову не понравилось, что надумали ставить преграды его неудержимому зверству, и он тоже ушел; Сакович, продавши свою душу, испугался того черта, с которым совершил сделку, и тоже захотел удрать. Исполнители и народ признают советскую власть постольку, поскольку она предоставляет им право, в значении физических элементов этого закона, т. е. оперируя почти исключительно на низменных импульсах человеческой натуры и массы.

И тот же Костоусов, беседуя с друзьями в коммунистическом клубе, подтверждает эту ограниченность власти советских главарей и вместе с тем оказывает следствию неоценимую услугу, протягивая одну из соломинок для достижения истины в темных событиях, совершенных Исааком Голощекиным в районе Ганиной ямы.

«Второй день приходится возиться» — со злобой и площадной руганью замечает он по адресу власти, заставившей его работать и налагавшей таким образом на него обязанности, тогда как он желает пользоваться только физическим правом. И поясняет: «вчера хоронили, а сегодня перехоранивали».

Вчера — это 17 июля, сегодня — 18 июля и ночь на 19 июля. Вчера эти паразиты делали одно дело, а сегодня власть над ними, Исаак Голощекин, заставил их делать другое дело. Ясно Костоусов недоволен уже этой властью, но следствию это его недовольство говорит: вчера скрывали тела убитых членов Царской Семьи одним способом, а сегодня заставили скрывать другим способом.

Когда в подготовительный период к розыскам тел следствие собирало материалы по различным предположениям, то почти во всех рассказах фигурировало одно и то же положение: в каждой версии отмечалось всегда два действия по сокрытию тел — «сначала похоронили за Екатеринбургом 2-м, а потом перевезли к станции Богдановичи»; «сначала вырыли одну яму, фальшивую, для отвода глаз, а рядом вырыли уже настоящую, в которой и похоронили, залив всех цементом»; «сначала побросали всех в одну яму, а затем развезли по разным местам»; «сначала побросали всех в шахту, а потом вынули и потопили в болотах», и т. п. Костоусов дал довольно определенную нить к объяснению причины двойственности действий во всех этих разных версиях: очевидно, частности беседы друзей в саду коммунистического клуба не могли тогда же остаться полной тайной и, передаваясь из уст в уста, разошлись по городу и его пригородам и послужили основанием для возникновения всех этих слухов и пересудов. Для следствия же во всем этом имела особое значение довольно прочно установившаяся двойственность работ, несомненно произведенных при сокрытии тел, почему и Соколов обратил исключительное внимание на сбор сведений, возможно подробнее освещавших события, имевшие место в Коптяковскому лесу 17 и 18 июля.

«Выехали мы с сыном из деревни перед рассветом 17-го числа, — рассказывает жительница Коптяков, — и только проехали Четырех Братьев, как со стороны города налетел на нас конным Ваганов, Верх-Исетский большевик, выхватил револьвер, заругался и кричит: — «Поворачивай сейчас назад, не то застрелю». Я испугалась, а сынишка стал заворачивать и еще обернулся назад, так Ваганов опять на него налетел. Потом уже сын сказывал, что по дороге со стороны города на нас ехали человек 6 конных красноармейцев, а за ними шло что-то большое, грузное, но воз ли, аль автомобиль, не разглядел, далеко еще было да темновато».

Это Ермаков с Костоусовым везли на грузовике Люханова Царские тела к Ганиной яме.

«На другой день ничего такого не было», говорит сын сторожа будки № 184. «Днем я не видал ничего особенного; я говорю про день (17 июля) после этой ночи, когда через переезд грузовой автомобиль прошел, про который мать сказывала. Только видал я, что днем проехали по дороге из города к Коптякам какие-то двое верхами. Эти проехали и назад вернулись на город в этот же день. Несколько часов прошло, пока они вернулись. Других же никого на Коптяки в этот день не пропускали».

Тихо было 17 июля в районе Ганиной ямы. Слышали тоже повернутые обратно коптяковские крестьяне 2—3 взрыва ручных гранат после того, как им объяснили красноармейцы, что «не приказано пускать потому, что стрельба будет», но больше никакой стрельбы не было. Ермаков, Костоусов и прочая компания спокойно делали свое дело, скрывая тела. Ни на автомобилях, ни в экипажах, по-видимому, никто из главарей преступления к ним в этот день не приезжал. Поздно ночью на 18 июля, покончив со своим делом, пришли они поболтать в первый раз в коммунистический клуб.

Совершенно другую физиономию имел день 18 июля и ночь на 19-е. Такого оживления, такого движения автомобилей, экипажей, конных жители переездов и разъезда никогда у себя не видели. Около 9 часов утра мимо будки № 184 прошел в Коптяковский лес один грузовой автомобиль с запасом бензина и большой бочкой керосина, пудов на 10—12. Через несколько часов прошел другой грузовик туда же; на нем были 2 или 3 железных бочки, но с чем — неизвестно. Приблизительно в это же время туда же, в Коптяковский лес, приехала пролетка, на которой Янкель Юровский и Никулин привезли несколько лопат и порядочное количество серной кислоты: один ящик в 2 пуда 31 фунт и еще три баллона. Эта кислота была получена секретарем еврея Войкова(7) — Зиминым, по-видимому, из магазина «Русское Общество», и доставлена на квар-

тиру еврея Войкова. Отсюда какой-то мужчина с черной бородкой, приехавший верхом, пересел в коробок и, забрав кислоту, поехал к дому Ипатьева. Из последнего вышли Янкель Юровский и Никулин, сели в коробок и отправились в лес.

Во второй половине дня на легковом автомобиле в Коптяковский лес приехал Исаак Голощекин с двумя спутниками. Автомобиль остался у будки № 184, а пассажиры ушли по Коптяковской дороге пешком. Часа через три спутники Исаака Голощекина, оставив его самого в лесу, вернулись к автомобилю и уехали в город в Американскую гостиницу, а рано утром 19 июля снова приехали в лес за Исааком Голощекиным и окончательно вернулись в город около 9 часов утра. Таким образом, Исаак Голощекин оставался в лесу приблизительно с 5—6 часов дня 18 июля до 7—8 часов утра 19 июля. Утром же 19 июля из Коптяковского леса прошел в город с испорченным задним левым колесом грузовик, на котором возили к Ганиной яме тела членов Царской Семьи, а за ним шли 4—5 коробков, везших какие-то бочки. На грузовике было четыре человека, и один из них — Петр Ермаков.

Совокупность всех этих сведений указывает на то, что первоначально, в период времени от раннего утра 17 июля до глубокой ночи на 18 июля, работы по сокрытию тел проводились компанией Ермакова, и, как выразился Костоусов, они тогда «хоронили». Но затем, по причинам, оставшимся невыясненными, Исаак Голощекин решил «перехоронить» тела, и в период времени между 6 часами вечера 18 июля и 5 часами утра 19 июля он сам лично принял на себя руководство работами по новому сокрытию тел, причем для этих вторых работ по «перехораниванию» было использовано пудов 10 керосина, пудов 9 серной кислоты и какая-то жидкость в трех железных бочках, которые увезли обратно в город на коробках. <...>

«Мы вашего Николку и всех там пожгли», — бахвалились пьяные ермаковские красноармейцы перед Коптяковскими крестьянами, удирая из Екатеринбурга на Тагил.

Приговоренный к смертной казни Антон Валек за три часа до смерти показывал Соколову, что на основании разговоров с бывшими главарями советской власти в Екатеринбурге он вынес впечатление, что «всех сожгли».

Николай Котегов, сидя в тюрьме, слышал будто бы разговор между двумя какими-то людьми, служившими охранниками у Исаака Голощекина, причем один из них сопровождал Исаака в его поездке в Москву после убийства Царской Семьи и подслушал, как Исаак Голощекин рассказывал своим спутникам, что бывшего Государя сожгли.

Когда в конце июня 1918 года Исаак Голощекин приезжал к Янкелю Свердлову, то в Москве <...> распространились упорные слухи, что где-то и кем-то убит бывший Государь Император. В действительности же тогда погиб Великий Князь Михаил Александрович. В отношении же бывшего царя слух был несколько преждевременным. Когда теперь, после убийства всей Царской Семьи, Исаак Голощекин опять приехал к Янкелю Свердлову и привез какие-то три тяжелые ящика, то в городе распространилась молва, что Исаак Голощекин привез в бочках заспиртованные головы всех членов Царской Семьи. Агентура передавала, что какой-то секретаришка из совнаркома, особенно настроенный к скорейшему переселению за границу, потирал руки и весело заключал: «Ну теперь жизнь обеспечена; поедем в Америку и будем там демонстрировать в кинематографах головы Романовых».

Что же было действительностью теперь?

Ясно, что Исаак Голощекин остался неудовлетворенным работой 17 июля Ермакова и его компании, а может быть, получил соответственные указания свыше, только 18 июля он едет сам в Коптяковский лес руководить новым сокрытием тел, и для этого способа привозят в лес 10 пудов керосина, 9 пудов серной кислоты и еще три железных с чем-то бочки.

После того как Исаак Голощекин свершил свое таинственное сокрытие тел, железные бочки увезли назад в город на коробках, а через несколько дней люди другого лагеря нашли в районе Ганиной ямы кострищи, нашли несколько порубленных драгоценных вещей, принадлежавших Царской Семье, нашли часть их нательных образков, нашли остатки их обгорелой одежды, белья и обуви, и нашли несколько обгоревших «осколков» от чьих-то крупных костей.

Вот краткий перечень материала, собранного следственным производством по третьему предположению, легшего в основание работ по раскопкам и исследованию в районе Ганиной ямы, в целях освещения вопроса, сжег ли Исаак Голощекин тела членов Царской Семьи или нет?

Изучение в этом направлении требовало очень постепенных и осторожных работ: розысками в августе 1918 года костры и пепел с них были раскиданы; небольшой, но важнейший участок местности между старой березой, шахтой № 7, глиняной площадкой и шурфом № 3 притоптан, частью разрыт, а местами и срыт. Сама шахта № 7, хотя и исследовалась, но неосторожно, поверхностно, только в целях отыскания в ней тел, причем малый колодезь шахты совершенно не был осмотрен. Если Исаак Голощекин сжигал тела, если пользовался при этом керосином, кислотой, то в районе Ганиной ямы легко могли остаться следы этих действий, сохранившиеся даже и теперь, но затоптанными, примятыми, розыск которых требовал очень детального исследования поверхности и осторожных раскопок.

Вследствие этого работы были распределены на три группы: обследование всего района внутреннего кольца охраны; разработка и исследование шахты

№ 7 и специальное изучение и исследование поверхности местности в пределах, примыкавших к глиняной площадке. Работы эти начались 23 мая, но к началу откачки воды из шахты можно бы было приступить только с 12 июня, так как исследование поверхности не допускало присутствия вблизи шахты большого числа людей, почему разработка шахты и была начата позже.

Детальное изучение всего района Ганиной ямы дало следующие существенные указания:

А) У ямы, в которую сорвался грузовик, везший тела членов Царской Семьи к глиняной площадке, как уже упоминалось, был небольшой костер. При исследовании его в нем найдены остатки обгорелых дощечек, какие употребляются для хороших укупорочных ящиков. Необгоревшие концы этих дощечек и земля под ними носили странные следы ожогов, происходящих не от огня. Эти дощечки и земля были посланы на экспертизу, которая определила вполне положительно, что как дощечки, так и земля из-под них подвергались действию кислоты. Очевидно, что эти дощечки принадлежали тому ящику, в котором была привезена в лес серная кислота; последняя была, по-видимому, в плохом сосуде, пропускавшем кислоту, которая попала на доски ящика. Об этом говорил еще сынишка садовника при доме еврея Войкова, что когда ящик был доставлен во двор дома, то кучер пробовал переставить его на другой экипаж, но кислотой обжег себе штаны. Во всяком случае устанавливалось вполне прочно, что кислота, которую 18 июля привезли в Коптяковский лес, была доставлена до места сокрытия Исааком Голощекиным тел.

Б) В подтверждение этого лесничие, которым были предъявлены найденные дощечки, показали, что такие же точно находились ими на глиняной площадке, у шахты № 7, когда они здесь были еще в июле 1918 года. Отсюда становилось вполне понятным, как нахождение у шахты кусков новой укупорочной веревки, так и то, что она разрезалась или перерубалась: ящик с кислотой привезли к самой глиняной площадке, где находились и тела, здесь, чтобы не перевертывать ящика при развязке, веревку разрубили и ящик раскололи и, как сухим деревом, пользовались для растопки костров.

Следовательно, использование Исааком Голощекиным кислоты при сокрытии тел можно считать почти вероятным. В каких целях она была использована, пока остается неопределенным, так как следствие не успело произвести необходимой медицинской экспертизы. Пусть господа врачи ответят: способствует ли серная кислота уничтожению тела при сжигании на огне или она могла иметь другое применение?

В) Найденные на «полянке врачей» листки медицинского справочника, которым мог пользоваться только врач, указывают, что операция сокрытия тел требовала присутствия врача. Помощь его могла быть нужна или при обращении работавших с кислотой, или при каких-нибудь особых хирургических манипуляциях над телами. Палец, найденный в шахте, был безусловно отделен хирургически, совершенно чисто, по фаланге второго сустава. Осколки обгорелых костей, если таковые принадлежали телам Августейших Мучеников, имели определенные следы порубки их, как и некоторые предметы драгоценностей, которые были зашиты в костюмах и лифчиках Великих Княжен. Вся эта дикая операция порубки тел для большего удобства при сжигании, конечно, не требовала присутствия врача. Но если предварительно действительно отделялись головы у несчастных жертв Исаака Голощекина, если в таинственных трех железных бочках, увезенных потом назад в город на коробках, был спирт для заливки отделенных голов, то для этой операции нужен был именно врач.

Г) Вне района, непосредственно окружавшего глиняную площадку, нигде вещей или предметов, принадлежавших членам Царской Семьи, не находилось. Равно нигде больше в районе разработок не было каких-нибудь следов преступников, как только в пределах от ямы, куда завалился автомобиль, до Ганиной ямы включительно, причем все следы концентрировались и сгущались к полянке и примыкавшим к ней глиняной площадке, шахте № 7, костру у Старой березы и шурфу № 3. Дальше в окрестностях находились кое-какие предметы и следы людей, но все они, по изучении их, по опросе и предъявлении разным свидетелям и экспертам, никакого отношения к данному делу не имели.

Вся работа Исаака Голощекина 18 июля сосредоточилась у глиняной площадки, и за пределы полянки не выходила. Особого шума при этой работе не было; не было и такого движения повозок, какое должно было бы быть, если, например, подвозили бы землю. В лесу, недалеко от рудника, жили хуторяне; они ничего резкого, шумного не слыхали. Один из них, под вечер 18 июля, подползал саженей на 20 к Коптяковской дороге, так что первая свертка уже оставалась влево от него. От него до рудника по прямой линии было двести саженей; на дороге стоял часовой красноармеец с винтовкой; было тихо и никакого шума со стороны рудника не доносилось. Был ли дым над лесом — он не заметил, уже темнело.

Д) Покончив свою работу, Исаак Голощекин приказал разбросать костер; разбросали только один, тот самый, который был у шахты № 7. Костра у старой березы не разбрасывали; он был разрушен розысками в августе 1918 года. По-видимому, первому костру придавали больше значения; может, потому, что он был на совершенно открытом месте, а в рассчеты Исаака Голощекина не входило обнаруживать свою работу на глиняной площадке; может быть, и потому, что на этом костре сжигались тела тех, которых даже пепла боялись

Исаак Голощекин и Янкель Свердлов.

Разбрасывая костер, работавшие разбросали из него угли, обгорелые и необгорелые остатки разных предметов по разным направлениям вокруг глиняной площадки, примерно на площади круга радиуса шагов в 30 от центра глиняной площадки. Часть вещей и углей сваливалась в воронку шурфа № 3, часть в котлован влево от шахты № 7, часть за глиняную площадку, в имевшийся там довольно густой кустарник. В воронке шурфа № 3 нашлись головешки от костра; некоторые были до 2—3 вершков в диаметре. Следовательно, огонь разводился сильный, продолжительного действия, такого свойства, который не понадобился бы, если сжигать хотели только одежду, белье и обувь. Кроме того нахождение здесь остатков костра указывало, что если воронкой пользовались для сокрытия тел, то жгли костер и разбрасывали его уже после того, как надобность в воронке миновала. Иначе говоря, если тела не жглись вместе с одеждой и бельем, то схоронены они должны были быть совершенно раздетыми, даже без чулок.

На откосе котлована, ближайшем к шахте № 7, нашелся вязанный Государыней Императрицей шнурок от мешочка, найденного раньше вместе с разбитой иконкой, на котором он носился на шее. Шнурок был перерезан или перерублен, что могло произойти или при желании лишить тело всяких наружных признаков опознания при погребении в земле, или при отделении головы от тела для сохранения головы в спирту.

Между корнями кустарника росшего позади глиняной площадки, нашлось еще три больших осколка обгоревших крупных костей, там же с ними оказались совершенно обуглившиеся, легко рассыпавшиеся куски сгоревшей обуви, две железные планки от корсетов и железный обруч от фуражки. Экспертизы костей еще не было. Эксперт врач выразился так: «Что же касается костей, то я не исключаю возможности принадлежности всех до единой из этих костей человеку. Определенный ответ на этот вопрос может дать только профессор сравнительной анатомии. Вид же этих костей свидетельствует, что они рубились и подвергались действию какого-то адепта, но какого именно, сказать может только научное исследование». В то время произвести такое исследование было невозможно, но как-то трудно предположить, чтобы посторонние кости могли попасть в костер вместе с предметами одежды, белья и обуви членов Царской Семьи.

Это общее исследование всего района давало скорее больше данных за то, что Исаак Голощекин скрыл тела путем их сожжения на кострах, чем обстоятельств, опровергавших такое предположение. Всякий раз, когда хочется отказаться от этой идеи, приходится давать фактам несколько натянутые толкования вроде того, что хоронили тела в земле совершенно голыми. Как бы при этом ни были искажены тела, Исаак Голощекин отлично понимал, что для русского христианина имеет значение не нахождение физического целого тела, а самых незначительных остатков их, как священных реликвий Тех тел, душа которых бессмертна и не может быть разрушена Исааком Голощекиным или другим подобным ему изувером из еврейского народа.

Паровая машина Верх-Исетского завода оказалась неисправной, и пока ее чинили, откачка воды из шахты № 7 производилась при помощи двух сильных ручных насосов. Работы начались 12 июня, и к 25 июня вода была удалена. Изучение шахты произвел сам следователь Соколов.

<...> Состояние обоих колодцев шахты № 7 абсолютно исключает всякую возможность нахождения где-либо в ней, или ее разработке, трупов Августейшей Семьи.

Это и надо было ожидать, так как ни размеры шахты, ни участие в сокрытии тел Исаака Голощекина не согласовались с идеей надежного сокрытия следов совершенного преступления. Только предвзятость мысли могла создать такое напряженное внимание к этой шахте и отвлечь в свое время внимание следственных властей и офицеров от дальнейшего изучения ближайшего района по свежим следам преступников.

При выборке засыпки, оказавшейся в малом колодце шахты, на глубине трех вершков от поверхности лежал труп маленькой собачки, принадлежавшей Великой Княжне Анастасии Николаевне. Собачку эту подарил Великой Княжне один раненый офицер, лежавший в госпитале имени Ее Высочества, причем она была так мала, что Великая Княжна возила ее или в рукаве костюма, или в муфте. Убийцы обнаружили собачку, вероятно, уже по привозе тел на глиняную площадку; это может быть показателем того, что в Ипатьевском доме после убийства тела не осматривались и не обшаривались или, если и осматривались, то очень поверхностно, что согласуется и с показаниями Медведева и Якимова. С другой стороны, наличие собачки при Великой Княжне свидетельствует, что Анастасия Николаевна, и соответственно, вероятно, и другие, была одета по-дорожному и, не расставаясь в дороге с собачкой, взяла ее с собой, сходя в комнату убийства. <...>

Что же сделал изувер Исаак Голощекин с телами своих жертв?

Пусть предлагаемый материал по розыску тел убитых членов Августейшей Семьи поможет каждому читающему составить себе окончательное заключение. Работавшая же комиссия, оценивая совокупность всех данных, определившихся следственным производством и опираясь на свойства, характер и сорт найденных при розысках предметов и вещей, пришла к следующим выводам:

Петр Ермаков и Александр Костоусов, получив от Исаака Голощекина поручение скрыть тела в районе Ганиной ямы, привезли их на грузовике Люханова к глиняной площадке, причем от ямы,

куда завалился грузовик, до площадки тела пришлось переносить на устроенных из подручного материала носилках. Об этом свидетельствуют оставшиеся пеньки от срезанных молодых березок и сосенок, оказавшихся вблизи ямы, палки с зачищенными концами, валявшиеся у шахты № 7, и кусок полотнища палатки или брезента, найденный там же, которым, вероятно, были прикрыты тела при перевозке и которым воспользовались для устройства временных носилок.

На глиняной площадке товарищи Ермакова обшарили карманы убитых и поверхностно осмотрели одежду. Портмоне и кошельки, бывшие, возможно, в карманах жертв, грабители, конечно, забрали себе; по крайней мере следов и остатков таковых в кострищах и в районе не оказалось. Предметы же, которые для них не представляли ценности (складная рамочка Государя Императора, флакончики с солями, пенсне Боткина), они зашвырнули далеко от площадки, где осматривались тела, в котлован влево от шахты № 7. Трудно сказать, какие из драгоценностей, зашитые в предметы одежды, были ими при этом осмотре обнаружены и взяты. Можно думать, что товарищи заметили только ценности, скрытые в наружных предметах костюмов и в шляпках: «поясок возьмешь, ан глядь, и там зашито», подслушал Кухтенков фразу одного из них.

Из опроса лиц, близких к Царской Семье по жизни в Тобольске, выяснилась следующая история с драгоценностями, принадлежавшими лично членам семьи. После того, как комиссар Яковлев увез в Екатеринбург Государя Императора, Государыню Императрицу и Великую Княжну Марию Николаевну, в Тобольске было получено от Государыни письмо, в котором она в условных словах предупреждала детей, чтобы при предстоящем им переезде в Екатеринбург они были осторожны с оставшимися у них драгоценностями. Поэтому дети решили зашить наиболее ценные вещи в различные предметы одежды, носившиеся ими в дороге. Так например, крупные бриллианты были зашиты в большие пуговицы синих дорожных костюмов; нитки жемчуга — в дорожных шляпах; разные более мелкие вещицы в лифчики, которые Великие Княжны одевали поверх корсетов. Так как при убийстве все члены Царской Семьи были одеты по-дорожному, то, очевидно, все то, что было зашито ими в Тобольске, должно было быть на них здесь, в районе Ганиной ямы. Убийцы не раздевали тел своих жертв, иначе они обнаружили бы все, что было на них спрятано; они удовольствовались только внешним осмотром.

После этого поверхностного обшаривания Ермаков с товарищами сбросили тела в воронку шурфа № 3 и засыпали их землей, обвалив для этого просто верхний гребень воронки, ближайший к глиняной площадке. Такой способ погребения в большинстве случаев применяли избегавшие работы российские сотрудники большевистских руководителей-палачей. Ермаковские деятели считали свою работу исполненной, и в ночь с 17-го на 18 июля явились в коммунистический рабочий клуб отдохнуть и поболтать.

Но или Исаак Голощекин сам не удовлетворился ермаковским способом сокрытия тел, или, что, пожалуй, вернее, он получил по этому поводу совершенно особые и исключительные указания от изуверских соплеменников из Москвы; во всяком случае 18 июля Исаак Голощекин решил произвести «перехоранивание» тел под своим личным руководством и лично им надуманным способом. Тела несчастных мучеников снова вытащили на глиняную площадку; туда же доставили бочку керосина, 9—10 пудов кислоты и три бочки, по-видимому, со спиртом.

Прежде всего Исаак Голощекин отделил у всех головы. Выше уже упоминалось о тех слухах, которые распространились в Москве в среде советских деятелей с приездом туда после убийства Исаака Голощекина и в связи с привозом им Янкелю Свердлову каких-то тяжелых, не по объему, трех ящиков. Что в этом отношении говорят исследования на месте? Прежде всего найденные кусочки шейных шнурков и цепочек носят следы порезов их, что могло произойти при отделении голов от тела режущим или рубящим оружием. Далее при операции отделения голов с тел скатились порядочные по величине и весу фарфоровые иконки; их швырнули далеко в траву котлована, влево от шахты № 7, и в костре они не были. Наконец, зубы горят хуже всего; между тем при всей тщательности розысков нигде, ни в кострах, ни в почве, ни в засыпке шахты **ни одного зуба не найдено.**

По мнению комиссии, головы членов Царской Семьи и убитых вместе с ними приближенных были заспиртованы в трех доставленных в лес железных бочках, упакованы в деревянные ящики и отвезены Исааком Голощекиным в Москву Янкелю Свердлову в качестве безусловного подтверждения, что указания изуверов центра в точности выполнены изуверами на месте (8).

По отделении голов для большего удобства сжигания, тела разрубались топорами на куски.

Тела рубились одетыми. Только таким изуверством над телами можно объяснить находку обожженных костей и драгоценностей со следами порубки, а драгоценные камни — раздробленными.

После этого тела обливались керосином, а возможно, и кислотой, и сжигались вместе с одеждой на двух кострах. Костер у шахты, по окончании операции, был раскидан; костер же у Старой березы не трогали. При детальном изучении вещей, найденных в районах того и другого костров, устанавливается следующая подробность: в районе костра Старой березы все найденные предметы относятся лишь к предметам одежды, и

при этом одежды более простого, дешевого качества. Все же остатки драгоценностей, вещей, принадлежавших собственно членам Царской Семьи и доктору Боткину, равно и остатки предметов одежды и белья лучшего и заграничного производства были найдены в районе разбросанного Исааком Голощекиным костра у шахты № 7 и на глиняной площадке. Отсюда можно сделать предположительный вывод, что тела Государя Императора, Государыни Императрицы, Наследника Цесаревича, Великих Княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии Николаевен и доктора Боткина были сожжены на костре у шахты, а на костре у старой березы сожгли тела Анны Демидовой, камердинера Труппа и повара Харитонова.

Исходя отсюда, осколки костей и остатки растопленного сала, найденные в шахте, в районе костра у шахты и на глиняной площадке, если экспертиза установит их безусловную принадлежность человеку, будут считаться единственными материальными реликвиями, оставшимися от мученически погибших за грехи людей бывшего Государя Императора Николая Александровича, бывшей Государыни Императрицы Александры Федоровны, бывшего Наследника Цесаревича Алексея Николаевича и Великих Княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии Николаевен.

КОММЕНТАРИИ

Михаил Константинович Дитерихс (1874—1937) — во время 1-й мир. войны показал себя выдающимся военачальником (разработал план Брусиловского наступления). В сент. 1917 г. назначен генерал-квартирмейстером, а в ноябре — нач. штаба Ставки. Не приняв большевистской власти, бежал на Украину, был нач. штаба Чехословацкого корпуса. В 1919 г. получил Сибирскую армию и стал командующим Восточным фронтом. В августе назначен Военным министром. Отстраненный Колчаком, Дитерихс жил в большой бедности в Харбине, одно время работая сапожником. Именно в эти годы им была написана кн. «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале» (т. 1—2, Владивосток, 1922; 2-е изд., Буэнос-Айрес, 1979), отрывок из которой мы печатаем. В июне 1922 г. Приморский земский собор избрал Дитерихса правителем и воеводой земской рати, однако уже осенью, после потери Спасска, он вместе с многочисленными беженцами и остатками белых частей ушел в Китай. До самой смерти (8.10.1937) Дитерихс был главой русской военной эмиграции на Дальнем Востоке. Перед кончиной Дитерихс велел было передать хранившуюся у него копию Царского дела Центральному управлению Русского Общевоинского Союза в Париже, но, узнав о похищении агентами НКВД главы РОВСа генерала Е. К. Миллера, раздумал. Вдова Дитерихса, Софья Эмильевна, передала материалы в «надежное место», в одну из западных стран, в которой они находятся и поныне.

Две другие копии дела принадлежали Н. А. Соколову (см. прим. 4) и *Роберту Вильтону* — в течение 17 лет бывшему корреспондентом лондонской газеты «Таймс» в России, где он получил образование. Вильтон превосходно знал страну, пользовался уважением в русских кругах и британском посольстве. В годы 1-й мир. войны корреспондент при русск. армии. За мужество и хладнокровие, выказанное в сражении под Барановичами в 1916 г., Вильтон в нарушение статута, по приказанию Николая II, был награжден солдатским орденом св. Георгия. Его попытка давать правдивую информацию об Октябрьской революции в России, особой сущности режима привели практически к бойкоту его корреспонденций в «Таймсе». Перебравшись в Сибирь, Вильтон стал постоянным спутником ген. Дитерихса, которого знал еще по 1-й мир. войне. Адмирал А. В. Колчак поручил ему заведовать фотолабораторией, изготовлявшей снимки для следствия по царскому делу. Книга Вильтона «Последние дни Романовых» до сих пор не утратила своего значения (на англ.— Лондон, 1920; на фр.—Париж, 1921; на русск.—Берлин, изд. «Град Китеж», 1923). Через 2 месяца после смерти Соколова, тоже во Франции и так же неожиданно, умер Вильтон. Ему не было и 50. Принадлежавшая ему прекрасная копия дела, содержавшая уникальные подробности, многочисленные фотографии и негативы, была продана его вдовой 16.6.1937 г. в Лондоне частному лицу, которое передало ее Хаутонской библиотеке Гарвардского университета (США), где она хранится до сих пор.

1. *Яков Михайлович (Янкель Хаимович) Юровский* (1878—1938) — внук раввина Полтавской губ. Ицки, сын сосланного в Сибирь уголовного преступника. Род. в г. Каинске Томской губ. Учился часовому делу, открыв в 1891 г. в Томске часовую мастерскую. Член РСДРП с 1905 г. В годы 1-й русск. революции участвовал в восстании в Лодзи, бежал в Германию, где из иудейства перешел в лютеранство. По возвращении жил в Екатеринодаре и Томске, где открыл часовой магазин. В 1912 г. выслан в Екатеринбург, открыл там фотографическое ателье. Товарищ Юровского по партии позднее вспоминал: «Фотографируя знатных людей, он оставлял себе негативы с точными данными о них. Когда он стал председателем ЧК, вся коллекция фотографий находилась у него на столе в доме Советов. Когда революционным трибуналом производились аресты по приказанию Мебиуса (начальника рев. штаба — *С. Ф.*), Юровский приносил свою коллекцию, отку-

да черпались сведения о многих арестованных» («Вече», Мюнхен, 1981, № 2, с. 80). С началом 1-й мир. войны Юровский, избежав призыва на фронт, поступил в местную фельдшерскую школу, после окончания которой пристроился в одном из екатеринбургских лазаретов. После Февр. революции избран в Екатеринбургский Совет, а после Октября назначен членом исполкома Уралоблсовета, зам. облкомиссара юстиции, членом коллегии (а с июля 1918 г.— зам председателя) Екатеринбургской ЧК. С 4.7.1918 г.— комендант ДОН (см. прим. 2). Лично участвовал в расстреле царской семьи и сокрытии следов преступления. В своей «Записке» Юровский приписал себе убийство Николая II («Огонек», 1989, № 21, с. 30). Г. П. Никулин свидетельствует, что Юровский убил государыню («Огонек», 1990, № 2, с. 27). Согласно же показаниям П. С. Медведева, Юровский 2—3 выстрелами добил цесаревича Алексея. Вскоре из Екатеринбурга Свердлову полетело донесение: «Вчера выехал к Вам курьер с интересующими Вас документами». Курьером был Юровский, еще с 1905 г. близкий Свердлову (Ленин называл Юровского «надежнейшим коммунистом»); «документами», которые он вез, по мнению следствия, были головы Романовых (см. прим. 8). После Екатеринбургского убийства назначен зав. Московской райЧК и членом коллегии МЧК. С 1919 г. председатель Екатеринбургской губЧК.

2. При большевиках — Дом особого назначения — ДОН. Получил название по владельцу (с нач. 1918 г.) — 50-летнему отставному капитану инженерных войск, крупному екатеринбургскому коммерсанту *Николаю Николаевичу Ипатьеву* (эмигрировал, умер в Праге 22.4.1923). До 1945 г. на доме висела памятная доска, а в доме функционировал музей, в котором были выставлены вещи расстрелянных. Снесен в одну из осенних ночей 1977 г. из-за нараставшего паломничества людей, начавшегося еще в 1960-х годах.

3. Одежда, украшения, предметы домашнего обихода, книги, иконы, вырезанные части пола и стен в 50 ящиках спецпоездом отправили во Владивосток. Дошло лишь 29 ящиков. 18.3.1920 г. их сдали капитану англ. крейсера «Кент». В Англии их передали сестре Николая II вел. кн. Ксении Александровне. Когда ящики вскрыли, оказалось, что большая часть содержимого похищена (*Тревин Дж.* Учитель Царевича. Лондон, 1975, с. 131). Английский МИД отказался способствовать вывозу в Европу вещественных доказательств и самого дела. Помочь согласился французский представитель ген. Жанен. 18.3.1920 г. Дитерихс, два его ординарца, Соколов и Жильяр, доставили в поезд генерала три тяжелых чемодана и ящик. Во Франции бывший Верховный главнокомандующий Русской армией вел. кн. Николай Николаевич (младший), отказавшись даже принять ген. Жанена и Соколова, распорядился передать дело председателю Совещания русских послов за границей М. Н. Гирсу, что и было исполнено в 1920 г. По одной из версий, хранившиеся в сейфе одного из парижских банков оригиналы дела по приказанию немецкой полиции во время оккупации были изъяты. С тех пор след их потерян. Что касается вещественных доказательств, то по одним данным в 1921 г. их передали родственникам Николая II, по другим—они вместе с документами изъяты немцами из сейфа. Два сундучка со снимками и негативами попали в частные руки. После 2-й мир. войны ими владел американский журналист Виктор Александров.

4. *Николай Алексеевич Соколов* (1882—1924), будучи в эмиграции в Европе, опираясь на финансовую поддержку кн. Н. Орлова и американского миллионера Генри Форда, допрашивал кн. Львова. Керенского, Милюкова, Гучкова и др. Побывал даже в Америке. Еще в Сибири все следственные материалы, по решению Соколова, изготавливались в 3-х экз., два из которых скреплялись следователем и передавались для хранения лицам, одобренным Колчаком. Весной 1922 г., забрав следственные материалы подлинного дела (см. прим. 3) у Гирса, Соколов изъял из него «главные документы», создав «идеальный дубликат подлинника». В 1921 г. комнату, в которой он жил во время поездки в Германию, ограбили, ряд документов исчез. И все же к апрелю 1922 г. к семи первоначальным томам его копии прибавилось еще столько же. В жестокой нужде, испытывая противодействие «справа» и «слева», Соколову удалось завершить свою книгу «Убийство Царской Семьи» (Берлин, изд. «Слово», 1925; 2-е изд., Буэнос-Айрес, 1978; нем. изд., Берлин, 1925; фр. изд., Париж, 1924—1926). Умер Соколов еще до выхода книги: в 42 года он «внезапно скончался от разрыва сердца» 23.11.1924 г. Его нашли мертвым в саду дома во французском г. Сальбри. После смерти Соколова все его материалы хранились у вдовы. Позже ими владел эмигрант из России, проживавший в одной из западноевропейских стран. В апреле 1990 г. документы всплыли на лондонском аукционе фирмы «Сотби», которой их продала наследница «графа Орлова» (в Лондон тут же вылетел Г. Рябов). «Архив Соколова» остался нераспроданным. Возможно, на следующем аукционе он будет продан в розницу, что приведет к рассеиванию материалов.

5. *Филипп Исаевич (Шая-Ицков Исаакович Голощекин) (Голочекин)* (1876—1941)— род. в г. Невеле Витебской губ. Окончил 4 класса и зубоврачебную школу в Риге. В 1896 г. приказчик в писчебумажном магазине. В 1903 г. зубной техник, владелец зубоврачебного кабинета, вступил в РСДРП. Партийная кличка «Филипп». Делегат VI съезда РСДРП, вел работу в Перми и Екатеринбурге. С 1906 г. за большевистскую деятельность неоднократно арестовывался и ссылался, жил в эмиграции. «Падение царского режима,— писал современник,— застало его в Нарыме на Оби. Керенский сейчас же дал ему свободу, но это не воспрепятствовало фанатику-большевику немедленно после падения Керенского появиться в Екатеринбурге с горстью красногвардейцев и захватить там власть... Командиры ненавидели и очень боялись его, т. к. знали, что он быстро подписывает смертные приговоры» («Вече»,

1981, № 2, с. 80). Перед появлением на Урале Голощекин успел стать членом Петроградского ВРК, делегатом II съезда Советов, членом ВЦИК. С декабря 1917 г.— военный комиссар Уралоблсовета, с мая 1918 г.— окрвоенком, секретарь Уральского обкома партии, участвовал в деятельности Екатеринбургской ЧК. Решающая роль принадлежала ему в убийстве без суда архиепископа Пермского Андроника (4.6.1918) и архиепископа Гермогена (утоплен с др. пленниками в р. Туре 16.6.1918). Особенно близок Свердлову и Зиновьеву. Судьба царской семьи решалась во время поездки Голощекина в Москву (4—14.7.1918). Жил он в эти дни на квартире у Свердлова. 16.7.1918 г., по словам Юровского, «в шесть часов вечера Филипп Г-н (Голощекин) предписал привести приказ в исполнение». Руководил работами по сокрытию следов преступления на руднике. Раздавал царские вещи «по протекции» большевикам и их женам. Узнав о покушении на Ленина, вместе с товарищами по партии телеграфировал в Москву: «Массовый террор против политических виновников и вдохновителей покушения в тылу, беспощадный натиск и кровавая расправа над подлыми белогвардейскими бандами на фронтах...» Историк и журналист В. Л. Бурцев так характеризовал Голощекина: «Это типичный ленинец. В прошлом он организатор многих большевистских кружков и участник всевозможных экспроприаций. Это человек, которого кровь не остановит. Эта черта особенно заметна в его натуре: палач, жестокий, с некоторыми чертами дегенерации». Голощекин участник «военной оппозиции», работал в Туркестане, Башкирии, Москве (председатель Главруды), Костроме, Самаре. С 1925 г. в течение 7 лет 1-й секр. Казахского крайкома ВКП(б). Организатор коллективизации, массового террора, виновник голода, от которых в Казахстане погибло 1,5—2 млн. человек. Главный госарбитр при СНК СССР. Арестован перед войной. Расстрелян 28.10.1941 г. по указанию Берии у пос. Барбыш Куйбышевской обл. (Михайлов В. «Малый Октябрь» Голощекина//«Лит. Россия», 1990, № 18). Реабилитирован. Его именем названа станция в Кустанайской области (Голощекино).

Петр Захарович Ермаков (1884—1952) — в молодости писарь Верх-Исетского завода. Революционную деятельность начал в 1905 г. Боевик, участник эксов. В этот период сблизился с Голощекиным. Сосланный в 1911 г., освободился он только после Февр. революции. После Октября организовал на Верх-Исетском заводе отряд для изъятия земель и имущества крупных землевладельцев и подавления крестьянских восстаний, руководителей которых убивал лично. Верх-Исетский военный комиссар. Принимал непосредственное участие в убийстве царской семьи. Видимо, не случайно ему поручили сокрытие трупов. Еще в 1907 г. по заданию партии Ермаков убил полицейского агента, а голову отрезал («Лит. Россия», 21.9.1990, с. 18). Приписывал себе убийство Николая II («Огонек», 1990, № 22, с. 26). По показаниям бойца внутренней охраны ДОН А. А. Стрекотина (1891—1918), Ермаков докалывал оставшихся в живых в подвале дома штыком. Работал в ВЧК, ОГПУ, НКВД вплоть до середины 1930-х гг., когда вышел на пенсию. Имя Ермакова носит одна из улиц Свердловска.

6. *Александр Георгиевич (Григорьевич) Белобородов* (1891—9.2.1938) — сын рабочего Александровского завода под Соликамском, работал на Уральских заводах конторщиком и электромонтером. В 1905—1907 гг. мальчик на посылках у большевиков. Член РСДРП с 1907 г. После ареста в 1908 г. сидел в тюрьме 4 года. Близок Свердлову, любимец Троцкого. С янв. 1918 г. предисполкома Уралоблсовета (до янв. 1919 г.). Исследователь Н. Росс пишет: «Есть основания утверждать, что Белобородов сыграл в Екатеринбургских событиях видную, но не столь ответственную роль. Его выставляли на первый план как *истинного русского рабочего,* настоящего пролетария-революционера». (Тактика, как видим, вполне ленинская. В известном письме «т. Молотову для членов Политбюро» 19.3.1922 г., направленном против Русской Православной Церкви, Ленин подчеркивал: «Официально с какими бы то ни было мероприятиями должен выступать только тов. Калинин,— никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий».—«Наш современник», 1990, № 4). Однако биография Белобородова нуждается в уточнении. По свидетельству бывшего австрийского пленного, в описываемое время члена исполкома Уралоблсовета И. Л. Майера, «Белобородов родился в 1880 г. Его отец Исидор Вайсбарт торговал мехами. Сам он получил коммерческое образование и долгое время служил бухгалтером на сибирских лесопильных заводах графа Шувалова. В течение многих лет тайно состоял в коммунистической партии и предоставил убежище Троцкому во время его бегства из ссылки. Это дало ему пост политического руководителя всей Уральской областью. Человек неповоротливый, с характером, привыкшим подчиняться: во всех своих решениях он ожидал указаний из Москвы» («Вече», 1981, № 2, с. 80). Позже Белобородов зам. начальника Политуправления РВС Республики, организатор трудармий, в 1920—1921 гг.— член ЦК, в 1921—1927 гг. наркомвнудел РСФСР. Весной 1919 г., когда на Дону вспыхнуло Вешенское восстание, он внушал: «Основное правило при расправе с контрреволюционерами: захваченных не судят, а с ними производят массовую расправу...» В 1920 г., будучи прокурором, по сфабрикованному делу комкора Б. М. Думенко (1888—1920), требовал смертной казни. Об уровне нравственности и этике этого большевика в бытность его в нач. 1921 г. членом РВС 9-й и Кавказской трудовой армий пишет очевидец: «Жил он в Ростове как большой барин. Для него был отведен наилучший дом. Как эпикуреец, познавший все прелести буржуазного существования, он не отказывал себе ни в каких благах богатой жизни. У него на дому постоянно подавалось и вино, и шампанское, и свежая икра. О Лукулловских пирах, которые устраивались им, ходили легенды по городу. Про казнь царской семьи он любил говорить, но при этом подчеркивал, что лично он ни-

кого из семьи не убивал (*Терне А.* В царстве Ленина. Очерки современной жизни в РСФСР. Берлин, 1922, с. 28—29). В 1927 г. Белобородова, как троцкиста, исключили из партии, в 1930-м восстановили. Находился на хозяйственной работе. Репрессирован. Реабилитирован.

Сергей Егорович Чуцкаев (Чудскаев) (1876—1946) — член исполкома Уралоблсовета, участвовал в работе Екатеринбургской ЧК (вместе с Голощекиным и Юровским входил в состав чрезвычайной семерки). Соратник Свердлова, боевик. В последние годы председатель Комитета по устройству трудящихся евреев. Репрессирован.

7. *Петр (Пинхус) Лазаревич Войков (Вайнер)* (1888—1927) — род. в Керчи в семье фельдшера. В 1903 г. вступил в Крыму в объединенную РСДРП (по некоторым данным, в 1907—1917 гг.— меньшевик). Как участник теракта, в 1907 г. бежал в Швейцарию, где оставался вплоть до Февральской революции, занимаясь изучением математики, физики, анатомии, естественных наук, в т. ч. химии. В Швейцарии сблизился с Троцким, Свердловым и *Г. И. Сафаровым-Вольдиным* (1891—1942) — впоследствии одним из 5 членов президиума исполкома Уралоблсовета. В Россию вернулся в апреле 1917 г. через Германию вместе с Лениным в числе 28 будущих вожаков революции в «пломбированном вагоне» (см.: *Мельгунов С. П.* Золотой немецкий ключ большевиков. Париж, 1940; *Берберова Н.* Железная женщина. Нью-Йорк, 1982). Послан Свердловым в Екатеринбург, где с января 1918 г. являлся членом исполкома Уралоблсовета, областным комиссаром продовольствия Бывший член Екатеринбургской коллегии ЧК И. Родзинский в 1960-х гг. показал, что письма за подписью «Офицер», которые получала царская семья в доме Ипатьева, с провокационной целью составлял на французском Войков («Огонек», 1990, № 2, с. 27). Знания, полученные в Женевском университете, пригодились и позже. Как представитель совдепа, он присутствовал при расстреле, а затем, как химик, занялся уничтожением трупов при помощи керосина и серной кислоты (подпись Войкова стоит под документом 17.7.1918 г. о выдаче 182 кг серной кислоты). Возможно, пригодились и его знания анатомии (см. прим. 8). «Когда мы вошли туда,— пишет, имея в виду подвал ДОНа, член исполкома Уралоблсовета И. Л. Майер,— Войков внимательно рассматривал расстрелянных, переворачивал их на спину. С руки царицы он снял золотой обручик, который она постоянно носила («Вече», 1981, № 2, с. 76). И это был не единственный «сувенир». В канун 1927 г., подвыпив, Войков рассказал служащему полпредства СССР в Варшаве Г. З. Беседовскому (впоследствии невозвращенцу) о Екатеринбургском убийстве, «держа в руке перстень с рубином, который он снял с руки убитой императрицы» (*Беседовский Г. З.* На путях к Термидору. Париж, 1930). С 1920 г. работал в системе Внешторга, с 1924 г.— полпред СССР в Польше. 7.7.1927 г. убит на Варшавском вокзале 19-летним Б. С. Ковердой (1908—1987), сыном учителя народной школы, внуком крестьянина. Именем Войкова названа одна из станций Московского метрополитена.

8. Русский журналист-эмигрант Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874—1943) утверждал, что в июле 1918 г. Юровский и Ермаков предъявили президиуму ВЦИК головы убитых Императора и Императрицы (*Василевский И. М. <Не-Буква>*. Что они пишут? Пг., 1923, с. 29). Другой русский эмигрант — генерал Ю. Лариков подтверждает: «существует документ, подписанный Лениным, Троцким, Зиновьевым, Бухариным, Дзержинским, Каменевым и Петерсом и датированный июлем 1918 г., о получении головы Императора и ее опознании» (*Ушкуйник В.* Памятка русскому человеку Б. м. и г., с. 31). В. Демин уточняет датировку документа: 27 июля 1918 г. («Царь-колокол», М., 1990, № 2, с. 16). Небезызвестный иеромонах Иллиодор (Труфанов) рассказал в 1934 г. на страницах выходившей в Румынии газеты «Наша речь» о том, как в 1919 г. видел в Кремле заспиртованную голову Николая II («Неделя», 1990, № 26, с. 10).

«Года два назад,— сообщает журналист В. Родиков,— историк Н. Борисов поведал мне о том, что удалось ему вычитать во время одной из своих командировок. Был он тогда в Праге, работал в Славянской библиотеке. В минуты отдыха листал эмигрантские журналы. И, кажется в «Новом журнале», наткнулся на странное признание. Кто его сделал, он не помнит — тема к его исследованиям не относилась,— просто прочитал и пожал плечами. Повествование вел знакомый Куйбышева, сбежавший впоследствии за границу. И якобы Валериан Владимирович поведал ему однажды, что сосуд с заспиртованной головой императора хранился в Кремле вплоть до 1924 года в одном из сейфов. Наткнулись на него случайно, открыли, и, Бог ты мой, голова при усах и бороде. Создали комиссию (по описи документов и бумаг, оставшихся после смерти Ленина в его сейфе. — **С. Ф.**) для опознания, в которую входили Сталин и Куйбышев, потом вызвали арестантов из ОГПУ. И они, если верить рассказчику, замуровали голову где-то в Кремлевской стене». («Инженерная газета», 1990, № 7). В кн. С. П. Мельгунова «Судьба Императора Николая II после отречения» (Париж, 1951) упоминается статья, помещенная в 1929 г. в парижской газете «Русское время», ее автор со слов встретившегося с ним в Берлине в 1921 г. капитана Булыгина, помогавшего Соколову в ведении следствия, рассказал, что среди вещественных доказательств в Москву была доставлена в «кожаной сумке» «стеклянная колба, наполненная красной жидкостью, в которой находилась голова казненного Николая». Годом раньше в немецкой газете «Франкфуртский курьер» (20.11.1928) появился рассказ пастора Курта Руфенбургера об «очевидце» сожжения в июле 1918 г. большевиками «ужасного груза».

Вступительная статья, публикация и комментарии С. ФОМИНА.

Русская мысль

И. А. ИЛЬИН

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ

КНИГА ТИХИХ СОЗЕРЦАНИЙ

О СТРАДАНИИ

Как только ты почувствуешь себя страдающим, телесно или душевно, — вспомни сейчас же, что ты не один страдаешь и что всякое страдание — всякое без исключения — имеет некий высший смысл. И тотчас же придет облегчение.

Ты страдаешь не один, потому что страдает вокруг тебя весь мир. Надо только открыть свое сердце и внимательно присмотреться, и ты увидишь, что приобщен страданию вселенной. Все страдает и мучается — то в беззвучной тишине, скрывая свою боль, замалчивая свою скорбь, преодолевая страдание про себя, то в открытых муках, которых никто и ничто не может утолить... Томясь в любви, вздыхая от неудовлетворенности, стеная в самом наслаждении, влачась в борении, в грусти и тоске, — живет вся земная тварь, начиная с ее первого беспомощного деяния — рождения из материнского лона и кончая ее последним земным деянием, таинственным уходом «на покой». Так страдает и человек вместе со всею остальною тварью — как член мирового организма, как дитя природы. Страданий нам не избежать; в этом наша судьба и с нею мы должны примириться. Естественно желать, чтобы они были не слишком велики. Но надо учиться страдать **достойно и одухотворенно**. В этом великая тайна жизни; в этом — искусство земного бытия.

Наше страдание возникает из свойственного нам, людям, способа жизни, который дан нам раз навсегда и которого мы изменить не можем. Как только в нас просыпается самосознание, мы убеждаемся в нашей **самостоятельности и беспомощности**. Человек есть творение, призванное к «бытию о себе», к самодеятельности и самоподдержанию; и в то же время он служит всей природе как бы пассивным средством или «проходным двором». С одной стороны, природа печется о нем как о своем детище, растит его, строит, присутствует в нем, наслаждается им, как существом, единственным в своем роде; а с другой стороны, она населяет его такими противоположностями, она развертывает в нем такой хаос, она предается в нем таким болезням, как если бы она не знала ни целесообразности, ни пощады. Так, я призван и предопределен к самостоятельному действию; но горе мне, если я уверую в свою полную самостоятельность и попробую предаться ей до конца... Я свободный дух; но этот свободный дух всю жизнь остается подчиненным всем необходимостям природы и ограниченным всеми невозможностями естества... Во мне живет некая обобщающая сила сознания, охватывающая миры и разверзающая мне необъятные духовные горизонты; но эта сила всю свою жизнь замурована в стенах своего единичного тела, она слабеет от голода, изнемогает в переутомлении и иссякает при бессоннице... Я обособлен от других людей, замкнут в своей душе и в своем теле и обречен вести одинокую жизнь, ибо никто не может ни впустить в себя, ни вместить в своих пределах; и в то же время другие люди терзают мне душу и могут растерзать мое тело, как если бы я был их игрушкой или рабом... Таков я; таковы мы все, каждый из нас в отдельности — однодневные цветы, распустившиеся для страдания, мгновенные и беззащитные вспышки вселенского огня...

> «Жизнь ваша, смертные, сколь
> тленный дар богов:
> Цветете миг один, живые исполины...
> (Илличевский).

Окончание Начало в № 6 за 1991 год.

Да и все ли «цветем»? Мы, вечные «пациенты» природы, покорные «приемники» мировых волн, чувствительнейшие органы сверхприроды... Что-то царственное и рабствующее; нечто от Бога и коечто от червя (Державин). Так много. И так мало. Свободные — и связанные. Цель мира — и жертва вселенной. Порабощенные ангелы. Создания божественного художества, отданные бактериям в пищу и чающие могильного тлена...

Вот почему нас так часто и так легко настигает страдание; вот почему мы должны примириться с ним. Чем утонченнее человек, чем чувствительнее его сердце, чем отзывчивее его совесть, чем сильнее его творческое воображение, чем впечатлительнее его наблюдательность, чем глубже его дух, — тем более он обречен страданию, тем чаще его будут посещать в жизни боль, грусть и горечь. Но мы часто забываем об этом, мы не думаем о нашей общей судьбе и совсем не постигаем, что лучшие люди страдают больше всех... И когда на нас самих изливается поток лишений, муки, скорби и уныния, когда, как ныне, весь мир погружается в страдание и содрогается во всех своих сочленениях, вздыхая, стеная и взывая о помощи, мы пугаемся, изумляемся и протестуем, считая все это «неожиданным», «незаслуженным» и «бессмысленным»...

Только медленно и постепенно догадываемся мы, что все мы, люди, подчинены этому закону земной твари. Сначала в нас просыпается смутное ощущение, глухое предчувствие того, что на земле гораздо больше страдания, чем нам казалось в нашем детском чаянии. Это предчувствие тревожит нас; мы пытаемся проверить наше ощущение — и постепенно, путями неописуемыми, в почти не поддающихся оформлению интуициях, мы убеждаемся в том, что нам действительно открылся закон существования, общий способ жизни, владеющий всей земной тварью, что нет бытия без страдания, что всякое земное создание по самому естеству своему призвано страдать и обречено скорби. А человек с нежным сердцем знает не только это: он знает еще, что мы не только страдаем все вместе и сообща, но что мы все еще мучаем друг друга — то нечаянно, то нарочно, то в беспечности, то от жестокости, то страстью, то холодом, то в роковом скрещении жизненных путей... И может быть, именно Достоевский, этот мастер терзающего сердца, был призван пролить свет на эту земную трагедию...

Такова жизнь, такова действительность... И могло ли бы это быть иначе?.. И были ли бы мы правы, если бы стали желать и требовать иного?..

Представим себе на миг иную, обратную картину мира. Вообразим, что земная тварь освобождена от всякого страдания, до конца и навсегда; что некий могучий голос сказал ей: «Делай, тварь, все, что хочешь. Ты свободна от страдания. Отныне ты не будешь знать неудовлетворения. Никакая телесная боль не поразит тебя. Ни грусть, ни тоска, ни душевное раздвоение тебя не посетят. Духовная тревога не коснется твоей души. Отныне ты приговорена к вечному и всестороннему довольству. Иди и живи».

Тогда началась бы новая, небывалая эпоха в истории человечества...

Вообразим, что человек потерял навсегда дар страдания. Ничто не угрожает ему неудовлетворенностью: одновременно с голодом и жаждою, этими первичными источниками труда и страдания, прекратилось и всякое недовольство собою, людьми и миром. Чувство несовершенства угасло навсегда и угасило вместе с собой и волю к совершенству. Самый призрак возможных лишений, доселе ведший человека вперед, отпал. Телесная боль, предупреждавшая человека об опасности для здоровья и будившая его приспособляемость, изобретательность и любознательность, — отнята у него. Все противоестественности оказались огражденными и безнаказанными. Все уродства и мерзости жизни стали безразличными для нового человека. Исчезло моральное негодование, возникавшее прежде от прикосновения к злой воле. Смолкли навсегда тягостные укоры совести. Прекратилась навсегда духовная жажда, уводившая человека в пустыню, к великому аскезу... Все всем довольны; все всем нравится; все всему предаются — без меры и выбора. Все живут неразборчивым, первобытным сладострастием — даже не страстным, ибо страсть мучительна, даже не интенсивным, ибо интенсивность возможна лишь там, где силы не растрачены, но скопились от воздержания...

Как описать те ужасные, опустошительные последствия, которые обрушились бы на человечество, обреченное на всестороннюю сытость?..

В мире возникла бы новая, отвратительная порода «человеко-образных» — порода безразборчивых наслажденцев, пребывающих на самом низком душевном уровне... Это были бы неунывающие лентяи; ничем не заинтересованные безответственные лодыри, без темперамента, без огня, без подъема и без полета; ничего и никого не любящие — ибо любовь есть прежде всего чувство лишенности и голода. Это были бы аморальные, безвкусные идиоты, самодовольные тупицы, развратные Лемуры. Вообразите их недифференцированные, невыразительные лица, эти плоские, низкие лбы, эти мертвые, мелкодонные гляделки вместо бывших глаз и очей, эти бессмысленно чмокающие рты... Слышите их нечленораздельную речь, это безразличное бормотание вечной пресыщенности, этот невеселый смех идиотов? Страшно подумать об этой погибшей духовности, об этой тупой порочности, об этом унижении ничего-не-вытесняющих полулюдей, которые прокляты Богом и обречены на то, чтобы не ведать страдания...

И когда представляешь себе эту картину, то видишь и чувствуешь, что дару-

ет нам **дар страдания**; и хочется молить всех небесных и земных врачей, чтобы они ради Господа не лишали людей этого дара. Ибо без страдания — нам всем, и нашему достоинству, и нашему духу, и нашей культуре пришел бы скорый и трагический конец.

Вот что оно нам дарует... Какою глубиною светятся глаза страдающего человека! Как будто бы расступились стены, закрывавшие его дух, и разошлись туманы, застилавшие его сокровенную личность... Как значительно, как тонко и благородно слагаются черты лица у долго и достойно страдавшего человека! Как элементарна, как непривлекательна улыбка, если она совсем не таит в себе хотя бы прошлого страдания! Какая воспитательная и очистительная сила присуща духовно осмысленному страданию! Ибо страдание **пробуждает дух человека**, ведет его, образует, оформляет, очищает и облагораживает... Духовная дифференциация, отбор лучшего и всяческое совершенствование были бы невозможны на земле без страдания. Из него родится вдохновение. В нем закаляется стойкость, мужество, самообладание и сила характера. Без страдания нет ни истинной любви, ни истинного счастья. И тот, кто хочет научиться свободе, тот должен преодолеть страдание.

И мы хотели бы от этого отречься? И мы согласились бы потерять все это?.. И ради чего?

Гегель сказал однажды, что все великое на земле создано страстью. Еще большее, еще глубочайшее надо сказать о страдании: мы обязаны ему **всем** — и творчески великим, и творчески малым. Ибо если бы человек не страдал, то он не пробудился бы к творческому созерцанию, к молитве и духовному оформлению. Страдание есть как бы **соль жизни**; нельзя, чтобы соль утрачивала свою силу. И более того: страдание есть **стремящая сила жизни**; главный источник человеческого творчества; тонкий и зоркий учитель меры; верный страж и мудрый советник; строгий призыв к облагорожению и совершенствованию; ангел-хранитель, ограждающий человека от пошлости и от снижения. Там, где этот ангел начинает говорить, водворяется благоговейная тишина, ибо он взывает к ответственности и очищению жизни; люди опомнились и обратились; он говорит об отпадении и дисгармонии, об исцелении, просветлении и о доступном нам блаженстве...

Страдающий человек вступает на путь очищения, самоосвобождения и возврата в родное лоно, — знает он о том или не знает. Его влечет в великое лоно гармонии; его душа ищет нового способа жизни, нового созерцания, нового синтеза, созвучия в многозвучии. Он ищет пути, ведущего через катарсис к дивному равновесию, задуманному лично для него Творцом. Его зовет к себе сокровенная, творческая мудрость мира, чтобы овладеть им и исцелить его. Простой народ знает эту истину и выражает ее словами «посещение Божие»... Человек, которому послано страдание, должен чувствовать себя не «обреченным» и не «проклятым», но «взысканным», «посещенным» и «призванным»: ему **позволено страдать, дабы очиститься**. И все евангельские исцеления свидетельствуют о том с великой ясностью.

Таков смысл всякого страдания. Нерешенной остается лишь судьба самого страдающего человека: достигнет ли он очищения и гармонии в **настоящей земной жизни**, или же эти дары дадутся ему через утрату его земного телесного облика...

Страдание свидетельствует о расхождении, о диссонансе между страдающим человеком и богосозданной природой: оно **выражает** это отпадение человека от природы, означая в то же время **начало** его возвращения и исцеления. Страдание есть таинственное самоцеление человека, его тела и души: это он сам борется за обновление внутреннего строя и лада своей жизни, он работает над своим преобразованием, он ищет «возвращения». Избавление уже началось, оно уже в ходу; и человек должен прислушиваться к этому таинственному процессу, приспособляться к нему, содействовать ему. Можно было бы сказать: «Человек, помоги своему страданию, чтобы оно верно разрешило свою задачу. Ибо оно может прекратиться только тогда, когда оно справится со своей задачей и достигнет своей цели»...

Поэтому мы не должны уклоняться от нашего страдания, спасаясь от него бегством или обманывая себя. Мы должны стать лицом к нему, выслушать его голос, понять и осмыслить его жалобу и пойти ему навстречу. Это значит — принять его, как естественно и духовно-осмысленное явление. Ибо оно обращается к нам **из целесообразности самого мира**: то, что в нас страдает, есть, так сказать, сама мировая субстанция, которая стремится творчески восстановить в нас свое жизненное равновесие. И если человек повинуется своему страданию и идет к нему навстречу, то он скоро убеждается в том, что в нем самом раскрываются целые запасы жизненной силы, которые ввязываются в борьбу и стремятся устранить причину страдания.

Вот почему человеку не следует бояться своего страдания. Он должен помнить, что бремя страдания состоит по крайней мере на одну треть, а иногда и на добрую половину из **страха перед страданием**.

Но не подобает делать человеку и обратное, т. е. нарочно или произвольно вызывать в себе страдание. Не правы те, которые мучают себя, занимаются самобичеванием или оскопляют себя. Они не правы потому, что на них возлагается некая претрудная **внутренняя** борьба, борьба духа со страстью и вместе с этим душевно-духовное страдание в этой борьбе; а они не хотят принять этой борьбы, перелагают это страдание в материальную плоть, подменяют его телесною бо-

лью, заменяют его органическим увечьем. Градусник показывает естественную температуру; ошибочно и нелепо дышать на градусник, взгоняя ртуть кверху или прикладывая к нему кусок льда, чтобы ртуть опустилась. Голод, жажда и любовная тоска, вдохновение и творчество — должны приходить **сами**, в силу естества тела, души и духа; возбуждающие, одурманивающие или экстатические яды — противоестественны и фальшивы. Ошибочно противопоставлять природе — искажающий ее произвол. Все хорошее и верное возникает как бы по собственному почину, естественно, гармонически, как говорил Аристотель (...), «через себя самого». Мы призваны творчески жить и творчески любить; спокойно, мужественно и в мудром послушании принимать приближающееся страдание; и — главное — творчески преображать и просветлять страдание, уже настигшее нас. Ибо страдание есть не только плата за исцеление, но призыв к преображению жизни, к просветлению души, оно есть путь, ведущий к совершенствованию, лестница духовного очищения. Человек должен нести свое страдание спокойно и уверенно. ибо в последнем и глубочайшем измерении страдает в нас, с нами и о нас само Божественное начало. И в этом последний и высший смысл нашего страдания, о котором нам говорят евангельские исцеления.

Вот почему страдающий человек не должен терять терпение или тем более отчаиваться. Наоборот, он должен **творчески** воспринимать и преодолевать свое страдание. Если ему дана **телесная боль**, то он должен найти органические ошибки своей жизни и попытаться устранить их; и в то же время он должен настолько повысить и углубить свою духовную жизнь, чтобы ее интенсивность и ее горение отвлекли запасы жизненной энергии от телесной боли Не следует предаваться телесной боли, пребывать в ней, все время прислушиваться к ней и бояться ее: это означало бы признать ее победу, отдаться ей и превратиться в стенающую тварь. Надо противопоставить плотской боли — духовную сосредоточенность и **внимать** не телесной муке, а духовным содержаниям. А если кто-нибудь скажет, что он не умеет этого или не может вступить на этот путь, то пусть он крепко помолится об этом умении и об этой силе и попытается идти по этому пути. Нет человека, который умел бы **все** и знал бы **все искусства**: а искусство одухотворять страдание есть одно из высших. Конечно, для победы над своей немощью нужна некоторая высшая мощь; но эта высшая мощь может быть вымолена, выработана и приобретена. И каждая попытка, каждое усилие в этом направлении будут вознаграждены сверх чаяния сторицею.

Но если человеку послано **душевное страдание**, — а оно может быть гораздо тяжелее и мучительнее всякой телесной муки, — то он должен прежде всего не бежать от него, а принять его, т. е. найти в жизни время и досуг для того, чтобы **предаться** ему. Он должен стать лицом к лицу со своим душевным страданием и приучить себя созерцать его сущность и его причину. Надо научиться свободно и спокойно смотреть в глубь своей страдающей души, с молитвою в сердце и с твердой уверенностью в грядущей победе. Оку духа постепенно откроется первопричина страдания, и эту первопричину надо назвать по имени и выговорить перед собою во внутренних словах, и произнести эти правдивые слова перед лицом Божиим во внутренней очистительной молитве. Чтобы одолеть свою душевную муку, надо прежде всего не бояться ее и никогда не отчаиваться; надо не предаваться ее страхам и капризам, ее своеволию и ее тайным наслаждениям (ибо душевная мука всегда прикрывает собою больные наслаждения инстинкта); надо всегда обращаться к ней творчески, с властным словом зовущего господина; надо всегда говорить с ней от лица духа и научиться прекращать ее приказом, уходом от нее и творческим напряжением; надо рассеивать ее туманы, ее обманы и наваждения и превращать ее силу в радость божественным содержанием жизни. Это путь из тьмы к просветлению и преображению души. Вот почему сокровенный смысл душевного страдания можно было бы сравнить с младенцем, дремлющим во чреве матери и чающим своего рождения; ибо страдание есть не проклятие, а благословение; в нем скрыт некий духовный заряд, зачаток новых постижений и достижений — некое богатство, борющееся за свое осуществление.

Если же человеком овладевает **духовное томление**, то ему надлежит очистить его в молитве, чтобы оно преобразилось в истинную и чистую **мировую скорбь** и тем возвело страдающего к Богу: ибо мировая скорбь есть в последнем и глубочайшем измерении — скорбь самого Бога, а скорбь вместе с Ним есть «благое иго» и «легкое бремя» (Мтф. 11, 30).

Вот почему апостол Иаков пишет: «Злостраждет ли кто из вас? пусть молится» (Иак. 5, 13). Ибо молитва есть не что иное, как воздыхание духа к Богу, то «неизреченное воздыхание», которым «Сам Дух ходатайствует за нас» (Римл. 8, 26). Молитва есть зов о помощи, направленный к Тому, Кто зовет меня к себе через мое страдание: она становится творческим началом творческого преобразования и просветления моего существа.

Но совершить все это никто не может «за меня» или «вместо меня», страдающего: все это мое личное дело, мое усилие, мой подъем, мой взлет, мое творческое преображение. Другой человек может помочь мне советом. Господь не может не помочь мне дарованием сил и света. Но совершить мое очищение и просветление должен я сам. Вот почему оно требует свободы и без свободы невозмож-

но. Свободное созерцание, свободная любовь, свободная молитва составляют самую сущность этой творческой мистерии, мистерии страдания. И именно этим определяется верный путь, ведущий к истинному счастью на земле.

О СМЕРТИ

Письмо первое

Дорогой мой. Ты хотел знать, что я думаю о смерти и о бессмертии, и я готов изложить тебе мое понимание. Я не выдумал его, а выстрадал и выносил его в течение долгого ряда лет. И теперь, когда опять пришло такое время, что смерть парит надо всеми нами и каждый из нас должен готовиться к уходу из земной жизни, я вновь пересмотрел мой опыт и мое видение, и расскажу тебе, к чему я пришел. В такие времена все чувствуют и предчувствуют наступление своего конца, и потому невольно возвращаются воображением и мыслью к проблеме смерти. При этом человек чувствует себя смущенным и подавленным, потому что он не знает, что же такое смерть на самом деле, и еще потому, что никто из нас не может примириться со своею смертью и *включить ее в свою жизнь*. Такие времена обычно называются «тяжкими» и «страшными», а в действительности это времена духовного испытания и обновления, — суровые, но благотворные времена Божьего посещения.

Видишь ли, у меня всегда было такое ощущение, что в смерти есть нечто благостное, прощающее и исцеляющее. И вот почему.

Стóит мне только подумать о том, что вот эта моя земная особа, во всех отношениях несовершенная, наследственно обремененная, вечно болезненная, в сущности неудавшаяся ни природе, ни родителям, — сделалась бы *бессмертною*, — и меня охватывает подлинный ужас... Какая жалкая картина: самодовольная ограниченность, которая собирается не умирать, а *заполнить собою все времена*. Несовершенство, которое не подлежит ни исправлению, ни угашению... Бесконечный «огрех», вечный недотепа... Что-то вроде фальшивого аккорда, который будет звучать *всегда*... Или — несмываемое пятно земли и неба... Вижу эту приговоренную к неумиранию телесную и душевную ошибку природы — в виде моей особы, и думаю: а ведь законы природы будут действовать с прежней неумолимостью, и я буду становиться все старше и наверное все немощнее, все беспомощнее, страшнее и тупее — и так без конца. Какая претензия и какое несчастье! После этих видений я просыпаюсь, как от тяжелого сна — к благословенной действительности, к реально ожидающей меня смерти... Как хорошо, что она придет и поставит свою грань. Как это прекрасно, что она прекратит мою земную дисгармонию. Значит, эта мировая ошибка, носящая мое земное имя, может быть погашена или исправлена... А смерть придет, как избавительница и целительница. Милостиво укроет меня своим покровом. Даст мне прощение и отпуск. Откроет мне новые, лучшие возможности. А я приму от нее свободу и, ободренный ею, начну восхождение к высшей гармонии.

И вот это ожидание и эта уверенность даруют всей моей жизни — *меру и форму*. Слава Богу, все мое земное страстное кипение, эта бесконечная борьба с самим собою, с моими противниками и со слепым безразличием человеческой толпы, эта борьба, в которой я от времени до времени изнемогаю, доходя до муки и отчаяния, — все это не будет длиться вечно, не заполнит все Божие времена... Не вечно придется мне заживлять те раны, которые происходят от встречи моей немощи с непомерными заданиями жизни и мира. Придет час и «отрешит вола от плуга на последней борозде...» (Пушкин). Безмерная длительность отпадает, и моя жизнь получает *меру срока*, меру долга, меру в напряжении, меру плена и меру томления. Как это благостно... Моя жизнь приобретает *форму* —форму свершающего конца. Я знаю, я твердо знаю, что придет избавление, что откроется освобождающий исход и что мне надо к нему готовиться. И вот главное: мне надо постараться, чтобы мой земной конец стал не обрывом, а *завершением* всей моей жизни; все цели мои, все мои труды и творческие напряжения должны вести к этому завершению. Правда, я не знаю, когда и как наступит этот конец. Но и это — благо, ибо это понуждает меня быть всегда готовым ко всему, к отозванию и уходу. Одно ясно: меряя человеческой мерой, надо признать, что срок не слишком далек и что мне нельзя терять времени. Нельзя откладывать того, что должно быть сделано. Но зато есть много такого, что надо совсем отменить, устранить с дороги. Время мое ограничено, и никто не знает, каким сроком. А когда осмотришься, то видишь, что неизмеримое, чудесное богатство мира, — природы, человеческого общения и культуры, — все эти возможности созерцания и радости, все эти поводы духовного восприятия и духовной отдачи, все эти творческие зовы и задания — все это неисчерпаемо, ответственно, претрудно и обязывающе...

Таким образом смерть становится для меня оформляющим и осмысливающим *началом жизни*, не то призывом, не то советом. Как если бы старший друг, любящий и заботливый, сказал мне: «знаешь что, жизнь-то ведь коротка, а прекрасным возможностям — в любви, в служении, в созерцании и созидании —

нет числа; не лучше ли оставить без внимания все пошлое, жалкое и ничтожное и выбрать себе лучшее, подлинно лучшее, на самом деле прекрасное, чтобы не утратить божественных красот мира и жизни?..

Идея смерти как бы открывает мне глаза и вызывает во мне какой-то неутолимый голод, жажду истинного качества, волю к божественным содержаниям, решение выбирать и отбирать, верно, не ошибаясь и не обманываясь. Я постепенно учусь различать — что действительно хорошо и прекрасно перед лицом Божиим и что мне только кажется хорошим, а на самом деле лишь соблазняет, прельщает и разочаровывает. И проходя этот жизненный искус, я все более и более убеждаюсь, что в жизни есть многое множество содержаний, занятий и интересов, которыми не стоит жить или которые не стоят жизни; и, напротив, есть такие, которые раскрывают и осуществляют истинный смысл жизни. А смерть дает мне для всех этих различений и познаний — верный масштаб, истинный критерий.

Мне думается, что все мы уже переживали и еще переживем не раз нечто подобное: когда близится смерть, или когда по крайней мере тень смерти осеняет нас, то все содержания и ценности жизни как-то вдруг, словно сами по себе переоцениваются. Все то, что в тусклой повседневности, во время безопасного прозябания казалось нам стершимся, безразличным, почти обесценившимся, — вдруг раскрывает свои различия, показывает свое настоящее качество и находит себе верное место и истинный ранг. Око смерти глядит просто и строго; и не все в жизни выдерживает ее пристального взгляда. Все, что пошло, тотчас же обнаруживает свое ничтожество, наподобие того, как листы бумаги, охваченные огнем, вдруг вспыхивают ярким пламенем и сейчас же чернеют, распадаются и истлевают в пепел. Так что впоследствии даже не верится, что этот прах и тлен мог представляться важным и ценным. Но зато все истинно ценное, значительное и священное утверждается перед лицом смерти, победоносно выходит из огненного испытания и является в своем истинном сиянии и величии. Первое изобличается и разоблачается; второе оправдывается и подлинно освящается. И не то чтобы мы сами это производили; нет, это огненное испытание идет от смерти и осуществляется ее близким дыханием.

Бывают в человеческой жизни такие дни и минуты, когда человек внезапно видит смерть перед собой. Ужасные минуты. Благословенные дни. Тогда смерть, как некий Божий посол, судит нашу жизнь. И вся наша жизнь проносится перед нашим духовным взором, как на молниеносном параде. И все, что в ней было верного и благого, все, чем на самом деле стоит жить, — все утверждается, как подлинная реальность, все возносится в сиянии; а все, что было мелко, ложно и пошло, — все сокрушается и посрамляется. И тогда человек проклинает всю эту ложь и пошлость, и судит себя, как растратчика сил и глупого мота. Зато как он радуется всему верному и подлинному, и сам не понимает как это он мог жить доселе чем-нибудь иным. Он слышит, как в глубине его души все упущенное стонет и молит о восстановлении; и сам начинает мечтать о том, чтобы прошлая жизнь считалась прожитою «начерно» и чтобы была дана ему возможность прожить новую жизнь уже «набело». Мгновенно родятся планы новой, чудной жизни и тут же беззвучно произносятся клятвы верности ей, а к Богу восходят молитвы о даровании новых сроков и новых возможностей...

А когда опасность смерти проносится и вновь наступает тишина и спокойствие, тогда человек видит, что вся его жизнь была как бы разобрана и провеяна, и делает один из значительнейших выводов своей жизни: не все, чем мы живем, стоит того, чтобы мы отдавали ему свою жизнь. Только те жизненные содержания и акты полноценны, которые не боятся смерти и ее приближения, которые могут оправдаться и утвердиться перед ее лицом. Все, что стоит нашего выбора и предпочтения, нашей любви и служения даже и в предсмертный час, — все прекрасно и достойно. За что можно и должно отдать жизнь, то и надо любить, тому и надо служить. Жить стоит только тем, за что стоит бороться насмерть и умереть; все остальное малоценно или ничтожно. Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, великое мерило и страшный судия.

Вот как я созерцаю смерть, мой дорогой друг. Смерть не только благостна, она не только выручает нас из земной юдоли и снимает с нас непомерность мирового бремени. Она не только дарует нам жизненную форму и требует от нас художественного завершения. Она есть еще некая таинственная, от Бога нам данная, «мера всех вещей» или всех человеческих дел. Она нужна нам не только как узорешительница или как великая дверь для последнего ухода; она нужна нам прежде всего в самой жизни и для самой жизни. Ее облачная тень дается нам не для того, чтобы лишить нас света и радости или чтобы погасить в нашей душе охоту жить и вкус к жизни. Напротив, смерть воспитывает в нас этот вкус к жизни, сосредоточивая и облагораживая его; она учит нас не терять времени, хотеть лучшего, выбирать изо всего одно прекрасное, жить Божественным на земле, пока еще длится наша недолгая жизнь. Тень смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы шепчет нам: «опомнитесь, одумайтесь и живите в смертности бессмертным». Ее приближение делает наши слабые и близорукие глаза — зрячими и дальнозоркими. А ее окончательный

приход освобождает нас от бремени естества и от телесной индивидуации. Позволительно ли нам проклинать ее за все это и считать ее началом зла и мрака.

Я понимаю, что ее окончательность и непоправимость, ее таинственность и загадочность — могут внушать людям трепет. Но ведь поток жизни, в котором мы все пребываем, несет нам ежеминутно ту же непоправимость, ту же таинственность и непостигаемую сложность. Ведь каждый миг нашего земного пути невозвратим и, отгорая, уносится в какую-то пропасть; и эта бездна прошлого и надвигающаяся на нас бездна будущего не менее страшны, чем миг предстоящей нам смерти. Жизнь не менее таинственна, чем смерть; только мы закрываем себе глаза на это и привыкаем не видеть. А смерть, если ее верно увидеть и понять, есть не что иное, как особый и величественный акт личной жизни. И тому, кто ее верно увидит и постигнет, она откроется как новый друг, бережный, верный и мудрый.

О БЕССМЕРТИИ

Письмо второе

Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмертие личной души; и я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос, со всею прямотою и откровенностью, но помимо всякой богословской учености.

Скажу тебе по совести, что самая мысль об окончательном, бесследном исчезновении моей духовной личности кажется мне бессмысленной, слепорожденной и мертвой. Эту «возможность» я переживаю как нелепую и отпетую невозможность, которую даже обсуждать не стоит, ну приблизительно так, как если бы кто-нибудь начал рассуждать о темном свете, о бессильной силе или о небытии бытия. Есть люди, склонные к пустому, конструктивному мышлению: они не хотят исходить от реальностей, их прельщает стройность и последовательность мысли, беспочвенность им не страшна, а в истину они не верят. Им-то и надо предоставить оперировать с такими понятиями, как «смертность живого духа». Но присущее мне чувство реальности уклоняется от этого. Каждый человек, и в особенности каждый ученый исследователь, должен обладать неким верным чутьем, опытным в созерцании глазом, интуитивным ощущением предмета и его объективной природы, чтобы не поддаваться таким соблазнам и не тратить время на обсуждение пустых и отвлеченных возможностей, чтобы не гоняться за такими логическими призраками и не впадать в «последовательную», но мертвую схоластику. Нереальные возможности суть невозможности, праздные фикции. А тот, кто хочет говорить о реальных возможностях, тот обязан находить соответствующие реальности и держаться за них.

Вот почему я хотел бы установить, что о смерти нашей духовной личности может говорить только тот, кто или совсем лишен духовного опыта, или не желает пребывать в нем и опираться на него. Возможно, что при этом он исходит всецело из чувственного опыта естествознания, рассудочно переработанного и духовно не осмысленного, принимаемого им за единственно допустимый и верный опыт. Но возможно, что он исходит при этом и из буквенного понимания какой-нибудь философской или религиозной книги, в которой об этом «ничего не сказано» или же сказано как раз обратное. Но во всех этих случаях люди идут мимо настоящего первоисточника, мимо подлинного духовного опыта и настоящих духовных реальностей и судят о том, что от них скрыто.

Этот опытный источник, эту подлинную реальность каждый из нас должен пережить лично и самостоятельно, он должен носить их в самом себе для того, чтобы судить о них — из них. Если он лишен этого опыта, если он ему совершенно недоступен, то вряд ли окажется возможным дать ему сколько-нибудь наглядное представление о духе и его жизни, а «доказательство» станет уже совсем невозможным. Но если у него есть хотя бы слабое ощущение духа, как бы «горчичное зерно» этого опыта, или тлеющая искра, скрытая под пеплом повседневной жизни и способная дать пламя, то ему наверное можно будет показать все существенное и добиться взаимного понимания.

При всем этом я имею в виду живой опыт нашего не материального, не телесного и притом именно духовного бытия.

Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти. Страшно нам представить себе, что наше телесное естество распадется и предастся тлению. Страшно нам, что угаснет наше земное сознание и самосознание, прилепленное к нашему телу, связанное с ним, им ограниченное и в то же время обогащенное. Прекратится все мое «здешнее». Расстроится все мое земное душевно-телесное устройство. Что останется тогда от меня? Да и останется ли что-нибудь? Что сделается со мной? Куда я денусь? Что это за бесследное, таинственное исчезновение в вечном молчании? Вопрос встает за вопросом и остается без ответа. Тьма. Бездна. Конец. Больше никогда.

Есть, однако, ключ к этой томительной загадке, есть некий подступ к этой пугающей тайне. А именно: никто не может дать мне ответ на этот вопрос, только я сам, только я один могу сделать это, и притом через собственный внутренний опыт. В этом опыте я должен

пережить и увидеть мое собственное духовное естество и добыть себе очевидность моего духовного бессмертия. Пока я этого не совершу, всякий чужой ответ, как бы умно и изящно он ни был оформлен, будет мне не ясен, не убедителен, не окончателен; уже в силу одного того, что земной язык не имеет для этих обстояний верных слов и отчетливых представлений, а сверхземному языку я еще должен самостоятельно научиться, т. е. приобрести его, или (еще точнее) творчески создать его в себе, чтобы понимать его и владеть им. Если я, например, не разумею по-китайски, то, сколь бы живые свидетели ни рассказывали мне на китайском языке о китайских событиях, я останусь в недоумении, ничего не узнаю и ничего не пойму. Чтобы узреть сверхземное, надо реализовать и оформить в себе сверхземной способ жизни, из которого потом и возникает сверхземной язык... И все это — в пределах земной жизни.

Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти, потому что мы не умеем отрываться от земного, чувственно-телесного способа быть и мыслить, и, не умея, цепляемся за наше тело как за спасение. Мы принимаем его за наше «главное», за наше настоящее существо, а оно есть только Богоданная «дверь», вводящая нас во внешний, материальный мир со всей его бременящей грузностью и легчайшей красотою. И когда мы видим, что эта «дверь» отказывается служить нам и рассыпается в прах, когда мы думаем о том, что наше тело станет «безгласною, бездыханною» перстию, то мы в смятении готовы допустить, что это и есть наш сущий и бесследный конец...

Мы не можем и не должны презирать или тем более «отвергать» наше тело: ведь оно вводит нас в вещественный мир, полный разума и красоты: оно открывает нам все чудеса Богосозданной твари, всю значительность и чистоту, и величие материальной природы. Тело есть необходимое и естественное орудие нашего приобщения к Божьему миру, нашего участия в нем: и пока мы живы, оно должно оставаться в нашем свободном и здравом распоряжениие. Оно дается нам совсем не напрасно, ибо мир природы, в который оно нас вводит, есть таинственное и прикровенное воплощение мысли Божией, живой и художественчый символ Его мудрости, так что и мы сами становимся участниками этого воплощения и этого символа, его живою частью, его органическим явлением. Славно и дивно, что нам был открыт этот доступ... Но еще лучше, что он открывается нам на время и потом будет отнят и закрыт: ибо нам предстоит нечто более высокое, совершенное и утонченное.

Итак, несомненно, что наше тело входит в земной состав нашей личности. Но несомненно также, что оно не входит в состав нашего духовного бытия. И в этом мы должны убедиться еще при жизни. Мы должны научиться не переоценивать нашего тела и отводить ему подобающее место и надлежащий ранг в нашем существовании.

Человек способен не только к чувственно-телесному опыту. Ему доступен еще иной, не чувственный и все же предметный опыт; и мы должны вынашивать его, очищать его и предаваться ему. Нам дана способность извлекать себя из телесных ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим вниманием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных объемов и освобождать существенное ядро нашей личности от гнета и наваждения материи. Предаваясь этой способности и развивая ее в себе, мы постепенно открываем свое нетелесное бытие и утверждаем его как главное и существенное. Мы приобретаем нечувственный опыт, наполненный нечувственными содержаниями и удостоверяющий нас в бытии духовных законов и предметов. И первое, что нам открывается, — это наша собственная духовная личность.

Мое духовное Я открывается мне тогда, когда я убеждаюсь, что я есть творческая энергия, такая энергия, которая сама не материальна, но имеет призвание владеть своим телом как символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энергия имеет силу не служить своему земному телу, но господствовать над ним; она имеет власть отвлекаться от него и преодолевать его; она не признает его «мерою всех вещей». Эта творческая энергия живет ради других ценностей и служит другим целям. У нее другие критерии и мерила. У нее совершенно иные формы, иные законы жизни, иные пути и состояния, чем у тел или вообще у материи: это формы — духовной самостоятельности и свободы, это законы — духовного достоинства и ответственности, это пути — духовного очищения и самосовершенствования, это состояние бессмертия и богосыновства. Эта энергия, как таковая, есть изначально и существенно искра Божия; и человек призван к тому, чтобы принять и утвердить в себе эту Божию искру как свою подлинную и собственную сущность; человек должен предаться этой духовной искре, потерять себя в ней и тем самым найти себя вновь. Тогда он станет Божией искрой и сумеет разжечь ее в целое пламя, а себя превратить в несгорающую купину духа.

Но в действительной жизни дело совсем не обстоит так, что человек остается действенным и распадающимся, так что Божия искра горит в человеке сама по себе и человек живет ее силою, ее формами и содержаниями, а земное тело чадит само по себе, со всеми своими слабостями и необходимостями, во всей своей тварности и тленности. Нет, человек предназначен к единству и призван быть живою и творческою целокупностью. Мой дух, эта творческая искра Бога, призван к тому, чтобы пронизать мою душу и прожечь мое тело, превратить и

тело и душу в свое орудие и в свой символ, очистить их от мертвого бремени и художественно преобразить их. Каждому из нас дается своя искра, и эта искра хочет разгореться в нас и стать огненной купиной, пламя которой должно охватить всего человека и превратить его в Божие огнилище, в некий земной маяк Всевышнего. Итак, в этом жизненном развитии искра Божия очеловечивается и индивидуализируется, а человек оправдывает свое существование и освящается в своем творчестве. Человек становится художественным созданием Божиим, личным светильником Его Света, индивидуальным иероглифом Духа Божия... И тот, кто хоть несколько касался этой тайны единения, этого художества Божия в человеческой душе, тот сразу поймет и примет слово преподобного Серафима Саровского, сказавшего: «Бог заботится о каждом из нас так, как если бы он был у Него единственным».

И вдруг я слышу, что эта олицетворенная искра Божия, это художественное создание Его Духа, в котором Божия благодать и личная свобода человека сочетались и объединились в творческой мистерии, — имеет погибнуть, распасться, исчезнуть в ничтожестве, пустоте и смерти... И к этой праздной выдумке слепых людей я должен отнестись серьезно и принять ее на веру? Эти духовно слепые люди свято веруют в закон сохранения земной материи и физической энергии: это для них достоверно, в этом они не сомневаются. Но именно потому, что дух не есть ни материя, ни физическая сила, он, по их мнению, или вовсе не существует, или же бесследно погибнет... Дух — это свободнейшая и интенсивнейшая энергия, призванная к созерцанию невидимого, к восприятию сверхчувственного, к обхождению с бессмертными содержаниями, постигающая именно в этом обхождении свое собственное призвание и бессмертие... Какая жалкая попытка перенести самую бренную мысль земного мира — мысль о смерти — в сферу нетленных и непреходящих обстояний духа...

Есть великий Художник, который создал внешний мир во всех его великолепных законах и строгих необходимостях и который доныне продолжает создавать мир человеческих духов, во всей его дивной свободе и бессмертности. Мы — Его искры, или Его художественные создания, или Его дети. И именно в силу этого мы бессмертны. И наша земная смерть есть нечто иное, как наше сверхземное рождение. Правда, человеку лишь редко удается предоставить свою свободу целиком — Божьему пламени; лишь редко становится человек во всей своей свободе совершенным художественным созданием Духа. Но каждый человек имеет определенную ступень достижимого для него совершенства. Всю жизнь свою он созревает, восходя к этой ступени; всю свою жизнь он зреет к смерти. И земная смерть его наступает тогда, когда ему не дано подняться выше, когда ему нечего больше достигать, когда он созрел к смертному уходу.

Друг мой. Это было великим счастьем, что мне дано было узреть Божий мир, внять его голосу, воспринять его живое дыхание — хотя бы бегло, скудно и беспомощно... Я ведь всегда знал и помнил, что за этим, хотя бы кратко и поверхностно воспринятым мною великолепием, имеется еще бесконечное богатство красоты, величия и таинственной значительности, которого я не могу воспринять, которое для меня погибает. И все-таки — какое счастье, что мне довелось посетить этот Божий сад! Сколь благостно было это данное мне разрешение, как много получил мой дух от этого пребывания — от прелести этих цветов, от этих радостно-сияющих бабочек, от молчаливо молящихся гор, от благовествующих потоков, от тишины облаков, от ликования птиц, от всех земнородных существ. От моря и от звезд. От добрых и от злых людей, и в особенности от великих созерцателей, которые хвалили Творца словами и помыслами, в пении и в живописании, изображением и изучением, — или же прямоё молитвою. Какое незаслуженное богатство! Какая неисчерпаемая глубина! Поистине великие и неоплатные дары...

И это тоже было великим счастьем, что я не только мог видеть этот мир, но и участвовать в его жизни своею жизнью: что я мог сам дышать, любить и страдать, совершать поступки и делать ошибки, идти по пути очищения, верить и молиться; что я имел возможность испытать на самом себе законы мирового естества и осуществлять свою духовную свободу живыми решениями и делами; что мне было предоставлено жить и созревать к смерти...

А потом я буду отозван, так как если бы я созрел для этого отозвания и как если бы я оказался достоин приобщиться новому, ныне для меня невообразимому, сверхземному богатству, чтобы воспринять его неким новым, внутренним, непосредственно-интимным способом. Все, что я упустил и утратил, все, что я, как чувственно-ограниченное земное существо, не сумел воспринять и в чем я смутно чувствовал или блаженно предчувствовал невыразимое в словах дуновение моего Творца, — все это и еще иное, прекраснейшее, ожидает меня там, зовет меня туда, — все это откроется мне по-новому в неземных образах и видениях. Тогда я буду воспринимать сущее не как внешний мне предмет, но свободным и блаженным приобщением к его сущности: это будет творческое отождествление, в котором мой дух будет богатеть, не утрачивая личную форму, но совершенствуя ее. Мне еще надо все увидеть и постигнуть, оставаясь самим собою, все воспринять, чего меня лишала моя земная ограниченность, пережить ликуя все чудеса Божьего богатства, которые уже открылись мне или еще не открылись мне в предчувствиях, мечтах и созерцаниях моей земной жизни.

Мне предстоит долгое и блаженное восхождение к моему Творцу, к моему

Отцу, Спасителю и Утешителю — в дивовании и в молитве, в очищении и благодарении, в возрастании и утверждении. И в этом истинный смысл моего бессмертия, ибо всякое несовершенство неугодно Богу и в творении Его неуместно...

Так я понимаю бессмертие человеческого духа.

О ТЕРПЕНИИ

У каждого из нас бывает иногда чувство, что его силы приходят к концу, что он «больше не может»: «жизнь так тягостна, так унизительна и ужасна, что переносить ее дальше нельзя»... Но время идет, оно приносит нам новые тягости и новые опасности, — и мы выносим их, мы справляемся с ними, не примиряясь, и сами не знаем потом, как мы могли пережить и перенести все это. Иллюзия «невозможности» рассеивается при приближении к событиям, душа черпает откуда-то новые силы, и мы живем дальше, от времени до времени снова впадая в ту же иллюзию. Это понятно: наш взор близорук и поле нашего зрения невелико: мы сами не обозреваем тех сил, которые нам даны, и недооцениваем их. Мы не знаем, что мы гораздо сильнее, чем это нам кажется; что у нас есть дивный источник, которого мы не бережем; дивная способность, которую мы не укрепляем; великая сила личной и национальной жизни, без которой не возникла бы и не удержалась бы никакая культура... Я разумею — духовное терпение.

Что сталось бы с нами, людьми, если бы не духовное терпение? Как справились бы мы с нашей жизнью и с нашими страданиями? Стоит только окинуть взглядом историю России за тысячу лет, и сам собою встает вопрос: как мог русский народ справиться с этими несчастиями, с этими лишениями, опасностями, болезнями, с этими испытаниями, войнами и уничтожениями? Сколь велика была его выносливость, его упорство, его верность и преданность — его великое искусство не падать духом, стоять до конца, строить на развалинах и возрождаться из пепла... И если мы, поздние потомки великих русских «стоятелей» и «терпеливцев», утратили это искусство, то мы должны найти его вновь и восстановить его в себе, иначе ни России, ни русской культуре больше не бывать...

Все время, пока длится жизнь, она несет нам свое «да» и свое «нет» — силу и бессилие, здоровье и болезнь, успех и неуспех, радость и горе, наслаждение и отвращение. И вот мы должны как можно раньше научиться спокойно принимать «отказы» жизни, бодро смотреть в глаза надвигающемуся «нет» и приветливо встречать неприветливую «изнанку» земного бытия. Пусть приближается низина жизни, пусть грозит нежеланное, неудобное, отвратительное или страшное; мы не должны помышлять о бегстве или проклинать свою судьбу; напротив, надо думать о том, как одолеть беду и как победить врага.

Сначала это бывает и трудно и страшно, особенно в детстве. Как тяжела ребенку первая утрата... Как томительны первые лишения... И первая боль нам кажется «незаслуженной», и первое наказание — чрезмерно суровым... Как легко детской душе заболеть завистью, ненавистью, ожесточением или чувством собственного ничтожества... Но все эти жизненные ущербы необходимы и полезны для воспитания характера. Нам надо научиться выносить их, не сдаваясь, и привыкнуть к этому. Нам надо одолеть в себе малодушие и не предаваться растерянности. Надо воспитать в себе жизненного стратега: спокойно предвидеть наступление «неприятеля» и твердо встречать его — с уверенностью в собственной победе, ибо победа без этой уверенности невозможна. Искусство духовной победы состоит в том, чтобы извлекать из борьбы с лишениями, опасностями и испытаниями все новую и новую силу духа. Испытание посылается нам именно для творческого преодоления, для очищения, для углубления, закаления и укрепления. И если счастье может избаловать и изнежить человека так, что он станет слабее самого себя, то несчастье является школой терпения и научает человека быть сильнее себя самого.

Итак, человеку необходима прежде всего способность переносить лишения и неприятности, идти навстречу всякой неудовлетворенности и безрадостности и мужественно встречать страдание «с поднятым забралом». Это нелегко, этому надо учиться и научиться. Это удается далеко не каждому и не всегда. Человеку естественно томиться в безрадостной жизни; а бывает так, что его окружает непроглядная тьма, без всякой перспективы и без малейшей искры надежды. Тогда конь нашего инстинкта может подняться на дыбы и обнаружить неукротимое упрямство. Ибо человеку свойственно искать утех и развлечений; его тянет к чувственному наслаждению, к сильным и острым ощущениям; он «сластолюбив» от природы и сам не замечает, как вожделения и страсти овладевают его душою. С этим восстанием естественного сластолюбия надо уметь справляться. Дело не в том, чтобы искоренить его в себе, — утеха нужна всякой твари, человеку нельзя прожить без радости. Дело в том, чтобы утехи нашей жизни не зависели от внешних обстоятельств — чтобы радость наша имела внутренние источники, чтобы мы умели видеть свет и там, где, по-видимому, непроглядная тьма. Бунт чувственного естества должен быть преодолен, иначе человеку грозит разложение личности. Он может быть отчасти укрощен силою воли; отчасти утешен новы-

ми, иными радостями; он может быть подвергнут молитвенному заклинанию; во всяком случае — утихомирен.

Жизнь человеческая покоится вообще на управлении самим собою и на самовоспитании; искусство жить есть искусство воспитывать себя самого к Божественному. Чем страшнее, чем безрадостнее жизнь, тем важнее находить совершенное в мире и бескорыстно наслаждаться им. Во всякой траве есть цветы, во всяком облаке есть красота, во всяком человеке есть своя глубина; о вечной тайне молчит природа, об отрешенности и бесконечности говорит звездное небо. Отвлечение, утешение с радостью ждут нас повсюду, нужно только умение воспринимать их и предаваться им. Иногда достаточно просто поднять глаза к небу или взглянуть на вдохновенно писанную икону. И нет такого безрадостного тупика в жизни, которого нельзя было бы проломить молитвою, терпением или юмором.

Иногда с человеком надо обходиться, как с ребенком. Если, например, ребенку надоедает списывать с книги, то надо подарить ему красивую тетрадь для собирания чудесных стихотворений — и радость дела рассеет скуку упражнения. Если ребенку кажется томительным повторять пройденное и вечно начинать сначала, надо научить его пускать мыльные пузыри: пусть радуется на мимолетную и обреченную красоту мгновения, пусть добьется мастерства в этой невинной игре и поймет значение усилия и упражнения для творчества... Надо упражняться в терпении, надо ввести в жизнь состязание в терпеливости; надо научиться терпеть легко. И пусть каждый из наших детей испытает все радости и разочарования, всю гордость и чувство власти, которые дает нам школа терпения.

И что бы ни пришлось человеку переносить — грохот машины или головную боль, голод или страх, одиночество или тоску, — он не должен пугаться спозаранку, ибо застращенная душа теряет власть над собою. Страх возникает от воображения опасности или гибели; а храбрость есть власть над своей фантазией. Не надо предвосхищать возможное зло и осуществлять его в воображении; кто это делает, тот заранее готовит в своей жизни место для него, помогает ему и обессиливает себя. Он заранее застращивает и разочаровывает свое терпение и становится его предателем.

Терпение есть своего рода доверие к себе и к своим силам. Оно есть душевная неустрашимость, спокойствие, равновесие, присутствие духа. Оно есть способность достойно и спокойно предвидеть возможное зло жизни и, не преувеличивая его, крепить свою собственную силу: «пусть наступит неизбежное, я готов считаться и бороться с ним, и выдержки у меня хватит»... Мы не должны бояться за свое терпение и пугать его этим, а малодушное словечко «я не выдержу» — совсем не должно появляться в нашей душе. Терпение требует от нас доверия к себе и усиливается тогда вдвое и втрое...

А если час пришел, если испытание началось и терпение впряглось своею силою, тогда важнее всего не сомневаться в нем и в его выдержке. Лучше всего не думать вовсе — ни о том, что терпишь, ни о своем терпении; если же думаешь о своем терпении, то думай с полным доверием к его неисчерпаемости. Стоит сказать себе: «ах, я так страдаю» или «я не могу больше», — и сейчас же наступает ухудшение. Стоит только сосредоточиться на своем страдании, и оно тотчас же начинает расти и пухнуть, оно превращается в целое событие и заслоняет все горизонты духа. Кто начинает внимательно рассматривать свое терпение, тот пресекает его непосредственную и незаметную работу: он наблюдает за ним, подвергает его сомнению и обессиливает его этим. А как только терпение прекращается, так уже обнаруживается нетерпеливость: нежелание нести, бороться и страдать; отказ: протест, бессилие и отчаяние. А когда душу охватывает отчаяние, тогда человек готов на все и способен на все — от мелкого, унизительного компромисса до последней низости: дело его кончено и сам он погиб...

И что же тогда? Как быть и что делать? Тогда лучше дать отчаянию свободно излиться в слезах, рыданиях и жалобах; надо высказаться перед кем-нибудь, открыть свое сердце верному другу... Или еще лучше: надо излить свое отчаяние, свое бессилие, а может быть, и свое унижение в словах предельной искренности перед Отцом, ведающим все сокровенное, и просить у Него силы от Его Силы и утешения от Утешителя... Тогда поток отчаяния иссякнет, душа очистится, страдание осмыслится, и душа почувствует благодатную готовность терпеть до конца и до победы.

Но лучше не доводить себя до таких падений и срывов. Надо укреплять свое терпение, чтобы оно не истощалось. Для этого у человека есть два способа, два пути: юмор — в обращении к себе, и молитва — в обращении к Богу.

Юмор есть улыбка земной мудрости при виде стенающей твари. Земная мудрость меряет тварную жизнь мерою духа и видит ее ничтожество, ее претензию, ее слепоту, ее комизм. Эта улыбка должна родиться из самого страдания, она должна проснуться в тварном самосознании — и тогда она даст истинное облегчение. Тогда и само терпение улыбнется вместе с духом и с тварью — и вся душа человека объединится и укрепится для победы.

Молитва имеет способность увести человека из страдания, возвести его к Тому, Кто послал ему испытание и призвал его к терпению. Тогда терпение участвует в молитве; оно восходит к своему духовному первоисточнику и постигает свой высший смысл. Нигде нет столько благостного терпения, как у Бога, терпящего нас всех и наши заблуждения; и нигде нет такого сострадания к нашему страданию, как там, в небесах. Мир человеческий не одинок в своем страдании,

ибо Бог страдает с ним и о нем. И потому когда наше терпение заканчивает свою молитву, то оно чувствует себя как напившимся из божественного источника. Тогда оно постигает свою истинную силу и знает, что ему предстоит победа.

Так открывается нам смысл страдания и терпения. Мы должны не только принять и вынести посланное нам страдание, но и преодолеть его, т. е. добиться того, чтобы наш дух перестал зависеть от него; мало того, мы должны научиться мудрости у нашего страдания — мудрости естественной и мудрости духовной, оно должно пробудить в нас новые источники жизни и любви; оно должно осветить нам по-новому смысл жизни.

Терпение совсем не есть «пассивная слабость» или «тупая покорность», как думают иные люди; напротив — оно есть напряженная активность духа. И чем больше оно прикрепляется к смыслу побеждаемого страдания, тем сильнее становится его творческая активность, тем вернее наступает его победа. Терпение есть не только искусство ждать и страдать; оно есть, кроме того, вера в победу и путь к победе; более того — оно есть сама победа, одоление слабости, лишения и страдания, победа над длительностью, над сроками, над временем: победа человека над своею тварностью и над всякими «жизненными обстоятельствами». Терпение есть поистине «лествица совершенства»...

И кто присмотрится к человеческой истории, — сколь велики были страдания людей и что из этого выходило, — тот познает и признает великую творческую силу терпения. От него зависит выносливость всякого труда и творчества; оно ведет через все пропасти искушения и страдания; оно есть орудие и сила самого Совершенства, начавшего борьбу за свое осуществление в жизни; и потому оно составляет живую основу всего мироздания и всяческой культуры... Отнимите у человека терпение, и все распадется в ничтожество: верность, скромность и смирение; любовь, сострадание и прощение; труд, мужество и работа исследователя...

Терпеливо делает гусеница свое дело — и превращается в бабочку с дивными крыльями. И у человека вырастут еще прекраснейшие крылья, если он будет жить и творить с истинным терпением. Ибо почерпая свою силу из сверхчеловеческого источника, он сумеет нести нечеловеческие бремена и создавать на земле великое и чудесное.

О СОВЕСТИ

Есть старинное предание. В некотором государстве жил-был добрый король. Однажды в студеный зимний вечер, когда метель заносила глаза и ветер наметал сугробы, он увидел на дороге замерзающего нищего. У него сжалось сердце, и, не задумываясь, он снял свою теплую мантию и завернул в нее несчастного. «Идем, — сказал он ему, поднимая его на ноги, — в моей стране найдется и для тебя любящее сердце»...

Так проявляется совесть в человеческой душе, — часто неожиданно, но захватывающе и властно. Не произносится никаких слов, никаких повелений. В сознании нет ни суждений, ни формул. В бессловесной тишине совесть овладевает нашим сердцем и нашей волею. Ее появление можно сравнить с подземным толчком, в котором выступает всегда присутствующая, но сокровенная сила. А слова и мысли просыпаются в нас лишь позже, при попытке описать и объяснить совершившийся поступок.

В тот миг, когда совесть овладевает нашей душой, у нас нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось или восстало — какая-то особая сила, которая, по-видимому, долго дремала и вдруг очнулась и властно развернулась... Эта сила жила во мне, но я как-то не считал ее «своею» и не включал ее в «себя». Хочется сказать: «я не знаю, откуда она взялась, но совсем чужою или посторонней мне я ее не ощущаю». Она как будто скрывалась где-то во мне самом, но я никогда не думал, что она может оказаться столь сильною и проявиться так, как она проявилась. Она казалась мне простою возможностью и вдруг оказалась необходимостью. Она воспринималась как дальний зов и вдруг обнаружилась как ветер и буря... Она была подобна чистому водному ключу, пробивающемуся из глубины, и вдруг превратилась в разливной, все затопляющий поток... Иногда мне казалось, что это не сила, а едва жизнеспособная слабость, и вдруг пришел час ее власти. Я не раз думал, что это прекрасная, но неосуществимая «мечта» о земном совершенстве, и вдруг эта мечта стала жизнеопределяющей силой...

В душе внезапно отпали все «трезвые» соображения и «умные» расчеты; стихли все большие страсти и мелкие пристрастия; и даже опасения и страхи исчезли, словно их и не было никогда. Я совершил поступок, которого раньше никогда не совершал; да я и не считал себя способным к нему... Но этот поступок был единственно правильным и исключительно верным... Да правда ли, что я это сделал? Или, может быть, это был не я, а кто-то другой во мне? Другой — лучше меня, больше меня, справедливее и храбрее?.. Но откуда же он взялся? И куда он девался? Он, может быть, появится еще раз? Или это все-таки был я сам?..

Я знаю одно и знаю твердо: тогда я иначе не мог. Было что-то высшее и сильнейшее, что заставило меня поступить так. На меня как будто бы что-то «нашло», «захватило» меня и понесло. А подумать о себе, о своих силах, о послед-

ствиях моего поступка — у меня просто не было времени. И теперь, оглядываясь назад, я признаю, что я, строго говоря, и не должен был и не смел действовать иначе. Я не мог тогда иначе хотеть; а теперь скажу: мне бы и не хотелось, чтобы я тогда желал иного и действовал иначе. Так и надо было. Это было лучшее, что я мог сделать. И когда я теперь все это выговариваю, то во мне живет великая и радостная уверенность, что я просто выговариваю правду. Эта уверенность наполняет мое сердце и всего меня каким-то тихим, спокойным блаженством. Одного только мне бы хотелось — чтобы он, этот «лучший» и «больший», явился опять, опять совершил свое дело и опять подарил мне эту светлую радость...

Так совесть научает человека забывать о себе и делает его поступки самоотверженными. Скорби, заботы, опасения, все трудности личной судьбы — не связывают его больше; все это отходит, хотя бы временно, на задний план. Человек перестает быть «личным» и вдруг становится «предметным» в лучшем и священном смысле этого слова. Это не значит, что он утрачивает свою «личность» и делается «безличным». Нет, совесть утверждает, созидает и укрепляет духовно-личное начало в человеке. Но лично-мелкое, лично-страстное, лично-жадное, лично-порочное отодвигается в нем и уступает свое место дыханию высшей жизни, побуждениям и содержаниям Царства Божия, объективной реальности — тому, что можно обозначить строгим словом «субстанциальности», или целомудренным словом «предметности». Человек становится как бы живым и радостным органом великого и священного Дела, т. е. Божьего Дела на земле. Кажется, будто он сбросил с себя бремя своекорыстия; или будто у него внезапно выросли крылья, поднявшие его вверх и вынесшие его из жизненного ущелья. Он совершил свой самоотверженный поступок и вернулся, может быть, в серую прозу повседневной жизни, так, как если бы крылья «отвалились» у него и как если бы он опять был обречен пробираться в жизни через переулки земной жадности... Но он уже никогда не забудет то чувство блаженной силы и свободы, которое ему дано было пережить. Оно посетило его как бы из потустороннего мира; но он жил им, он испытал его и всегда будет тянуться к нему.

Мы живем на земле в состоянии внутреннего раскола, от которого мы страдаем и который мы не умеем преодолеть: это расхождение между нашими лично-эгоистическими побуждениями и нашим божественным призванием, которое мы иногда переживаем как внутреннее влечение, как духовную жажду. Тогда мы оказываемся в состоянии душевной раздвоенности, потому что это тайное влечение—окончательно и всецело отдаться Божьему Делу — всегда живет в глубине нашего сердца. Это влечение духа требует от нас всегда одного и того же: самого лучшего. И если бы мы предались ему всецело и окончательно, то вся наша жизнь сложилась бы из одних дел любви, мужественной верности, радостного исполнения долга, правды и великого служения...

Но в действительности жизнь идет иначе: мы слышим этот голос и не слушаемся его, а когда изредка слушаемся, то внутренняя раздвоенность лишает нас цельности и не дает нам той великой радости, которую цельность души несет с собою. Тогда мы испытываем наше «повиновение» совести как опасное жизненное «предприятие» или даже «приключение», как неблагоразумную мечтательную затею, или, как того требовал Иммануил Кант, как безрадостное исполнение долга и, след., как тягостное бремя жизни... Если же мы не повинуемся голосу совести, то одна часть нашего существа, и притом лучшая его часть, остается приверженной ему; но внутреннее раздвоение продолжается... Тогда из самой глубины нашего духовного чувствилища, оттуда, где совесть по-прежнему взывает, шепчет, стенает, печалится и укоряет, — поднимается недовольство, особого рода печаль и тоска, мучительное неодобрение. Иногда удается вытеснить из сознания это тягостное, но священное неодобрение: тогда человек отводит ему место в глубоком подземелии своей души и пытается запереть этот подвал и завалить самый ход к нему; но это нисколько не обеспечивает его от вероятных и даже неизбежных укоров совести, от этих мучительных угрызений, которые будут пожизненно грозить ему, нарушать его душевное равновесие и лишать его духовного покоя...

...А между тем истинное ис-целение, обещающее цель-ность души, нуждается всего-навсего в моем согласии: только оно может дать человеку внутреннее примирение, единение между инстинктом и духом, радость добровольности и предметного служения. Я исцелюсь в тот миг, когда предамся божественному зову совести. Тогда я буду делать то, что я должен делать; но это будет не томительная покорность и не каторга принуждения, а светлая радость жизни. Потому что я буду делать тогда то, чего желает моя собственная воля; и то, чего она желает, будет лучшим, и притом на самом деле лучшим. И это лучшее станет для меня внутренней необходимостью, единственной возможностью и осуществленным делом. Иначе я не могу; и не могу иначе хотеть, и не хочу иначе мочь. Именно в этом — мой долг. Но я желаю осуществить его не потому, что «это мой долг», а потому, что это есть «объективно лучшее», к чему зовет меня мой дух (совесть) и к чему прилепляется любовью и мой инстинкт. Так возникает совестная цельность человеческой души.

Пока я еще не знаю, что такое «совесть» и не переживал силу и счастье совестного акта, я спрашивал в холодном сомнении: «да разве это вообще возможно? разве человеку дано выходить из своей шкуры и подавлять в себе здоровый инстинкт самосохранения?»... Но ес-

ли я испытал совестный акт хотя бы единожды, — обнаруживаются глубокие изменения. Все былые сомнения и скептические вопросы отпадают; нет больше ни отрицания, ни иронии. Я знаю, что совестный акт возможен, потому что я пережил его в действительности. Правда, я не знаю, повторится ли он, когда и при каких условиях. Но кто же может мне помешать — воззвать к совести по собственной инициативе? Почему я должен думать, что она не отзовется на мой зов? А когда она отзовется, я могу свободно и радостно предаться ее зову... Все это в моей власти, все это будет происходить в моем внутреннем мире... Мне нужно только знать, как это лучше сделать, чтобы не подменить голос совести и не впасть в иллюзию, в ошибку и самообман...

Прежде всего надо отложить всякое теоретическое умствование, ибо оно непременно приведет за собою форму мысли, суждения, анализа, синтеза и облечет все это в понятия и слова. Все это не нужно, ибо акт совести не есть акт словооблеченного мышления; он не теория, не доктрина, не «максима», не закон и не норма. Не надо ничего выдумывать; не надо размышлять и изобретать. Не надо стремиться к какому-то «всеобщему законодательству». Не надо ничего предвосхищать. Надо ждать некоего эмоционально-волевого подземного толчка.

Не следует также спрашивать о том, что было бы «полезнее» всего или «целесообразнее» всего; эти вопросы решаются житейским опытом, наблюдением и рассуждением. Тем более не следует задавать вопрос о «приятном», «удобном», «выгодном», «умном» и т. п.; все это не имеет никакого отношения к совестному акту. Надо искать лучшего, нравственно-лучшего и притом не «лучшего по-моему», а «лучшего на самом деле». Верующий христианин спросит о «христиански-лучшем», о «совершенном перед лицом Христа Спасителя».

И еще одно: этот вопрос следует ставить не теоретически, не с тем, чтобы узнать, познать истину, сформулировать ее и доказать; это было бы философское исследование, созерцание и теоретическое рассмотрение. Вопрос должен быть поставлен практически, чтобы сделать, поступить, осуществить. А так как каждый практически-жизненный случай индивидуален, единствен в своем роде, то надо искать не общего правила, а личного указания для личного поведения в данном конкретном жизненном случае.

Итак, без всяких предвзятых решений, без всяких оговорок, «условий», уклонений и «резерваций» я встану таким, каков я есмь, перед лицом совести: с тем, чтобы в данный конкретный миг моей личной жизни, «сейчас» и «здесь» — внять ее голосу, отдаться ее зову и совершить поступок из глубины моего сердца; я спрошу: как мне поступить, чтобы сейчас и здесь осуществить христиански лучшее, совершенное перед лицом Христа Спасителя?..

Я ставлю этот вопрос — и опускаю его в отверстую глубину моего сердца. И жизнь идет дальше. Тогда желанное дается само. Заглохшее сердце пробуждается и... королевская мантия ложится на плечи нищего...

Королевская мантия?.. Да, ибо это я, с моим заглохшим сердцем и черствым нравом, я был подобен нищему, сидящему у дороги жизни и занесенному метелью повседневных забот и расчетов. Это меня Господь нашел замерзающим и полумертвым; и склонился ко мне, облекая меня своею Ризою как светом, как любовью, как откровением. И в акте совести человек воспринимает от Бога откровение, любовь и свет новой жизни.

ЧТО ЕСТЬ ОПТИМИЗМ?

Вот что необходимо современному человечеству — как воздух, как вода и огонь, — это здоровый, творческий оптимизм. Мы стоим на пороге новой эпохи, нам нужны новые, творческие идеи; мы должны смотреть сразу вглубь и вдаль; мы должны хотеть верного и притом желать сильною волею; и в довершение всего — мы должны верить, что грядущее обновление нам удастся. Мы должны приступить к разрешению предстоящих задач с достоинством и спокойствием и в то же время в великой, творческой сосредоточенности, ибо от успеха наших трудов зависит дальнейшее развитие мировой истории. Во всех областях жизни от нас потребуются огромные усилия, ибо дело идет о религиозном, культурном, социальном и политическом обновлении.

И для этого нам необходим духовно-верный оптимизм.

Но в жизни встречается и неверный, ложный оптимизм. Недостаточно быть «в хорошем настроении», мало «не предвидеть ничего дурного». Легкомысленный весельчак всегда «в хорошем настроении», а близорукий и наивный не предвидит вообще ничего. Мало верить в свои собственные силы и уметь успокаивать других людей; самонадеянность может вредить творческому процессу, и оптимизм не сводится к «спокойствию» во что бы то ни стало: оптимизм не дается людям от рождения и от здоровья; он приобретается в духовном созревании. Оптимист не предвидит успех и счастье при всяких условиях: ход истории может обещать в дальнейшем не подъем, а падение, и оптимист не может закрывать себе на это глаза. И тем не менее он остается оптимистом.

Итак, есть ложный оптимизм и духовно-верный оптимизм.

Ложный «оптимист» хранит хорошее расположение духа потому, что он человек настроений и предается своим личным, чисто субъективным состояниям.

Его «оптимизм» не имеет предметных оснований. Он живет сам по себе, вне глубоких течений истории, вне великих мировых событий. Он «оптимист» только потому, что обладает здоровым, уравновешенным организмом и не страдает от душевной дисгармонии. Его «оптимизм» касается его самого и, может быть, его личных дел. Но в плане великих свершений он видит мало, а может быть, даже и ничего; а если он в самом деле что-нибудь видит, то он видит смутно и расценивает неверно. Перед лицом духовных проблем он поверхностен и легкомыслен; он не видит ни их глубины, ни их размаха, а потому легко принимает пустую видимость за подлинную реальность. Вот почему он не видит ни лучей, ни знамений Божиих. И потому его «оптимизм» — физиологически объясним и душевно мотивирован, но предметно и метафизически не обоснован; и ответственности за него он не принимает. Его «оптимизм» есть проявление личной мечтательности или даже заносчивости; он может привести к сущим нелепостям; и его уверенные разглагольствования имеют веса не больше, чем стрекотание кузнечика...

Совсем иначе обстоит в душе настоящего оптимиста. Прежде всего его оптимизм не относится к повседневному быту со всеми его сплетениями, закоулками и пыльными мелочами, со всею его жестокостью и порочностью: ежедневная жизнь может взвалить на нас еще страшные бремена, лишения и страдания, но это нисколько не влияет на его оптимизм, ибо он смотрит на эти испытания как на подготовительные ступени к избавлению. Он имеет в виду духовную проблематику человечества, судьбу мира, и знает, что эта судьба ведется и определяется самим Богом и что поэтому она развертывается как великая и живая творческая драма. Вот истинный и глубочайший источник его оптимизма: он знает, что мир пребывает в руке Божией, и старается верно постигнуть творческую деятельность этой Руки; и не только — понять ее, но добровольно поставить себя, в качестве свободного деятеля, в распоряжение этой высокой и благостной Руки («да будет воля Твоя»). Он желает «содействовать» Божьему делу и плану, он стремится служить и вести, внимать и совершать: он желает того, что соответствует воле Божией, Его замыслу, Его идее... Он видит, что в мире слагается и растет некая Божия ткань, живая ткань Царствия Божия; он заранее предвосхищает зрелище этой ткани и радуется при мысли, что и ему удастся войти в нее живою нитью.

Это означает, что его оптимизм относится не столько к человеческим делам, сколько к Божьему Делу. Он верит в светлое будущее, в приближающееся Царство, потому что оно не может не настать, ибо оно осуществляется Богом. А его главная задача состоит в том, чтобы верно постигнуть отведенное ему самому место и верно исполнить предназначенное ему самому служение.

Узнав свое место в замысле Божием и найдя свое верное служение, он стремится наилучше осуществить свое призвание — исполнить свой «оптимизм»; и если он знает, что это делает, тогда на него нисходит спокойная жизнерадостность и духовный оптимизм. Он верит в свое призвание и в свое Дело. Он расценивает себя как нить в Божией Руке; он знает, что эта нить вплетается в Божию ткань мира, и чувствует через это свою богохранимость. С молитвою идет он навстречу неизбежным опасностям жизни и спокойно «наступает на Аспида и на Василиска», «на змия и скорпия» — и остается невредимым; и потому исповедует вместе с Сократом, что Божьему слуге не может приключиться зла...

Это означает, что настоящий оптимист никогда не переоценивает своих личных сил. Он есть не более чем одна из земных нитей в Руке великого Творца жизни, и эта земная нить может быть в любой миг оборвана. Но пока она живет на земле, она желает крепиться и верно служить. Такого человека движет воля к верности и победе. И там, где пессимист совсем выключает волю и растеривается перед лицом событий, где ложный оптимист предается своим настроениям и не справляется с затруднениями, — там настоящий оптимист справляется со всякой задачей. Трезво и зорко следит он за событиями, не поддаваясь страху и не преувеличивая опасность; и чем вернее он видит действительность, тем лучше он понимает, какая сила воли и какая выдержка потребуются от него. Он — волевой человек, знающий о своей ведомости и хранимости, преданный тому Делу, которому он служит, и питающий внутреннюю струю своей жизненной воли из Божественного источника.

Воля же есть замечательная и таинственная сила, которая всегда может стать еще более мощной и упорной, чем это кажется с виду. Воля настоящего оптимиста есть дар силы или искусство самоусиления, живая бесконечность усилий, — столь давно и безнадежно искомое «духовное perpetuum mobile»...

Настоящий оптимист видит современный ему ход истории, созерцает его сущность и смысл в плане Божием и черпает свою силу из бесконечного источника воли, преданной Богу и Богом ведомой. Он непоколебимо верит в победу, в победу своего Дела, хотя бы эта победа казалась временами «его личным поражением», ибо его победа есть победа того Божьего дела, которому он служит на земле. А когда его настигнет утомление или неуверенность, тогда он молитвенно взывает к последнему источнику своей воли и своей жизни — к Богу.

И тогда все необходимое посылается ему и он продолжает свое служение.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Есть только одно истинное «счастье» на земле — пение человеческого сердца. Если оно поет, то у человека есть почти всё; почти, потому что ему остается еще позаботиться о том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом предмете и не замолкло.

Сердце поет, когда оно любит; оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает; не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье, или когда близится смерть, или когда злое начало в мире празднует победу за победой, и кажется, что сила добра иссякла и что добру суждена гибель. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным «счастьем», которое, строго говоря, заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным: тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященною и преображенною. А это означает, что началась новая жизнь и что человек приобщился новому бытию.

Мы все испытали слабый отблеск этого счастья, когда были цельно и нежно влюблены. Но то было в самом деле не более как отсвет его или слабое предчувствие; а у многих и того менее: лишь отдаленный намек на предчувствие великой возможности... Конечно, цельно и нежно влюбленное сердце, как это было у Данте, у Петрарки или у Пушкина, — чувствует себя захваченным, преисполненным и как бы текущим через край; оно начинает петь, и когда ему это удается, то песнь его несет людям свет и счастье. Но это удается только одаренному меньшинству, способному искренно петь из чистого сердца. Обычная земная влюбленность делает сердце страдающим и даже больным, тяжелым и мутным, часто лишает его чистоты, легкости и вдохновения. Душа, страстно взволнованная и опьяненная, не поет, а беспомощно вздыхает или стонет; она становится алчною и исключительною, требовательною и слепою, завистливою и ревнивою. А поющее сердце, напротив, бывает — благостно и щедро, радостно и прощающе, легко, прозрачно и вдохновенно. Земная влюбленность связывает и прикрепляет, она загоняет сердце в ущелье личных переживаний и настраивает его эгоистически; а настоящая любовь, напротив, освобождает сердце и уводит его в великие объемы Божьего мира. Земная влюбленность угасает и прекращается в чувственном удовлетворении, здесь она разряжается и разочаровывается, опьяненность проходит, душа отрезвляется, иллюзии рассеиваются, и сердце смолкает, не пропев ни единого гимна. Часто, слишком часто влюбленное сердце вздыхает бесплодно, вздыхает и бьется, жаждет и стонет, льет слезы и издает вопли — и не разумеет своей судьбы, не понимает, что его счастье обманно, проходяще и скудно, что оно не более чем отблеск настоящего блаженства. И сердце теряет и этот отблеск, не научившись ни пению, ни созерцанию, не испытав ни радости, ни любви, не начав своего просветления и не благословив Божьего мира.

Сердце поет не от влюбленности, а от любви; и пение его льется подобно бесконечной мелодии, с вечно живым ритмом, в вечно новых гармониях и модуляциях. Сердце приобретает эту способность только тогда, когда оно открывает себе доступ к божественным содержаниям жизни и приводит свою глубину в живую связь с этими не разочаровывающими драгоценностями неба и земли.

Тогда начинается настоящее пение; оно не исчерпывается и не иссякает, потому что течет из вечно обновляющейся радости. Сердце зрит во всем Божественное, радуется и поет; и светит из той глубины, где человечески-личное срастается со сверхчеловечески-божественным до неразличимости: ибо Божии лучи пронизывают человека, а человек становится Божиим светильником. Тогда сердце вдыхает из Божиих пространств и само дарит любовь каждому существу, каждой пылинке бытия и даже злому человеку. Тогда в нем струится и пульсирует священная кровь Бытия. Тогда в нем дышит дуновение Божиих уст...

Где-то там, в самой интимной глубине человеческого сердца, дремлет некое духовное око, призванное к созерцанию божественных содержаний земли и неба. Это таинственное око со всей его восприимчивостью и зрячей силою надо будить в человеке в самом раннем, нежном детстве, чтобы оно проснулось от своего первоначального сна, чтобы оно открылось и воззрилось в богозданные пространства бытия со священною и ненасытною жаждою созерцания. Это око, раз пробудившееся и раскрывшееся, подобно обнаженному чувствилищу, которое остается всю жизнь доступным для всего, что̀ таит в себе Божий огонь; оно воспринимает каждую искру живого совершенства, радуется ей, любит ее, вступает с ней в живую связь и зовет человека отдать его личные силы на служение Божьему делу.

Древние греки верили, что у богов есть некий священный напиток — «нектар» и некое божественное кушанье — «амброзия». И вот, в мире есть действительно такое духовное питание, но предназначено оно не для олимпийских богов, а для самих людей... И кто из людей питается им, у того сердце начинает петь.

Тогда сердце поет при созерцании природы, ибо в ней все светится и сверкает от этих «искр живого совершенства», как небо в августовскую ночь. Тогда сердце поет и от соприкосновения с людьми, ибо в каждом из них живет Божья искра, разгораясь и поборая, призывая, светя, духовно оформляя душу и перекликаясь с другими искрами. Сердце поет, восприни-

мая зрелые создания и героические деяния человеческого духа — в искусстве, в познании, в добродетели, в политике, в праве, в труде и в молитве, — ибо каждое такое создание и каждое деяние есть живое осуществление человеком Божией воли и Божьего закона. Но прекраснее всего то пение, которое льется из человеческого сердца навстречу Господу, Его благости, Его мудрости и Его великолепию. И это пение, полное предчувствия, блаженного созерцания и безмолвного, благодарного трепета, есть начало нового бытия и проявление новой жизни...

Однажды в детстве я увидел, как в солнечном луче играли и блаженствовали земные пылинки — порхали и кружились, исчезали и вновь выплывали, темнели в тени и вновь загорались на солнце; — и я понял, что солнце умеет беречь, украшать и радовать каждую пылинку, и мое сердце запело от радости...

В теплый летний день я лег однажды в траву и увидел скрытый от обычного глаза мир прекрасных индивидуальностей, чудный мир света и тени, живого общения и радостного роста; и мое сердце запело, дивуясь и восторгаясь...

Часами я мог сидеть в Крыму у берега таинственного, грозного и прекрасного Черного моря и внимать лепету его волн, шороху его камушков, зову его чаек и внезапно водворяющейся тишине... И трепетно благодарил я Бога поющим сердцем...

Однажды мне довелось созерцать любовный танец белого павлина; я стоял и дивился на его тончайший кружевной веер, грациозно раскинутый и напряженно трепещущий, на это сочетание горделивого изящества и любовного преклонения, на играющую серьезность его легких и энергичных движений; — я увидел чистоту, красоту и безгрешность природной любви — и сердце мое раскрылось в радости и благодарности...

На восходе солнца, в нежном сиянии и глубокой полусонной тишине вошел наш корабль в Коринфский канал. В розовом свете спали далекие цепи гор; крутые берега канала высились, как суровая стража; благоговейно молчали и люди и птицы, ожидая и надеясь... И вдруг берега впереди расступились, и зелено-млечные адриатические воды, несшие нас, хлынули в темно-синие недра Эгейского моря,— и солнце и вода встретили нас ликованием света. Могу ли я забыть это счастье, когда сердце мое всегда отвечает на него ликующим пением?..

У каждого из нас сердце раскрывается и поет при виде доверчивой, ласковой и беспомощной улыбки ребенка. И может ли быть иначе?

Каждый из нас чувствует навертывающуюся слезу в оке своего сердца, когда видит настоящую человеческую доброту или слышит робкое и нежное пение чужой любви.

Каждый из нас приобщается высшему, сверхземному счастью, когда повинуется голосу своей совести и предается ее потоку, ибо этот поток уже поет ликующую мелодию состоявшегося преодоления и потустороннего мира.

Сердце наше поет, когда мы предаем погребению героя, служившего на земле Божьему делу.

Сердце наше поет, когда мы созерцаем в живописи подлинную святыню; когда мы сквозь мелодии земной музыки воспринимаем духовный свет и слышим голоса поющих и пророчествующих ангелов.

Сердце наше поет при виде тайн, чудес и красот Божьего мира; когда мы созерцаем звездное небо и воспринимаем вселенную как гармоническую целокупность; когда человеческая история являет нам сокровенную тайну Провидения и мы зрим шествие Господа через века испытаний, труда, страданий и вдохновения; когда мы присутствуем при победе великого и правого дела...

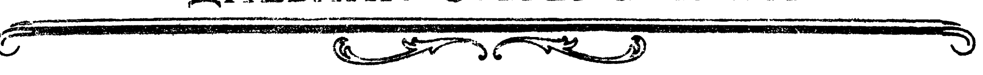
Сердце наше всегда поет во время цельной и вдохновенной молитвы...

А если нам сверх того дается возможность в меру любви участвовать в событиях мира и воздействовать на них, то счастье нашей жизни может стать полным. Ибо, по истине, мы можем быть уверены, что в развитии этого мира ничто не проходит бесследно, ничто не теряется и не исчезает — ни одно слово, ни одна улыбка, ни один вздох... Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир; а кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те «великие» события хозяйства и политики, которые совершаются в плоском и жестоком плане земного существования и назначение которых нередко состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обреченность...

Нам надо увидеть, и признать, и убедиться в том, что *именно божественные мгновения жизни составляют истинную субстанцию мира*; и что человек с поющим сердцем есть остров Божий — Его маяк, Его посредник.

Итак, на земле есть только одно истинное счастье, и это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца: ибо оно уже прижизненно врастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божием.

Публикация Ю. ЛИСИЦЫ.



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

ОБЩЕСТВО, ЛИШЕННОЕ ВОЛИ

Так явственно я столкнулся с этим явлением год назад. И до сих пор помню тот день. Думаю, он памятен и многим москвичам. Хотя бы потому, что тогда по городу пронесся слух: рванул реактор в Курчатовском институте.

Это была смутная пора. Лопались трубопроводы, фенол попадал в питьевую воду, взрывались составы с боеприпасами. Не верить новому чудовищному слуху просто не было причин. Как же реагировали люди?

Я услышал это известие в редакции большой газеты. Как и всякого входящего, меня огорошили им с порога. Первым делом я спросил, заслуживает ли доверия источник, откуда получено известие. Мне сказали: заслуживает. Тогда я попытался узнать, связывались ли с редакциями центральных газет, с телевидением, с официальными ведомствами. Оказалось, никто и не думал браться за телефон. Ну а почему у вас открыты окна — ужаснулся я. А какая разница, последовал ответ, если рванул, так ведь все равно не убережешься. А в комнате душно.

Тогда я понял, что с этими людьми могут сделать все что угодно. В нынешнем мире тотальных опасностей не так легко сберечь жизнь. Но они и попытки не предпринимали! Самое страшное — речь шла далеко не о самых пассивных — о тех, кто по профессии призван вести за собой...

С тех пор я стал внимательнее вглядываться в происходящее и на каждом шагу обнаруживал приметы нравственной разрухи. Потерю воли к сопротивлению, к действию, к выживанию.

Вы слышали когда-нибудь раньше, чтобы крестьянин, мужик, за здорово живешь отдавал собственным горбом поднятую землю? А этой весною в Крыму мне рассказали, как сотни гектаров лучших полей и виноградников самовольно заселили вернувшиеся татары, и колхозники пальцем не пошевельнули, чтобы отстоять свое добро. Конечно, репатриация оправданна и справедлива, но не на чужую же голову садиться с ходу? Как же вы допустили такое, спросил я собеседников. Да вот — понурились они — председатели колхозов пробовали говорить со своими, мол, не давайте в обиду землю. Но мужики не хотят конфликтовать. Отвечают — милиция есть, мы ей деньги платим, пусть она защищает поля.

Теперь, похоже, во всем так! В малом и в большом. Готовы отдать землю и богатства земли, и самих себя в придачу. Узнали об афере Фильшина, об этой беззастенчивой распродаже России, лишь слегка закамуфлированной под благопристойную банковскую сделку,— и что же, раздался глас народного возмущения?..

Скажут: богатства — не наши, земля — колхозная, зачем же лишний раз волноваться? Повторяют изо дня в день: нам нечего терять, хуже не будет! Сколько уж потеряно за это время, как зримо упал уровень жизни — о застойном «изобилии» вспоминаем со слезами на глазах, а все гремят забубенные лозунги.

Похоже, наша история так и пройдет под разудалый напев. Еще в начале века — с чужого голоса — завели тогдашние радикалы: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей!» Только теперь признали — было, было что терять. Уровень жизни тех давних лет и сегодня как рекордная планка — никак не достать, да уже и отчаялись.

А тогда даже состоятельные слои были убеждены: хуже не станет. Помните у Анны Ахматовой, стихи, которыми она открыла «Белую стаю»:

> Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
> А как стали одно за другим терять,
> Так, что сделался каждый день
> Поминальным днем, —
> Начали песни слагать
> О великой щедрости Божьей
> Да о нашем бывшем богатстве

Под винтовками китайских отрядов, под пулеметами румынских пограничников поняли, что потеряно.

О пулеметах весьма выразительно рассказывает Василий Шульгин в своих воспоминаниях. Его отряд — несколько десятков офицеров и множество беженцев с семьями, с детьми — день за днем полз по льду пограничной реки. Берега — на одном конница Котовского, на другом — румыны, посреди — голый лед и на нем извивающаяся цепочка обезумевших от голода,

холода, страха людей. Бывших депутатов Государственной думы, бывших профессоров, журналистов, фабрикантов. Их могли бы расстрелять за полчаса — на льду негде спрятаться, но оба берега проявляли гуманность, стреляли только при попытке ступить на землю. Шаг на советский берег — огонь. Шаг на румынский — огонь...

Еще недавно в интеллигентских компаниях хором кляли власти: не дают визы. Конечно, неприятно, что тебя стерегут. Может быть, и некуда было ехать — никто не звал в Мадрид или Нью-Йорк, но все равно, одна мысль о том, что в аэропорту, на железнодорожной таможне и просто на лесной заставе стоит человек с автоматом, и его не объехать, не перелететь, не обойти — возмущала.

Господи, мы были нужны! Были, так сказать, достоянием республики. Бедные и богатые, здоровые и больные, «идейные» и «антиобщественные» — нас всех одинаково держали в стране, но и страна держалась за нас! Слепо, порою жестоко, и все-таки — держалась.

Сегодня нам готовы сказать: скатертью дорога. А завтра — кто знает, быть может, как во времена Шульгина нас погонит за границу новая власть, нужда, страх междоусобицы. Кто скажет, что будет завтра? Чужой обозленный пограничник наведет дуло автомата. Не для того, чтобы оставить, сохранить в стране,— чтобы не пустить в страну, к мясному европейскому прилавку. Во всяком случае, газеты пишут, что австрийский министр отдал своим солдатам приказ стрелять в каждого, кто придет с Востока, не имея венской визы.

Как запоздали книги великих утрат. «Дни» и «1920» Василия Шульгина, «От первого лица» (где собраны воспоминания П. Малянтовича, А. Будберга, А. Деникина, П. Краснова, П. Врангеля), «Окаянные дни» Ивана Бунина. Вчера еще запретное чтение, они, наконец, вышли стотысячными тиражами. Ах, не надо было запирать их в спецхраны. В школах следовало зубрить все эти годы.

Разумеется, авторы не питали любви к новому государству. Они вспоминали другое, наверное, более богатое, культурное, гуманное, чем наше. Но в этих книгах с потрясающей душу силой показан ужас смуты, безвластия, распада государственных структур. Они учат: в сравнении с бунтом любая власть — благо. Хорошая или дурная, гуманная или жестокая.

Десятилетиями нас воспитывали на другом чтении, маня заоблачными идеалами и раздражая их недостижимостью в реальной жизни. Нас опоили революционным максимализмом, истощили силы в непрестанной погоне за призрачными ориентирами. В результате — апатия, неверие ни во что, злоба. И — революционный, сохранившийся в подкорке, зуд, напружинивающий мускулы при всяком крике: долой!

Хватит ли у общества времени усвоить уроки давней смуты? Очень уж заторопились события. Слишком тревожна узнаваемость революционных зарисовок.

Вот о правительстве: «Господи, неужели же никто не в силах вразумить!.. Ведь нельзя же так, нельзя же раздражать людей, страну, народ» (В. Шульгин). А это о государственном устройстве: «Будущая Россия — федеративное или унитарное государство?» (П. Краснов). Общая характеристика времени: «Все понятия нравственности, чести, долга, честности были совершенно стерты и уничтожены. Совесть людская была опустошена и испита до дна. Люди отвыкли работать и не желали работать, люди не считали себя обязанными повиноваться законам, платить подати, исполнять приказы. Необычайно развилась спекуляция... В стране, заваленной хлебом, мясом, жирами и молоком, начинался голод» (П. Краснов). И наконец: «Народ возненавидел все» (И. Бунин).

Вышедшие одновременно, «залпом», книги о смуте наслаиваются, пересекаются, подсвечивают одна другую, создавая на редкость объемную картину.

Елецкие записи в «Окаянных днях» — типичная реакция русского помещика. «Керенского следовало бы повесить»,— в отчаянии восклицает Бунин. Через страницу — снова о министрах: «Поразила декларация правительства, начало: анархия разлилась от Корнилова! О негодяи! И все эти Кишкины, Малянтовичи!»

«Снизу», из провинции, кажется, что правительство действует, но неудачно, даже преступно. Если бы поступили иначе! — едва не стонут в Ельце. А в Петрограде проклятый Буниным Малянтович записывает: «Вокруг нас была пустота, внутри нас — пустота, и в ней вырастала бездумная решимость равнодушного безразличия».

Блаженны провинциалы — ругая правительство, они верили в его способность действовать иначе. А оно вообще не способно было действовать...

«Бездумная решимость равнодушного безразличия» — вычурно симметричная фраза. Филологический изыск министра, на мгновение уравновесивший две роковые стихии.

Обе хорошо знакомы нам. Равнодушие и решимость, причем,— бездумная решимость. Ими движутся толпы на митингах, ими определяется ход будней. Готовая завязка народной трагедии.

Суфлеры из прошлого предсказывают ее ход. Основная тема книг — бессилие власти. Об этом говорят все, но особенно красноречиво В. Шульгин и П. Малянтович.

Один пишет о конце монархии. Другой — о крахе республики. Страшны совпадения! 27 февраля 1917 года Шульгин записал: «Дело было в том, что во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти... И даже не в этом... Дело было в том, что власть сама себе не сочувствовала». Малянтович более краток. Рассказывая о дне, предшествующем сдаче Зимнего, он заметил: «Если власть не защищают те, кто ее организовал, нужна ли она?»

25 октября хоронили государственное устройство, начавшее оформляться после февральского краха. Еще совсем недавно лидеры Государственной думы были преисполнены надежд. Как метко и беспощадно разил Шульгин деятелей «отжившего режима». «Абсолютно беспринципный человек и полное ничтожество» —

характеристика очередного премьера. «Если это не предательство, то это, во всяком случае, цепь таких действий, что истинные предатели не выдумали бы ничего лучше» — отзыв о деятельности правительства.

Но вот власть заскользила с царственных высот — все ниже, все ближе к «облеченным общественным доверием» думцам. И в записках Шульгина запечатлелся инстинктивный испуг: «...Совершенно неясно было, что мы будем отвечать, если нас спросят: «Ну, хорошо... Довольно критики, теперь попытайтесь сами».

Откровенно шаржируя, Шульгин изобразил реакцию Керенского на вопрос: что делать? «Ну, еще там,— он мальчишески, легкомысленно и весело махнул рукой,— свобод немножко. Ну там печати, собраний и прочее такое... — И это все? — Все пока...»

Скорее всего, ответ будущего премьера был несколько иным. Наверное, когда Шульгин писал эту сцену, перед его глазами стояли картины разразившейся позднее катастрофы. Хотя, кто может знать? Ведь и в актив сегодняшней перестройки на полном серьезе заносят одни лишь филологические успехи — гласность, плюрализм, «свобод немножко»...

Как бы то ни было, завершая сцену, Шульгин резко меняет тон. Он не скрывает, что ему известен финал столь безоблачно начатой революции. «Я чувствовал их, моих товарищей по блоку, и себя...

Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать. Мы способны были, в крайнем случае, безболезненно пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи... под условием, чтобы императорский караул охранял нас...

Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала — у нас кружилась голова и немело сердце.

Бессилие смотрело на меня из-за белых колонн Таврического дворца и был этот взгляд презрителен до ужаса...»

Трезвость беспощадной самооценки? Да, летописцу Шульгину можно вменить ее в заслугу. Но ведь Шульгин, не только писатель,— активный политик, участник событий. И потому на нем смертный грех безответственных исторических притязаний. Готовя вместе с прочими падение правительства, режима, строя, он, как и другие лидеры думы, не имел за душой ничего созидательного.

Финал был неотвратим. Причем именно такой сниженный, фарсовый финал, какой запечатлен в мемуарах П. Малянтовича. Характерна комическая деталь — когда у дверей кабинета Зимнего дворца загрохотали шаги восставших солдат, министры Временного правительства «вскочили и все схватились за пальто». Реакция лакеев, разважничавшихся было в барском доме.

Откровенно комична и горячность, с какой министры бросились отговаривать юнкеров «защищаться до последнего человека»: «Этого не надо! Это бесцельно! Это же ясно! Не надо крови! Надо сдаваться! — закричали мы все». Юноша-юнкер помедлил минуту, и тогда его буквально вытолкнули навстречу солдатам: «Мы все тревожно кричали: — Идите скорей! Идите и скажите это! Мы не хотим крови! Мы сдаемся!»

Власть сдали охотно. Как самозванцы, взявшиеся исполнять чужие роли и радующиеся, что можно, наконец, вновь стать самими собой.

Я намеренно опускаю социальные и экономические мотивировки происшедшего. Об этом много написано. С точки зрения сегодняшнего дня, нынешнего состояния общества, меня интересуют в первую очередь мотивы психологические. Бессилие власти коренилось в безволии власти. Нет — страшнее! — в безволии общества.

Малянтович вспоминает, что буквально каждую минуту в Зимнем звонили телефоны — политические партии, профессиональные союзы, просто столичные обыватели выражали поддержку Временному правительству. Советовали, как продержаться. Но никто не пришел во дворец помочь продержаться.

Еще более грустная картина вырисовывается из воспоминаний А. Деникина, П. Краснова, барона Будберга. До октября 17-го связь общества и власти держалась на вековой привычке. После октября и эта непрочная связка порвалась.

Уже в ноябре 17-го в Новочеркасске, свободном от большевиков, начала формироваться Добровольческая армия. Как бы ни оценивать ее действия, в тех условиях это была единственная надежда для миллионов людей. Надежда не только на возрождение прежней России — на жизнь в самом прямом и грубом, самом дорогом для человека смысле. Правда, «красный террор» еще не был объявлен официально, но расправы с «эксплуататорами» широкой волной катились по стране.

Так вот, в этих условиях, как вы думаете, сколько пожертвовала Россия на добровольцев? Сотни тысяч? Миллионы? — состояния еще не были экспроприированы. Четыреста рублей. «Это все, что в ноябре месяце уделило русское общество своим защитникам» (А. Деникин). И впоследствии, по свидетельству Деникина, «буржуазия... проявила полнейшее равнодушие, ограничившись взносом некоторой суммы денег на организацию охраны и длительными спорами...»

Если бы равнодушие проявила только буржуазия! По признанию того же мемуариста, когда началось наступление красных, «напор... сдерживали несколько сот офицеров и детей — юнкеров, гимназистов, кадет, а панели и кафе Ростова и Новочеркасска были полны молодыми и здоровыми офицерами, не поступившими в армию».

Русское общество вытолкнуло вперед юнкеров, детей, Николок Турбиных. «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Они вошли первыми из великой череды убитых на бескрайних просторах России.

Под угрозой оказалась столица Войска Донского — центра казачества. Сколько же защитников выставило поголовно военизированное, «с конца копья вскормленное» население края? Вновь обратимся к воспоминаниям Деникина: «Для защиты Дон-

ской области нашлось на фронте всего лишь сто сорок семь штыков».

Автор рисует выразительную сцену: «Казаки хмуро слушали своего атамана, призывавшего их к защите казачьей земли. Какой-то наглый казак перебил: — Да что там слушать, знаем, надоели! И казаки просто разошлись».

Потом слушать все же пришлось, но уже не своего атамана. Большевистских комиссаров типа Штокмана из «Тихого Дона». Тех, кто своевольничал, ждал уже другой разговор — его вели пулеметы и орудия. Когда недовольные таким обращением казаки восставали, «против беззащитных станиц выступали обыкновенно бронепоезда и карательные отряды с... казачьими орудиями» (А. Деникин). Да, именно с казачьими — не желая воевать, те в свое время добровольно сдали их большевикам.

Мемуарист рассказывает о подавлении первых восстаний на Дону. Ему не довелось стать свидетелем развернувшегося позднее планомерного геноцида, унесшего более миллиона казачьих жизней!

В переломные исторические эпохи последствия стремительно и неумолимо следуют за поступками. Тот же Деникин сообщает о неудачной попытке генерала Эрдели привлечь в Добровольческую армию массы офицеров, главным образом гвардейцев (!), осевших в Минеральных Водах. Подойдя к книжной полке и взяв другую книгу, мы можем узнать судьбу этих гвардейцев. В «Красном терроре», С. Мельгунова приводятся бесконечные списки заложников, расстрелянных в Минеральных Водах.

Но упаси нас Бог подумать, что эта возможность дана для удовлетворения праздного любопытства! В наши дни началось переосмысление революционных событий. Плодотворный процесс, необходимый не только для восстановления попранной десятилетия назад справедливости. В первую очередь он нужен сегодняшнему обществу. Оно нуждается в давней мудрости, ему, как воздух, необходим давшийся ценою таких жертв опыт.

К сожалению, все ограничивается пока заменой пропагандистской схемы, господствовавшей многие годы, на другую, не менее примитивную. Октябрьские события представляются попросту досадной случайностью.

А между тем необходимо осознать, что здесь не может быть и речи о случае. Мемуаристы отмечают, что «керениады» повторялись повсюду — от Дона до Дальнего Востока. Гибель старого русского общества была у него в крови. Имя этой смертельной болезни — безволие.

Барон Будберг рассказывает о победе большевиков на выборах в городскую думу Владивостока, занятого белыми и иностранными войсками. Он приводит курьезнейшее, но, очевидно, правдивое объяснение случившегося: «Оправдываются тем, что большевикам помогла очень скверная в день выборов погода, так как буржуазия предпочла остаться дома, в то время, когда рабочие слободки шли на выборы почти поголовно». Возмущенный мемуарист вынужден признать: «Как это характерно для поведения наших еще мало битых революцией буржуев; только что свергнута красная власть, нужно всем взяться за то, чтобы вместе выдвинуть лучшие силы и с ними начать строить новую жизнь, но... идет сильный дождик, господа буржуи боятся промочить свои нежные ножки и отдают смертельным врагам чрезвычайно важный общественный, политический и даже международного значения пост...»

Безжалостный итог венчает эту инвективу: «Сколько же еще красных встрясок надо этой слякоти, чтобы она очнулась и поняла, что так дальше нельзя!»

Встрясок было более чем достаточно. Изобретательные последователи Шигалева довели до совершенства процесс «пускания судороги» в обществе. Это кровавое искусство стоило России, по самым скромным подсчетам, 60 миллионов жизней. Неужели эти Монбланы трупов, эти бескрайние Елисейские поля загубленных душ, этот небывалый по жестокости опыт неспособен вразумить последующие поколения? Не заставит их осознать, что общество, лишенное воли, обречено стать в буквальном смысле слякотью под коваными сапогами победителей?!

Бездумно равнодушным было и отношение к иноземцам, как всегда нахлынувшим в Россию, чтобы попользоваться смутой. Бунин запротоколировал речь солдата, вернувшегося в деревню: «Немцы бедным не страшны — черт с ними, пускай идут». От себя академик изящной словесности добавил: «Солдат стерва, дурак необыкновенный». Но вот снова разговор с «простонародьем», на этот раз в Москве: «Извозчик возле «Праги» с радостью и смехом: — Что ж, пусть приходит. Он, немец-то, и прежде все равно нами владел».

На другом конце страны, на Дону, П. Краснов записывает: «Немцы пользовались симпатиями и нравились простым казакам как серьезный, трудолюбивый народ».

Поразительно, люди, воевавшие с «немцем» четыре года, ходившие на него в штыки и терявшие в сражениях друзей и родных, вдруг воспылали любовью к своему вчерашнему противнику. Сегодняшнему оккупанту. Германия захватила 1 миллион (!) квадратных километров русской территории, на которых проживало 50 миллионов человек — треть населения страны. В Берлин текли миллионы пудов зерна, гнали эшелоны с мясом, углем, рудой. Безостановочно — из Советской России, капитулировавшей в Бресте, и из занятых белыми областей.

Положим, простой народ не знал всего (хотя не мог же он вообще ничего не видеть!). Но ведь и «просвещенное общество» вздыхало о тех же немцах! «Все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются» (И. Бунин). Тот же Краснов на посту атамана Войска Донского судорожно держался за кайзера.

Через несколько месяцев немцы, потрясенные изнутри собственной революцией, ушли. Тогда все взгляды с надеждой обратились к «союзникам». Явились французы. Не обещая конкретной помощи добровольцам и Дону, они требовали их полного политического и военного подчинения

Франции, возмещения потерь французских граждан в России, продовольствия и сырья. Тут уж и Краснов возмутился. Доложил казачьему кругу. И что же? «Простые казаки молчали. Вопрос слишком близко касался их, и они готовы были подчиниться не только французскому генералу, но самому черту».

Что-то слишком часто мелькало слово «черт» в разговорах об инородцах. Готовы были подчиниться... Так ведь не замедлил, явился принимать присягу на верность. У Булгакова в «Белой гвардии» об этом повествуется несколько эксцентрично, что, впрочем, вполне приличествует случаю: «И трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ и виден над полями лик сатаны...» Правда, двигались эти полчища не с оккупированной немцами Украины, а из Москвы. Алексей Турбин легко расшифровал библейские аллегории, назвав имя Троцкого.

Но так ли уж важны имена. Не Троцкий так другой губитель. Снова из «Белой гвардии»: «Настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель». Было бы желание покориться, признать власть, послужить делу уничтожения и тьмы. А сколько таких дел творилось в те годы. Кстати, в войске Троцкого иностранцев тоже хватало. Не менее трехсот тысяч человек сражалось под красным флагом.

В конце концов нашим предкам пришлось пережить страшное отрезвление Что пользы укорять их за недальновидность, через десятилетия кричать о том, что враги вчерашние — Германия и Япония и всегдашние—Англия и Франция издавна стремились к расчленению, унижению и уничтожению России. Ничего другого ждать от этих стран не приходилось. Запоздалые предупреждения. Да и нам ли произносить их — ведь и сегодня общество вдохновлено абсурдной верой в помощь той же Германии, Японии, Англии.

К тому же обвинять русских политиков в недальновидности было бы не совсем справедливо. Они старались уверить себя и других в благожелательности «союзников», потому что больше не на что было надеяться. Не на кого — внутри страны.

Пока мы рассматривали кризис власти и воли. Мне хотелось представить его во всем отвратительном размахе, задержать современного читателя у открывшейся исторической картины, побудить вглядеться и узнать многие тревожно повторяющиеся черты. Теперь пора сказать, почему в годы смуты у верхов и у всего русского общества так страшно проявился паралич воли.

С самого начала было ясно — необходимо опереться на какой-либо общественный слой. Читая Шульгина, Малянтовича, Деникина, Будберга, Краснова, видишь, как лихорадочно пытались найти они твердую опору.

«Найти опору в зажиточном, домовитом казачестве»,— записывал Будберг. Он декларировал: «Нужна трудовая, реальная, здоровая, полезная для населения программа, способная привлечь к власти симпатии здоровой части коренного населения». О том же мечтал Деникин: «...Получить более широкую народную опору»; создать «широкий фронт русской общественности». Но на смену мечтаниям приходило отчаяние. Будберг признавал: «Творцов, носителей и исполнителей чего-либо похожего на такую программу я не вижу...». Ему вторил Деникин: «За ними не было никого» (о представителях либеральной буржуазии, на которых он пытался опереться).

Краснов, вечный антагонист Деникина, обвинял его в политической инертности, нерешительности. «В Учредительное собрание никто не верил,— писал он.— Иди Деникин за царя, он нашел бы некоторую часть крестьянства, которая пошла бы за ним, иди он за народ, за землю и волю, и за ним пошли бы массы, но он не шел ни за то, ни за другое».

А каково было Деникину идти за царя, если Краснов сам признавал: «Простые казаки и крестьяне не желали реставрации». Как могли добровольцы идти за народ, когда, по свидетельству Бунина, чуть не весь народ за «социальную революцию».

Политики и генералы спорили друг с другом — слишком страшно спорить с пустотой. Вокруг них зияла пустота. Не на кого было опереться.

На буржуазию, малочисленную и слабую? О ней с брезгливостью отзываются все. И дело не только в крохах, пожертвованных на ту же Добровольческую армию, — в чем-то нутряном, постыдно вненациональном, равнодушном к судьбе страны. Не нашлось среди буржуа нового Минина, отдавшего все, что имел, для освобождения России.

Не оказалось князя Пожарского и в среде разорявшегося, потерявшего значение дворянства. Офицерский корпус, в котором оно в массе своей состояло, был перемолот мясорубкой войны. Верность выветрилась вместе с дерзостью, вслед за усталостью пришли отвратительные близнецы: безответственность и соглашательство.

Интеллигенция? О ней с сердцем сказал атаман Краснов: «Трусливая интеллигенция сидела в ту пору по подвалам и погребам, трясясь за свою жизнь, или подличала перед комиссарами, записываясь на службу в Советы и стараясь устроиться в более или менее невинных учреждениях — по народному образованию, по продовольствию или по финансовой части».

Духовенство, чья нравственная стойкость просияла несколько лет спустя во время официальной расправы над православием, в годы смуты, по наблюдению Бунина, не играло никакой роли в обществе.

Крестьянство было расколото земельной реформой, и в самой деревне не было единства (чем спустя десятилетие беспощадно воспользовались новые власти для осуществления «великого перелома»).

«...Не видя реальной силы»,— писал Краснов. Ее и не было. Пустота.

Урок этого парения в бездне необходимо осмыслить. Ибо — новая бездна и новое «ширянье» «без руля и без ветрил». Нам все твердят: остановить сползание в пропасть — Батенька, мы уже в пропасти! Летим...

В начале века расслоение опор державы происходило медленно. В 17-м году обнаруживались процессы, начавшиеся едва ли не в XVII веке. Сейчас быстро и целенаправленно подрывают основания России.

Широчайший «средний» слой — миллионы советских людей, всю жизнь «вкалывавших» и добившихся относительного жизненного благополучия. Все нововведения — кооперативы, «договорные» цены, рынок, все, чем в последние годы огорошивали нас с кремлевских высот,— било прежде всего по их головам. Было направлено против них. Последняя новинка — реформа цен отбросила их ко временам нищей молодости. Лишила всего, что достигли,— превратила в человеческий компост для удобрения будущего рынка.

Сегодня они еще верят «новациям», но завтра, прозрев, поддержат ли власть, жестоко расправившуюся с ними?

А те, кто не имел ничего, кроме уверенности, что прожил жизнь, не согнувшись, не подличая, не вытягивая жил из ближнего. Этих тоже миллионы. Советская традиция самопожертвования, скрестившись над их головами с тысячелетним русским нестяжательством, преломилась, образуя нечто вроде сияния обыденного человеческого подвижничества. Они не требовали никакого вознаграждения — ни материального, ни морального. В душах своих хранили мир. Так что же — пришли к ним. Резвые журналисты потребовали вывернуть души и с ловкостью профессиональных фокусников насыпали туда всякого дерьма. Доверчивым людям внушили: жизнь прожита зря, они не смеют любить и гордиться прошлым.

И так — с каждым слоем. Солдату — свое, офицеру — свое, генерала манят должностями в новых эрэсэфэсэровских структурах, школьнику — видеопорнуху, рабочему — право на забастовки, разваливающие его производство, колхознику — роспуск колхозов. Всякому Яшке по шапке. А членам КПСС — плохи они или хороши, не знаю, в партии не был,— решили и этого не давать. Активно дебатируется вопрос: не извергнуть ли их во тьму внешнюю.

Боюсь, скоро нам всем придется познакомиться с этой, мало подходящей для обитания средой. Ведь то, что делают с обществом стоящие наверху — власти и оппозиция (сейчас и не разберешь, кто и где — власть, а кто оппозиция) — завершится грандиозной катастрофой.

Если... Если общество не найдет в себе силы мобилизовать волю. Волю к жизни, к самосохранению. Под любым, только не чужим знаменем. Насильственное подрубание опор загоняет в дикий цейтнот. Вот-вот все рухнет.

В то же время сами по себе основы — до того как их стали калечить — были достаточно прочны. Тот же средний слой готов был верой и правдой служить государству, пока оно не стало целенаправленно отталкивать его. И в будущем он сможет служить опорой — при разумной (ориентирующейся на самосохранение — всего-то что требуется!) политике властей и при правильно поставленной пропаганде.

Конечно, добиться проведения политики самосохранения будет непросто. Ее нужно требовать от «верхов» целенаправленно и неустанно. А для этого — объединить силы. Нужно объединяться всем — от монархистов до коммунистов, от бывших диссидентов до бывших особистов. Когда подступает наводнение, все живое — хищники и жертвы — грудятся на оставшемся клочке суши. А подступающая пустота опаснее волн мирового потопа.

Я вспоминаю один такой «островок». В парке у бассейна «Москва». На месте великого позора и печали. В тот день печаль обратилась в надежду, позор обернулся торжеством. Происходило освящение креста, поставленного в знак того, что здесь будет построена часовня во имя иконы Божьей Матери, нареченной «Державная».

Эта икона явилась в Москве в день отречения последнего императора. Знаки державной власти, выпавшие из рук монарха, покоились в руках Богородицы. Многие десятилетия икона воспринималась русскими православными людьми как утешение и обещание небесной защиты Российской державе. И так дивно случилось — освящение креста, приуроченное ко дню прославления иконы, совпало с судьбоносным событием в жизни России. Оно состоялось накануне так называемого референдума о будущем страны.

Обращенные лицами к кресту широким полукругом стояли сотни людей. Священник читал молитву, и, наверное, каждое сердце вторило ее словам: «...Во дни сия лукавые и лютые, яко вихрь, яко буря ветренная нашедшия на страну нашу, во дни уничижения нашего и укорения, во дни разорения и поругания святынь наших от людей безумных...»

Какие устремленные в вышину, где вольно раскрывал свои объятия крест, какие светлые лица! Монах, писатель, знакомый радиожурналист и множество незнакомых, но сродненных общей мольбой людей — молодые витязи, будто сошедшие с картин Константина Васильева, крепкие старики, женщины всех возрастов и социальных слоев и вытянувшиеся в струнку, застывшие, раскрыв полные ужаса и ликования глаза, дети. Все почему-то мальчики.

А над ними, над чашей бассейна, перекрывая его стальные голоса, над сумрачной мартовской Москвой возносились к небу слова, дивно вобравшие древнее благочестие и сегодняшние наши боли и упования: «Молим Тя, и стеняще вопием Ти: Спаси нас! спаси! Помози нам! помози! Потщися: погибаем! Се живот наш аду приближися... Небесная Царица! Скиптром власти Твоея Божественныя рассей, яко прах, яко дым, нечестивые козни врагов наших видимых и невидимых; сокруши велеречивые помышления их и запрети им; и яко Мати всех, на путь правый и богоугодный настави их. Вкорени в сердца всех нас правду, мир и радость о дне сем; водвори в стране нашей тишину, благоденствие, безмятежие, любовь друг к другу нелицемерную. Державою Твоею всесильною удержи, Пречистая, потоки беззакония, хотящие потопить землю русскую в страшной пучине своей».

Из нашей почты

ЧЕРНЫЙ КАБИНЕТ

Пророк Моисей тяжелыми, уставшими шагами спускался с горы Синай, мелкий щебень шурша скатывался вниз из-под ног Пророка. Перед ним расстилалась красочная долина, которую он оставил 40 дней тому назад, поднимаясь на высокую, поросшую кустарником гору. Он нес под мышкой Скрижали — это были плоские камни, на которых были выжжены Огнем Десять заповедей — послужившие основанием для Закона, по которому должен жить Еврейский народ.

Моисей остановился, его чуткое, обостренное долгим постом ухо уловило гул человеческих голосов, доносящийся снизу из долины. Пророк нетерпеливо ускорил шаги, рискуя сорваться с кручи, он старался не глядеть в долину, боясь оступиться. Голоса становились все громче и громче... Сомнений не было, вакханалия неслась из лагеря, который он расположил на огромной поляне, приведя сюда Еврейский народ, уходивший от Фараона Египта...

Пророк замер на месте — не веря своим глазам... Почти весь лагерь находился в движении... Многие были полуголыми, визг женщин смешивался с ревом мужчин, все это двигалось как в хороводе вкруговую по вытоптанной площадке посреди лагеря... Многие валялись на траве, предаваясь повальному греху, некоторые самцы гнались за убегавшими с веселым хохотом и визгом самками... Казалось, люди сошли с ума, поддаваясь животной похоти, перешедшей в истерический экстаз... В центре хоровода на куче сложенных камней возвышался желтый, неописуемой красоты теленок... То был золотой телец, отлитый из чистого золота, и являл он копию языческого бога, оставленного Евреями в Египте...

...Так повествует Ветхий Завет о золоте — металле, который играл и продолжает играть судьбоносную роль в жизни всего человечества.

С развитием торговли и банковских операций золото стало называться «приоритетом» обмена или бумажных денег, или других деловых бумаг; это значит, что все приводилось к общему знаменателю: стоимости золота и его отражению в весе на бумажной валюте того или иного государства. Страна, выпускавшая в циркуляцию бумажную купюру, была обязана иметь золотое покрытие в своем государственном банке, и это соотношение должно было балансироваться; если золотой запас не покрывал выпущенную бумажную купюру, начиналась инфляция, т. е. обесценивание; деньги теряли свою покупательную способность, подвергая население скрытому ограблению. Мы не станем приводить примеры этого явления, их тысячи в сегодняшнем мире, и все уже к этому привыкли: «инфляция, ну что ж поделаешь», а ведь подчас в одну ночь все население становилось в несколько раз беднее, чем вчера.

Приоритет золота дожил до конца первой мировой войны. Уже в 1916 г., когда стало ясно, что Антанта выходит победительницей над центральными державами, лондонский Сити Банк созвал совещание стран Антанты и предложил проект отмены приоритета золота с целью передачи роли мерила стоимости английскому фунту стерлингов. Французское правительство Клемансо согласилось на такую комбинацию. Русский министр финансов привез проект в Петроград на утверждение царю. Николай Второй наложил резолюцию на проекте Сити Банка: «не могу допустить привилегий для Англии и эксплуатации русского народа Сити Банком». В Лондоне взбеленились. Оставался один выход для достижения цели — вывести Россию из войны или поставить проанглийское правительство. Заработали все явные и тайные каналы и агенты; революция в феврале 1917 г. освободила лондонский Сити Банк от строптивого союзника, дорога к «просперити» была открытой, а фунт стерлингов стал господином в мировой торговле. Все сделки на мировом рынке переводились в стоимость английского фунта, а фунт (бумажный) превратился в мерило стоимости, т. е. английские бумажные деньги фиктивно, благодаря ловким махинациям, стали расцениваться как золотые, и никто не спрашивал о золотом покрытии этих денег.

Явная выгода такого положения в деле финансовых операций на мировом рынке не давала спокойно спать банкирам США, которые по размерам оборота на мировом рынке были куда крупнее английских. В чем же заключалась выгода обладания приоритетом фунта стерлингов? Французский министр финансов из кабинета Клемансо, принимавший участие в утверждении проекта Сити Банка в 1916 году, на старости лет чувствуя угрызение совести, пришел в 1964 году к президенту Франции де Голлю и стал объяснять корыстную выгоду существующей системы, но теперь уже не Англии, а США. Произошло это уже в результате второй мировой войны. Американский финансовый капитал стал усиленно давить на президента Руз-

вельта, призывая к созыву союзной финансовой конференции и к переводу приоритета от фунта стерлингов на американский доллар. Ситуация для США скадывалась очень благоприятно; прежде всего военная мощь США плюс экономический потенциал диктовали, что господствующее положение в это время принадлежит Америке. Немалую роль сыграло и то обстоятельство, что во главе правительства Англии стоял Уинстон Черчилль, который был в высшей степени зависим от американских банкиров. В 1920-х годах Черчилль потерял вследствие непостоянности своих политических убеждений все позиции, оставаясь только членом парламента. Дела у него в финансовом отношении были не совсем блестящи. Для поправки их он написал книгу о своем предке лорде Джоне Марлбороу — это что-то дало, но, видимо, недостаточно. Пришло время финансового кризиса в США (1929 г.). Черчилль отправился в Нью-Йорк, надеясь игрой на бирже легко заработать хорошие деньги. Однако «фортуна» распорядилась иначе, он проиграл и был вынужден заложить свое родовое имение. Катастрофа была налицо, спас его Бернард Барух (крупный финансист), выкупивший Черчилля из петли. Какие векселя Черчилль подписал, мы никогда не узнаем, но факт остается фактом: будучи премьер-министром Англии, во второй половине второй мировой войны он, как правило, действовал в послушном согласии с президентом Рузвельтом. При такой ситуации состоялась Бретон-Вудс «Юнайтед Нэйшен Монетари и Финансовая конференция» (1—22 июля 1944 г.), на которой присутствовали представители 44 государств, включая Советский Союз (см. Энцик. Британика, том 2-й, стр. 259, 1984 г.). В результате этой конференции, кроме создания международных финансовых институций, было принято решение, что «приоритет» в мировой торговле переходит от фунта стерлингов к американскому доллару, все счеты-перерасчеты стали производить теперь в долларах.

Вышеупомянутый министр финансов из кабинета Клемансо на приеме у генерала де Голля объяснял всю механику валютного приоритета следующим образом: представьте, на аукционе продается картина Рафаэля и идет битва за неё между немцем Фридрихом, арабом Абдулом, русским Иваном и янки Джоном. Каждый из них предлагает за картину свои товары: араб нефть, немец технику, Иван золото, а янки Джон с веселой улыбкой предложил двойную цену, вынул кошелек с пачкой новеньких стодолларовых банкнот, отсчитал, забрал картину и ушел. Где же трюк? — спросил де Голль. Трюк в том, что янки выложил сто стодолларовок, т. е. 10.000 долларов, а фактически янки заплатил 3 доллара, потому что стоимость бумаги на одну банкноту в 100 долларов — 3 цента!

Но если учесть, что на мировом рынке производятся миллионные и даже миллиардные сделки, какой барыш приобретают американские банки? Де Голль раскусил загадку, стал собирать бумажные доллары и в 1967 году при официальном визите в США привез с собой 750 миллионов долларов для обмена на золото. Почти со скандалом де Голль принудил США обменять бумажные доллары на золото. После чего Соединенные Штаты провели закон, запрещающий обмен бумажных денег на золото, и снова подтвердили декрет, запрещающий населению США легально иметь золото в слитках.

Вот почему подвалы форта Нокс (кладовые казначейства США) переполнены запасами золота, которое стеклось и продолжает стекаться со всего мира. Преуспевают в этом и частные банки Нью-Йорка. США обладают самым большим количеством золота в мире, хотя не числятся крупными добытчиками — к ним везут, и несут, и меняют на бумажные доллары! Одним из крупных поставщиков золота в Америку является Советский Союз. Золото в истории первого пролетарского государства играло и продолжает играть важную роль.

С 1922 года Советский Союз начал продавать золото за границу, Нью-Йорк был главным центром сбыта, но иногда сделки делались и в Лондоне, и в Цюрихе. Нью-Йорк был излюбленным местом продажи золота, даже если цена была ниже европейской. Естественный вопрос: почему? Один из членов фирмы «Братья Соломон» объяснил это так: «мы торгуем с Советами с 1922 года, у нас выработалось обоюдное доверие, мы умеем держать наш рот закрытым — а это главное, что требует советская сторона»... По простой логике, если кто-то из семьи украдкой продает что-то, то это значит, что он не хочет, чтобы остальные члены семьи знали об этом и смогли бы получить пользу от этого.

— Сколько золота продает Москва? — был задан вопрос нью-йоркскому банкиру Фредерику Богарту.

— На первой неделе декабря 1989 г. Советс * продали от 2-х до 3-х миллионов унций. Это достигает 90 тонн и равняется тому, что было продано за весь 1980 г. В 1981 г. Советы продали немного меньше чем 200 тонн.

— Почему Москва продает так много золота?

Богарт ответил: «Советс всегда продают большую часть того, что они добывают; если вы добываете золото, то не будете же его складывать во дворе, раз вы добываете, значит, вы должны его продавать». Богарт продолжал:

— Советс имеют ужасные расходы по содержанию Восточной Европы, Кубы, Центральной Америки, Вьетнама, Северной Кореи и еще многих частей света, все это стоит миллиарды долларов, откуда они их возьмут? Одна помощь Польше стоит 10 миллиардов в год! — Богарт поднял палец вверх, как бы указывая на небо, добавил: — Конечно, только через продажу золота. Когда-то Москва имела 9 миллиардов иностранной валюты, лежавшей в банках Запада, однако, по информации Женевского банка для «Интернашенал Сеттлементс», этот советский резерв упал ниже 2 миллиардов долларов.

Главными партнерами по покупке совет-

* Советс — наименование, данное западной прессой.

ского золота в Нью-Йорке являются: «Братья Соломон», которые объединились с «Пильбпо Корпорэйшен». Их торговец (дилер) золотом Рэй Нессем отказался от интервью. Однако главный советник по бизнесу этой корпорации Бернард Берштейн заявил: «мы делаем торговые сделки больше чем на 25 миллиардов в год». По заявлению Богарта, в Нью-Йорке есть еще несколько банков, торгующих золотом, включая «Чэйзе Манхатан», «Банкерс Траст», а также «Сити Банк». Советс делают операции через Цюрих. Швейцарский банк подчинен и регулируется швейцарскими законами, главный дилер по золоту — урожденный итальянец, все служащие швейцарцы, и только один человек представляет советский Внешторгбанк...

Как может один человек контролировать огромный банк с миллионными операциями? Не случайно есть сообщения, что один из советских банков в Цюрихе, вероятно Народный, «потерял» 467 миллионов долларов в результате своих неумелых операций и был закрыт и передан Внешторгбанку. Народный банк в Лондоне купил в Гонконге недвижимую собственность за 90 миллионов долларов, потом оказалось, недвижимость не принадлежала тому, кто ее продал. Был ли кто-то наказан за подобные сделки? Нет. Богарт говорит, но не объясняет причин, почему советские торговцы золотом стараются сохранять все это в тайне. Он иллюстрирует примером: поскольку швейцарское правительство публикует ежемесячно все банковские операции, на основании этих публикаций «Финансовый Таймс оф Лондон» напечатал сообщение о продаже большого количества золота советскими банками; реакция Москвы была моментальной: все операции были немедленно перенесены в Нью-Йорк. Бизнес с золотом из СССР превратился в очень доходное дело, так что все банки Нью-Йорка открыли отделения в своей организации по скупке золота.

Последние донесения с «золотого» фронта таковы, что «перестройка» внесла коррективы в модус операнди советских банков, но только не к лучшему, а к худшему. По заявлению Виктора Геращенко, председателя Госбанка СССР, Советский Союз будет продолжать делать обмен чистого золота на валюту, т. е. доллары. «Советс» уже положили 300 тонн золота в западные банки, чтобы получить «хард куренси» (доллары) для оплаты долгов иностранным поставщикам, заявил Эдвин Арнольд, металланалист фирмы «Мерлин Линч и К°» в Лондоне. В чем заключается этот обмен? Госбанк, желающий получить кредит в долларах, должен положить в качестве гарантии золото в подвалы кредитора. Обычно такая операция проводится «пеггет», на 25% ниже стоимости золота на мировом рынке на период от 6 до 12 месяцев; если к этому сроку Госбанк не вернет долларовую сумму, золото переходит в собственность кредитора. Из многих вопросов относительно полезности таких операций Госбанка нужно выделить важнейшие: прежде всего — если долларов нет сегодня, то откуда они появятся через полгода или год? Вероятнее всего, золото будет потеряно, притом на 25% ниже своей цены. Не проще ли продать сейчас, когда налицо «затруднения», а еще проще — почему нельзя заплатить долги золотом? Любой поставщик с радостью возьмет золото вместо бумаги! Ведь США имеют же какие-то основания не обменивать бумажную купюру на золото? Трюк заключается в том, что советский Госбанк обязан обогащать банки Нью-Йорка, Лондона, Цюриха и т. д., ведь де-факто американскому казначейству печатание долларов, как я уже указывал, обходится в 3 цента за стодолларовую банкноту. За эту трехцентовую бумажку (правда, хорошего качества) они получат «презренный металл», который, по определению Основателя Советского Государства, должен употребляться на украшение общественных уборных.

Второй де-факто вопрос: все лидеры западных держав клялись и продолжают клясться в поддержке «перестройки» Горбачева «в интересах всего мира». Так почему новый порядок применяется только к СССР и ни к одной другой стране мира? Даже и те страны, задолженность которых превышает в несколько раз долг Советского Союза, не обязаны делать какой-то золотой залог для получения кредита в международных банках. Так почему происходит перекачка именно русского золота, добытого трудом русских рабочих в невероятно тяжелых условиях, на адском холоде Сибири и Урала, в банки капиталистических стран? Где, в каких книгах основоположников или основателей Советского государства написано об этом? Почему нужно укреплять экономическую мощь США русским золотом, ведь США нигде и никогда не отказались от своей доктрины развала СССР; это ясно и из того, что США с примерной настойчивостью добились сохранения НАТО, хотя даже для лжи о советской угрозе нет никаких аргументов. Вся советская политика, в том числе и продажа золота, основана на интуиции Лидера-Максимо, который верит в «благие намерения» и дружбу президента Буша.

Великий корифей тоже интуитивно верил Гитлеру, но он хотя бы имел бумажку, полученную из рук Риббентропа. Где и когда (кроме СССР) судьба всего народа и государства строилась на интуиции одного человека? А что будет завтра, если этого человека переедет трамвай?

Нужно поздравить Соединенные Штаты Америки с невиданными геополитическими успехами: без единого выстрела они овладели последним вероятным противником, продолжая углублять нищенскую ситуацию внутри «супер-державы» до тех пор, пока она из положения на коленях переместится в положение на лопатках, и тогда «судья» даст последний свисток.

Во всем мире существует мнение, что июль и август «мертвые месяцы» — все отправляются на «вакэйшен», т. е. в отпуска, но те, кто распродает (по баснословно низким ценам) СССР, благодаря спешке (вроде уборочной кампании) работают не покладая рук и, вероятно, поедут в от-

пуска позже, да к тому же к своим хозяевам.

26 июля 1990 г. швейцарская пресса, а за ней и европейская, начала свои сообщения так: «Видно, вода подступила к горлу Советам, если они заявили, что они (Советс) бывшие стратегического значения резервы — диаманты (алмазы) стоимостью во много миллиардов долларов заложили и, кроме того, заключили контракт с монопольной компанией де БЕЕРС на продажу (сроком на 5 лет) всей будущей продукции Советского общества «Главалмаззолото», которое сейчас получит кредит в один миллиард долларов (бумажных) с обязанностью начать выплату 1 ноября 1990 г.». Но если в июле нет денег, то чем платить в ноябре? Совершенно ясно, что алмазы перейдут в руки де БЕЕРС за неустойку! Договорились также, что «Главалмаззолото» передает всю продажу добываемых в Сибири и на Урале алмазов де БЕЕРС К°.

Кто может поверить, что СССР не в состоянии организовать собственную продажу алмазов? Отсталая царская Россия могла это делать, почему-то передовая в мире страна должна отдавать свою продукцию за полцены, да кому, самому заклятому врагу капиталисту!

Читателя может удивить, что я назвал этот репортаж «Черный кабинет», это потому, что именно так он называется в деловом мире. Я никогда в нем не был, да и думаю, что вряд ли кто может из посторонних знать его местонахождение. Черный кабинет находится в Лондоне; это все, что известно. Зато его черные дела ощущаются каждым жителем планеты. Черный кабинет контролирует цену золота, следовательно, всю мировую экономику. Известно, что пять членов кабинета (кто они, знают только избранные) приходят утром на службу и, выпив душистый кофе и закурив дорогие сигары, начинают «работать» — через несколько часов весь мир получает продукт их «работы»: цену на золото! Какими соображениями или чьими указаниями они руководствуются — неизвестно, или известно только Владыкам Мира Сего, владеющим подвалами «презренного металла», годного для «украшения уборных».

Может быть, вездесущий и всеведущий аппарат КГБ знает, кто они, члены черного кабинета, и кем они назначаются? Дело за вами, господа!

Понятие о «черных кабинетах» символизирует глубокую секретность дел, происходящих в этих кабинетах. Кроме «черного кабинета» по золоту, в Париже существует не менее темный кабинет организации, принадлежащей НАТО, под коротким названием КОКОМ.

Это заведение было основано в 1950 г.; кроме стран — членов НАТО, к нему также принадлежит Япония. Задачи, которые исполняет комитет,— это контроль всего экспорта в страны Восточного блока + Китай, Албания и Куба; все эти страны объявлены враждебными, весь экспорт в них подвергнут строжайшему контролю. Любой товар или машины КОКОМ может не разрешить продать в названные страны без объяснения причин.

Все жалобы индустриально-торговых компаний до сих пор безрезультатны, хотя идут крикливые уверения о дружбе и кооперации между всеми странами. Получается «уан уэй стрит» — по-русски: движение по улице в одну сторону, т. е. на Запад может и должно идти потоком все без ограничений, а в обратном направлении (на Восток) — это мы еще посмотрим!

А. Б. Ш.,
Австрия.

От редакции. Имя автора, обозначенное по его просьбе инициалами, редакции известно.

Английские и немецкие имена и названия даются в транскрипции автора.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца этого года и в 1992 году вы прочтете в нашем журнале

ПРОЗА

Виктор АСТАФЬЕВ. **Новые произведения.**

Дмитрий БАЛАШОВ. **Похвала Сергию** (роман о жизни преподобного Сергия Радонежского);

Василий БЕЛОВ. Рассказ; главы из новой книги;

Юрий БОНДАРЕВ. **Мгновения** (цикл художественных миниатюр); размышления о русской и мировой литературе;

отец Дмитрий ДУДКО. **Проповедь через позор** (свидетельство православного священника, прошедшего через унижения властей и брежневские лагеря);

Олег ВОЛКОВ. **Воспоминания** (новое произведение тематически продолжает книгу "Погружение во тьму"; писатель рассказывает о тех нравах, которые царили в Московской писательской организации в 60–80-е годы, о том, как общественность боролась за спасение Байкала, русского леса, рек, за чистоту нашей природы);

Дмитрий ЖУКОВ. **Сны** (исторический роман о монархисте и мистике В. В. Шульгине, видевшего всех властителей за последние 100 лет – от Александра II до Брежнева, бывшего другом и врагом великого множества исторических фигур – персонажей книги; роман о размышлениях Шульгина, его пророчествах, деяниях, испытаниях и загадочных встречах);

Владимир КРУПИН. **Прощай, Россия, встретимся в раю (Стариковские записки).** Повесть;

Станислав КУНЯЕВ. **Сергей Есенин.** (Из серии "Жизнь замечательных людей");

Эдуард ЛИМОНОВ. **Рассказы;**

Валентин ПИКУЛЬ. **На задворках империи.** Главы из неоконченной третьей части романа;

Александр ПРОХАНОВ. **Ангел пролетел.** Роман-метафора (в центре повествования – атомная суперстанция, как Вавилонская башня, в центре России; персонажи романа – левые, правые, русофилы, русофобы, технократы – узнаваемые лики сегодняшней национальной драмы; все они находятся в острейших личных и социальных конфликтах);

Валентин РАСПУТИН. **Новые произведения;**

Аркадий САВЕЛИЧЕВ. **Потоп** (трагическая история затопления старинных русских сел и городов на Волге в предвоенные годы);

Владимир СОЛОУХИН. **Камешки на ладони;**

княгиня Зинаида ШАХОВСКАЯ. **Рассказы.**

ПОЭЗИЯ

Стихи Леонида БОРОДИНА, Виктора КОЧЕТКОВА, Юрия КУЗНЕЦОВА, Виктора ЛАПШИНА, Бориса СИРОТИНА, Валентина СОРОКИНА, Геннадия СТУПИНА, других поэтов.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий БОРОДАЙ. **Третий путь;**

Николай ИВАНОВ. **"Шторм-333"** (неизвестные материалы, рассказывающие о том, что предшествовало принятию решения о вводе наших войск в Афганистан);

Андрей ЛАПИН. **Наука и природа** (предисловие И. Шафаревича – "Метод, несущий смерть..");

Михаил ЛЕМЕШЕВ. **Слово о Волге;**

Владимир ЛИЧУТИН. Новые очерки из цикла **"Душа неизъяснимая"** (Размышления о русском народе);

Федор НЕСТЕРОВ. Наиболее интересные фрагменты из только что законченной книги **"Очерки по истории зарубежной русофобии";**

Нам готовят 41-й год... (Ядерный щит и национальная идея: "круглый стол" в Сарове и Москве);

Владимир ОВЧИНСКИЙ. **"Бархатная" революция, или Контрперестройка;**

Анатолий САЛУЦКИЙ. **Вечная номенклатура;**

Игорь ШАФАРЕВИЧ. **"Русофобия": десять лет спустя;**

Юлия ШИШИНА. **Психодизайн-XXI** (Технология апокалипсиса);

Николай ФЕДОРЕНКО. **Китай: открывая будущее.**

Свои новые работы в "Наш современник" передают Михаил АНТОНОВ, Александр ДУГИН, Игорь ДЬЯКОВ, Станислав ЗОЛОТЦЕВ, Вадим КОЖИНОВ, Аполлон КУЗЬМИН, Сергей КУРГИНЯН, Александр МИХАЙЛОВ, другие авторы.

1 р. 50 к.

ИНДЕКС 73274

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца этого года и в 1992 году вы прочтете в нашем журнале

В рубрике ***"Летопись России: история в лицах"***

Лев ГУМИЛЕВ. **Князь Святослав Игоревич;**
Отец Дмитрий ДУДКО. **Святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб;**
Николай ЛИСОВОЙ. **Святой равноапостольный князь Владимир; Митрополит Иларион;**
Вадим КОЖИНОВ. **Ярослав Мудрый;**
Юрий ЛОЩИЦ. **Феодосий Печерский;**
другие материалы;

В рубрике ***"Отечественный архив"***

Николай КЛЮЕВ. **Неизвестные письма;**
М. О. МЕНЬШИКОВ. **Неопубликованные работы;**
Сергей НЕБОЛЬСИН. **Запрещенный Александр Блок.**

В рубрике ***"Зарубежная мысль"***

Мартин ХАЙДЕГГЕР. **Философские эссе;**
Дуглас РИД. **Спор о Сионе.** 2500 лет еврейского вопроса;

В разделе ***"КРИТИКА"*** *выступают:*

Глеб ГОРЫШИН, Валентин КУРБАТОВ, Михаил ЛОБАНОВ, Олег МИХАЙЛОВ, Петр ПАЛИЕВСКИЙ, Николай СКАТОВ, Дмитрий УРНОВ, другие критики.

Наш современник, 1991, № 7, 1–192.